

БИБЛИОТЕКА СОВЕТСКОЙ ФАНТАСТИКИ

СЕРГЕЙ СМИРНОВ

БЕЗ
СИМПТОМОВ





БИБЛИОТЕКА
СОВЕТСКОЙ
ФАНТАСТИКИ



БИБЛИОТЕКА СОВЕТСКОЙ ФАНТАСТИКИ

СЕРГЕЙ СМИРНОВ

БЕЗ
СИМПТОМОВ

*Фантастические повести и
рассказы*



МОСКВА
„МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ“
1990

ББК 84Р7
С 50

С 4702010201-122
078(02)-90 148-89

ISBN 5-235-00506-6 (2-й з-д)

© Издательство
«Молодая
гвардия»,
1990 г.

ПОВЕСТИ

БЕЗ СИМПТОМОВ

Все глядели на него, искали и не могли увидеть его, окруженного таинственным кругом. «Приведите Виля! Ступайте за Вием!» — раздались слова мертвеца.

Н. В. Гоголь. Вий.
ПРОЛОГ

Доктор Ремезов долго всматривался в черты умершего, недоумевая, почему вдруг спокойно и ясно становится на душе... и, склоняясь над больничной койкой, он невольно прошептал: «Господи, помилуй...»

Накануне молодые санитары, краснея и чертыхаясь от натуги, приподнимали этого огромного старика на постели, а он тем временем посмеивался:

— Что, воюете с дедом, солдатики? Здоров медведь вам попался?

— И не говори, дед, — отвечали санитары.

— Задал делов вам, солдатики?

— Да отслужили мы, дед, — невольно приоравливаясь к его лесному басу, хвастнул один из санитаров.

— Вон оно как! Тогда мы — ровня, ребятки, — ба-лагурил старик, пыхтя от боли. — И я отслужил, однако.

— Да когда ж ты успел? — не унывали «солдатики», вытягивая с постели грязные клеенки.

— Так, считай в уме, еще гражданскую прихватил, однако.

— Ну!.. У красных или у белых?

— А поди упомни их всех в лицо-то. — Дед не то

шутил хитро, не то говорил, как думал. — В лесу-то они вон все свои, добрые ребята... покуда не выпьют и драку не зачнут... Нам-то кого, кроме зверя, в лесу надо?

«Такие не болеют», — думал Ремезов, стоя в стороне.

Дед прожил жизнь таежным охотником, и не в лесу, а на пристани под вечер случилась с ним беда. Как случилась, не рассказывал, стыдясь своей оплошности, но только скатилось на него со штабеля несколько строевых лесин. Он сам выбрался из-под ошкуренных елей, сам дошел до дому, звать врача запретил наотрез, а велел гостившему внуку растопить баньку. После пара старику полегчало, однако ночью отнялись ноги. Тогда внук и побежал к геологам...

Дед не роптал и не молчал угрюмо, хотя огромным его рукам, положенным поверх одеяла и похожим на корни древнего дуба, уже не найти было достойного дела. Старик нравился Ремезову, и тогда же, накануне, он обомлел от внезапной мысли: «Уж если суждено деду умереть теперь, так лучше бы в мое дежурство». Отгоняя ее прочь, Ремезов вышел из палаты и невольно огляделся, словно кто-то мог эту мысль заметить со стороны. Вздохнув, он сунул руки в карманы халата, прошелся по рекреации и, как обычно, приостановился у крайнего окна. Закатное солнце освещало угол больничного двора: несколько серых валунов, покрытых лишайниками, и раздвинувшую валуны березу с коряжистым черно-белым стволом. Когда горы вдали были затянуты туманом или сумерками, этот угол напоминал Ремезову детство: такая же раздвоенная береза росла среди высоких валунов на позадках деревни. На березе висела толстая веревка. Держась за нее и раскачиваясь, можно было прыгать по высоким верхушкам валунов... И вдруг Ремезов понял, что всю жизнь ему не хватало наставника, а к этому лесному деду можно сейчас подойти и запросто спросить, как жить дальше, не боясь рассудительного книжного ответа. Но следом Ремезов понял

также, что подойти к старику и спросить — не сможет...

Но вот сегодня Ремезова попросили дежурить повторно... Сегодня и случилось... Он стоял над умершим, придерживая край простыни и оттягивая миг, когда придется потянуть белый покров вверх, к изголовью.

Ремезову казалось, что только теперь он может услышать ответ — и слышит его, но не слова, а иное, что вернее слов способно укрепить душу... В неподвижном лице старика открывалось начало какого-то нового бытия, необходимого природе. И стоявшему перед ним доктору Ремезову старику словно предрекал неизбежную и долгую, но радостную — среди простора под ясными небесами — дорогу.

— Прости меня, дед, — одними губами прошептал Ремезов.

1. «ИОНА ВО ЧРЕВЕ»

До Ремезова донесся едва различимый близкий шорох, и он отвел глаза.

Он увидел медсестру, замершую в смятении на пороге палаты. Сделать еще один шаг она была не в силах.

— Он же умер! — встретив его взгляд, дрожащим голосом проговорила она.

Ремезов потянул простыню вверх, пока все тело с головой не покрылось белым.

— Да, Галочка... Ты права, — пробормотал Ремезов, не слыша себя и все вспоминая лик старика. — Что мы могли?.. И в Москве вряд ли смогли бы...

Он с трудом разогнул затекшую спину и вздохнул — глубоко и медленно.

Медсестра так и осталась в дверях, застыв взглядом на простыне.

— Позови ребят, пожалуйста, — сказал ей Ремезов.

Санитары вошли, толкая перед собой каталку. Не поднимая глаз на дежурного врача, они загнали ка-

талку в проход между кроватями и одним резким движением перенесли тело.

«Как живого, — подумал Ремезов, заметив, что тело не бросили, как бывало, а аккуратно положили, придержав голову. — Хорошие «солдатики».

Уже у дверей один из санитаров заговорил с другим вполголоса:

— Жаль деда, мировой был, веселый... Терпел.

— Ну, — откликнулся другой. — Нас бы так придавило — и чирикнуть не успели бы. А он еще неделю анекдоты травил... Молодец дед, сила.

Ремезов вышел за ними вслед.

Не делая никакого шума, санитары быстро провезли каталку мимо больных, сплотившихся полукругом у телевизора. Все пространство рекреации было пронизано сиянием экрана, и ярко, синевато светились застывшие лица больных, в бесчувственном любопытстве следивших за суетой и гомоном модной викторины. В окнах уже стоял ночной сумрак.

Ремезов вздрогнул от дурацкого ржанья и невольно взглянул на экран: там вертелось коромысло викториной ruletki и бойко подпрыгивала игрушечная лошадка. Невольно выслушал Ремезов и какой-то странный вопрос о каких-то консервных банках в невесомости и так же невольно заинтересовался, раскалывая в голове возможный ответ, точно спрашивали именно его, дежурного врача в районной больнице.

Больные сидели неподвижно, будто загорали. Возвышенное и грустное чувство, с которым Ремезов вышел из палаты, начало проходить, теряться, а душа стала заполняться тупой беспечностью, с которой обычно, выйдя в конце дня со службы, говоришь себе: «Ну ничего... нормально... все в порядке...»

И Ремезов повернулся, чтобы поскорее уйти за пределы голубого свечения, но увидел медсестру. Она стояла, вжалвшись в стену, ее большие глаза блестели, искались. Она смотрела на экран телевизора, пытаясь от-

влечься, желая себе в эту минуту той же тупой беспечности, но беспечность не входила, не пробивалась в ее душу — и в глазах было видно страшное напряжение противостоящих друг другу чувств.

Доктор Ремезов подошел к медсестре и взял ее за руку. Рука оказалась ледяной и влажной.

— Что ты, Галя, — стараясь ласково улыбаться, сказал ей Ремезов. — У тебя это впервые, да?

Медсестра с трудом отвела взгляд от телевизора.

— Да, Виталий Сергеевич.

— Что же... Сама знаешь, как в нашем деле...

У медсестры сжались губы, и на подбородке напрягся и потянулся вверх бугорок.

«Расплачется», — подумал Ремезов.

Но медсестра справилась с собой.

— Он такой веселый был, — проговорила она скороговоркой. — Все смешил... Я и капельницу с ним чуть не роняла... Привыкла.

— Ну, ничего, успокойся, Галя, — сказал Ремезов, невольно разминая, разогревая ей пальцы. — Иди... выпей таблеточку седуксена, приляг. Я тебя разбуджу, если что.

— Сейчас, — благодарно кивнула медсестра. — Я тут только еще немножко постою... Можно?

— Можно, — вздохнул Ремезов и, бросив взгляд на окна, присмотрелся к часам. — Через десять минут разгоняй всех. И так уже на полночи разгулялись...

Он оставил медсестру и пошел в ординаторскую.

Положив перед собой на стол, под свет настольной лампы, карту больного, Ремезов с особым вниманием, даже трепетом прочел на первой странице графы «фамилия, имя, отчество», «год рождения»... хотя знал их на память. Но за первой страницей карты было уже — чужое, к умершему будто бы уже не имеющее отношения, написанное руками трех врачей, из которых один — он, Ремезов... и в тех записях ему уже не найти ответа на какой-то очень насущный вопрос, который мучил сво-

ей бессловесностью, неразрешимостью, будто на Ремезова кто-то все время смотрел со стороны — с укором и не хотел ничего объяснять.

«Да что же за хандра теперь такая! — спрашивал себя Ремезов, откинувшись на спинку стула и потирая пальцами лоб. — Скорее уж не хандра, а предчувствие...» Ремезов наконец решил, что это — несомненно, предчувствие... ни хорошего как будто и ни плохого... но вот-вот что-то надвинется такое, что с ним, доктором Ремезовым, никогда не случалось и чего он не может даже предположить.

Где-то неподалеку от больницы завыла собака, а за ней другая. «Ну вот...» — подумал доктор Ремезов и, поднявшись из-за стола, подошел к приоткрытыму окну.

За окном было черно. В лицо тянуло приятной влажной прохладой, смешанным запахом хвои и остывающего речного берега. В верхней половине ночной черноты мерцали близко горевшие звезды, нижнюю, без звезд, занимали провалившиеся во мрак горы.

Чуть выше нижней, беззвездной половины ночи Ремезов заметил перемигивание двух движущихся малиновых звездочек, и вскоре до его слуха дотянулся оттуда стучащий машинный звук. Этот звук постепенно усиливался, а звездочки, снижаясь, пересекли границу разделя тьмы и в нижнем, совершенном мраке вспыхивали все ярче и отчетливей. Перевалив через хребет, к поселку спускался вертолет.

Отведя взгляд, Ремезов увидел на прикрытой створке окна отражение стоящей рядом медсестры. Сквозь стекло она тоже следила за летящими огнями.

— Это не санитарный... военный, — проговорила медсестра.

Ни с того ни с сего сердце у Ремезова сильно заколотилось, и он отошел от окна, точно испугавшись чего-то.

— Ишь, глазастая, — нарочито усмехнувшись, сказал он.

Вдвоем с медсестрой они молча слушали нарастающий треск до тех пор, пока не зазвенели стекла и воздух в комнате не затрясся, и не стало ясно, что вертолет сядет если не на крышу больницы, то где-то совсем рядом.

Стряхнув с себя оцепенение, доктор Ремезов подскочил к окну.

— Что за идиот! — выругался он, высовываясь наружу.

Оглушительный треск наполнял тьму. Ремезов не различал машину во мраке за деревьями, но какое-то неведомое чувство указывало ему в воздухе то место, с высоты которого тяжелое железное тело уже давило на землю. Потом вниз ударили луч прожектора, и по тому, как столб света стал быстро укорачиваться, Ремезов определил, что вертолет садится за больничной оградой, на убранное поле.

Уже разозленный и сорвавшийся бежать, Ремезов крикнул медсестре:

— Я сейчас!

Бегом миновав двор и выскочив за ворота, Ремезов побежал во тьме по полю, ломая ноги на бороздах и захлебываясь взвихренной пылью, навстречу буре и грохоту. Ему навстречу из вихря появился кто-то и, придерживая на голове фуражку, закричал:

— Вы товарищ Ремезов?

— Ну я — «товарищ Ремезов»! — прокричал ему с двух шагов доктор, пытаясь запахнуть на груди разлетевшийся на ветру халат. — Вы мне всех больных угробите своим треском!

— У меня нет другого выхода, товарищ Ремезов! — твердо, с расстановкой прокричал военный. — Мне приказано срочно доставить вас в часть!

Грохот, скачущий кругом вихрь, а в душе еще кипевшее возмущение притушили испуг, и Ремезов только оглянулся на окна больницы, ища в них какую-то поддержку. В окне ординаторской он заметил силуэт мед-

сестры, а в двух окнах рекреации, озаренных телевизионным сиянием, — фигуры больных. «Совсем распустила их Галина... Полуночники чертобы», — тяжело подумалось Ремезову, и он против воли снова повернулся к ночному посланнику.

— Что значит «срочно»! — закричал он, думая: «Как дурной сон! — У меня сто больных! Я не могу оставить с ними одну сестру!

— У меня приказ! — весь колышась в вихре, наставлял военный. — Вас вызывают в центр!

— У меня тоже приказ! — кричал на него Ремезов, точно отбиваясь от нечистой силы.

— Ну, ждите! — Пригнувшись, военный пропал во мраке, а спустя минуту-другую возник вновь. — Сейчас вам пришлют врача из нашей медсанчасти! Он заменит вас! Поехали!

«Да что же это?.. По какому праву?.. Что за приказ?.. — задрожали, заскакали в голове Ремезова суматошные мысли. — Зачем я им нужен?»

— Дайте собраться хоть! — вяло крикнул он.

— Собирайтесь! Скорее!

— Можете вы хоть мотор заглушить?!

— Нет! — отрезала неведомая сила. — Только время потеряем! И шума больше будет!

Ремезов отупело сновал по комнате, не понимая, что и как собирать. Он бросил в портфель бритву, потом, постояв в оцепенении, зачем-то положил следом аппарат для измерения давления и пачку чая.

— Что случилось, Виталий Сергеевич? — два или три раза спрашивала его медсестра.

— Да я почем знаю! — невольно огрызнулся он и, все же заметив свою грубость, кое-как взял себя в руки и улыбнулся сестре: — Забирают меня, Галочка.

— Как... куда?.. — обомлела медсестра.

— Не знаю... Сейчас вместо меня военврача пришлют.

— Да что за день такой ужасный! — всплеснула руками медсестра и расплакалась.

У Ремезова дрожали колени, и его всего уже тряслось... Вспомнив про седуксен, он выдавил из упаковки несколько таблеток, одну запил сразу, две или три бросил в карман, а последнюю протянул медсестре.

Медсестра отстранила его руку, плача навзрыд:

— Я уже выпила...

Увидев тонущий внизу во мраке корпус больницы, доктор Ремезов стиснул зубы и вцепился в подлокотники: ему показалось, что смерч оторвал его от земли на всегда.

Командир аэродрома был знакомым: Ремезов несколько раз ездил лечить его внучку. То ли увидев на свету знакомое улыбающееся лицо, то ли уже поддавшись таблетке, Ремезов немного успокоился и сразу пожаловался полковнику:

— Ваш десант мне всю больницу на ноги поднял... Ночь ведь, Федор Ильич.

— Ты не серчай, Виталий, — напряженно улыбаясь, отвечал полковник. — Видишь, сам из-за тебя на ногах. У меня по твоему поводу целая боевая тревога, понимаешь тут...

Полковник, вероятно, ожидал, что Ремезова привезут перепуганного. Он, вжившийся в череду будничных боевых готовностей, всем своим видом старался успокоить Ремезова, убедить его, что не так все страшно, война не началась и, наконец, Ремезова не арестовали, а привезли для какого-то дела, в котором необходим врач. Но взгляд полковника выдавал и то, что и он сам немало обескуражен.

— Понимаешь тут, от командующего округом вдруг получаю депешу: «Содействовать срочной доставке в Ленинград врача Усть-Н-ской районной больницы Ремезова В. С.». Вот так, Виталий. Что делать прикажешь?

«Ленинград», — подумал Ремезов. Мелькнула догадка, но сердце не забилось, только медленная упругая

волна поднялась внутри и опустилась, еще усилив сонливость. «Это — седуксен», — подумал Ремезов.

— И с двадцати до двадцать один сорок пять... — полковник взглянул для верности на часы, — три звонка мне — из обкома, из Минздрава союзного и Минздрава республиканского... Из республиканского звонил Ремезов. Не родственник тебе?

«Ремезов?.. Ничего не понимаю!» — подумал врач Усть-Н-ской районной больницы и ответил:

— Нет... Однофамилец. Что у них случилось?

Полковник пожал плечами:

— Молчат... Наше дело тебя доставить... А там, может, в газетах чего скажут, — тревожно, не шутя, предположил он.

«В газетах», — подумал Ремезов, почти не борясь с тяжелой, напряженной дремотой.

— Так ты готов, Виталий? — спросил полковник.

— Готов...

— Тогда пошли. Я тебя сам провожу. — И полковник нарочито весело подмигнул. — Чтоб, понимаешь тут, не сбег с перепугу.

Они долго шли по пустынному летнему полю, освещенному посадочными огнями, и эта фосфоресцирующая плоскость и безмолвие над ней казались Ремезову беспредельными. Они шли и шли, и наконец над ними из мрака выступил бок огромного железного резервуара, покоящегося на беспредельной плоскости...

— Это что... за мной?.. — проговорил Ремезов, и вся его спина покрылась мурашками.

— За тобой, Виталий, за тобой, — широко улыбаясь и похлопывая Ремезова по плечу, ответил полковник. — Конечно, кое-какой груз мы с оказией подкинем. Но главный груз — ты. Так что не волнуйся, повезут тебя аккуратно... Не бойся, поплыешь, как у кита в брюхе.

Чрево самолета было раскрыто, и тусклые плафоны освещали могучие ребра, а внизу, под сводом ребер, — затянутые брезентом контейнеры.

— Ну, я тебя зря пугаю... ты не слушай, — сказал полковник. — Там увидишь указатели, не заблудишься В пассажирском салоне потеплей и поуютней... Что у тебя в портфеле?

— Так... кое-что прихватил...

— Значит, так, Виталий. — Полковник виновато покашлял и опустил взгляд. — Я-то понимаю: собирать тебя, холостяка, некому было. Короче, я распорядился тут, чтоб тебе, понимаешь ты, собрали вешмешок: свитерок, мыло с полотенцем... ну и сухой паек на пару дней. Там, в пассажирском найдешь.

— Федор Ильич... — стал было отказываться Ремезов.

— Все. Никаких тут, — отрезал полковник и подтолкнул Ремезова в спину. — Давай, не теряй время... Счастливо.

Поднявшись в самолет, Ремезов задрал голову вверх: высокий свод китовых ребер тянулся, далеко впереди сужаясь в темную воронку. «Да, как пророк Иона у кита в брюхе», — подумал Ремезов и, путаясь в ясных указателях, долго плутал, пока не очутился перед дверью с надписью «ПАССАЖИРСКИЙ САЛОН».

В салоне стояли десяток кресел, столик и, главное, что очень обрадовало Ремезова, было целых два иллюминатора. «Брюхо с удобствами», — подумал он.

Над головой зашуршало в динамике, и Ремезова спросили:

— Виталий Сергеевич, вы готовы?

— Готов, — ответил Ремезов в пространство.

— Тогда пристегните ремень. Мы взлетаем.

Железный кит утробно загудел, и Ремезов поспешил выбрать себе место. В одном из кресел лежал небольшой, видавший виды клетчатый чемоданчик с крышкой на «молнии».

«Ну, полковник», — улыбнулся Ремезов.

Гул нарастал, пол под ногами и кресло задрожали, потянуло назад, в окошке замелькали огни, и только по

легкому желанию опустить подбородок Ремезов определил, что самолет оторвался от плоскости и поплыл вверх...

«Все... Надо спать», — прошептал себе Ремезов и, повернув голову к плечу, закрыл глаза. «Однофамилец... Ремезов... Однофамилец... Ремезов...» — уже полчаса скакало у него в голове. Но этот ритм до взлета был только фоном — Ремезов мог говорить и думать о чем-то, не замечая его. Но теперь фоном гудел двигатель, и ритм из двух слов стал отчетливым, заполняющим память видениями далекой жизни, которую Ремезов когда-то отчаянным усилием оборвал. Теперь, хотя и не вызывая никакого тяжелого чувства, эти видения роились, мельтешили, наслаивались друг на друга, как во сне. «Что же у них стряслось?» — подумал Ремезов и, вздохнув, заставил себя вспоминать другое: больницу... медсестру Галю... старика... Но сильнее этого лезло в голову механическое ржание телевизионной лошадки, какие-то ухоженные и самоуверенные молодые люди, окружившие рулетку. За этим Ремезов вспомнил Таиланд и с радостью поддался внезапному воспоминанию...

В группе врачей-эпидемиологов из ЮНЕСКО он объезжал пригороды Бангкока и в одной лачуге, собранной из автомобильных дверей, крышек капотов, обрывков рифленой жести, увидел вдруг недоступное, завораживающее русского чудо техники: видеомагнитофон с огромным плоским телевизором. Заметив сзади, что русский немножко остолбенел на пороге, медик-сингапурец подружески подтолкнул его внутрь.

— Гонконгский, — презрительно бросил он. — В джунгли весь свой мусор сплавляют.

На полу, прижавшись друг к другу голыми боками, глядели в телевизор мал мала меньше, а самый младший, трехлетний карапуз, еще держал за голову щенка, не давая ему отвернуться от экрана.

Внутри лачуги все переливалось красками, как в калейдоскопе. От гаммы вычурно ярких цветов, от стерео-

фонического вихря Ремезов быстро одурел, и появилась удивительная, вполне осознанная уверенность, что в мире царит веселая, хотя и немного суматошная, гармония и, в сущности, — все в полном порядке... все в полном порядке.

Ремезов проснулся от легкого толчка и заметил, что он будто в невесомости. Он открыл глаза и понял, что самолет стоит на твердой земле. В иллюминатор снаружи сквозил ранний свет.

«Это я от Барнаула до Ленинграда проспал?.. Ну и ну!» — подумал Ремезов.

Под брюхом самолёта его ожидали черная «Волга» и новый сопровождающий в звании капитана. По летному полю, по холодному течению воздуха тянулись клубы желтоватого тумана.

Сложив портфель и чемодан в багажник, Ремезов сел было на переднее сиденье, но капитан любезно приоткрыл заднюю дверцу, предложив отдохнуть с дороги.

— Мы через город? — усевшись, спросил Ремезов, с трепетом ожидая увидеть Ленинград после десятилетней разлуки.

— Нет, — не оборачиваясь, качнул фуражкой капитан. — В объезд. Прямо в Кущино.

Ремезов обиделся на капитана и сразу погрузился в дремоту. Ему привиделись высокая бетонная стена и бронзовые тяжелые буквы в ее правом верхнем углу. Когда он от торможения проснулся, то увидел сквозь лобовое стекло эту самую стену с бронзовыми буквами: ИКЛОН АН СССР.

«Заспался... Седуксен на голодный желудок», — подумал Ремезов и заметил, что сбоку к автомобильной дверце протянулась рука в синем пиджачном рукаве, в снежно-чистом манжете, с блестящим браслетом часов. Ремезов уже знал, чья это рука, и ему показалось, что он видел ее только что во сне.

2. «ПРИЕМ ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ»

Рука открыла дверцу, и Ремезов понял, что будет сейчас искренне рад своему земляку, однокашнику, однофамильцу, а ныне — директору Института клонирования.

Он вышел из машины — и заранее заготовленная улыбка директора дрогнула, ожила, потеплела. Директор сразу заметил, что Ремезов ему рад, и сам обрадовался: они не виделись десять лет.

— Здравствуй, Витя.

— Здравствуй, Игорь.

— Ты не изменился.

— А ты заматерел. Годишься в профессора.

— Уже профессор, Витя... Черт с ним, со всем этим. Видишь, пропавший, понадобился ты Отечеству.

«Как будто я не нужен ему был на Алтае... Или твой институт — это уже и есть все Отечество? Ты не то, что в профессора, ты в Людовики годишься, Игорек. «Государство — это я». — Но все это Ремезов только подумал и не сказал, зная, что это дала о себе знать обыкновенная зависть, тихо тлевшая десять лет, зависть, которой он почти не замечал, глядя на рассветы и закаты в тихих алтайских горах, и которая сразу разгорелась, едва он увидел институтские стены... Как от нее избавишься?

Но Ремезов все равно был очень рад видеть однофамильца и институт, которому были отданы молодые годы.

Они, оба Ремезова, были одного роста, и когда-то лет им давали поровну. Теперь Ремезов, невольно сравнивая, понял, что однофамилец стал гораздо старше его и солидней, и он, Ремезов, уже вполне годится ему в ученики, аспиранты.

И еще Ремезов вспомнил, что, когда они ходили студентами, а потом аспирантами, зависть его к однокашнику была другого сорта. Он, Ремезов, казался себе не-

ловким, не отесанным по столичному образцу, и чудилось ему, что наука смотрит на него с доброй улыбкой, как на способного провинциала, маленьского такого, местного значения Ломоносова, «самому себе предка». Но, наверно, не так стыдился бы, не гнал бы он в себе провинциала, если бы не удивлялся своему однофамильцу, изумительно скоро в своих привычках, одежде, манере говорить с девушками принявшему отчетливый образ столичного жителя... Тот, которого он запросто обгонял на велосипеде, тот, о ком он говорил заозерским пациентам «tronete Игореху — схлопочете от меня», вдруг подрос, стал крепко жать руку, делиться конспектами, которыми снабжали обожавшие его однокурсницы, а лабораторные работы лихо успевал делать за двоих... Ремезов был дотошен, но медлителен умом, а однофамилец жил с легким каким-то талантом на память, на схватывание чужих навыков: ему довольно было присмотреться на минуту к более умелому, чтобы сразу повторить так же.

Но за десять лет разлуки однофамилец изменился. Его лицо, теперь постаревшее, перетянулось резкими морщинами, стало скуластее, неправильнее, на нем простилило вдруг что-то провинциальное, деревенское, но эти новые черты придали директору какое-то особое обаяние и — главное — заставляли уважать уже с первого впечатления. А в Ремезове все, с кем он встречался за десять лет на Алтае, неизменно узнавали столичного человека и уважали как врача столичного, а своих жаловали по-другому... Странные превращения.

— Что у вас стряслось? — спросил Ремезов.

— Стряслось, это верно, — посеребренев, кивнул директор. — Но мы-то с тобой живы, а это главное. Ты с дороги, может, часок поспишь? Мы тебе коттеджик отвели — там удобно, холодильник полон, плита... душ, бритва... в общем, все, как полагается.

— Я выспался в самолете, — ответил Ремезов.

Директор взглянул на него внимательно и, поверив, чему-то обрадовался.

— Добро. Давай тогда сразу приступим к делу... Впрочем, у меня сам все увидишь. Рассказывай, как живешь «у подножья Гималаев».

И Ремезов что-то рассказывал, с трепетом поднимаясь по ступеням проходной института, оглядываясь в холле, вдыхая, пробуя знакомый запах, прислушиваясь к знакомой лестнице...

Бетонные, выстланные розовым ракушечником пространства были безлюдны. На двери директорского кабинета висела стеклянная черная табличка с золотыми буквами:

РЕМЕЗОВ

Игорь Козьмич

Прием по личным вопросам:

вторник 15.00—17.00

Эта табличка удивила Ремезова, хотя он давно знал, кем стал однофамилец, — и рассмешила, а потом и расстроила своей невозможностью при взгляде с расстояния в десять лет.

«Сегодня суббота, что ли?» — подумал Ремезов и вспомнил, как на первых курсах института однофамилец стыдился своего отчества... и не то, чтобы явно стыдился, а как-то невольно, незаметно для себя, хотел отодвинуться от него в сторонку... А потом, став членом комитета комсомола, уже подавал новому человеку руку, весело и вызывающе ударяя на отчество:

— Игорь Козьмич!

Директорский кабинет не утратил того старинного запаха полустершейся полировки на дубовой академической мебели. И этот запах был тем академическим духом неподвижности в пространстве и времени, повелевающим отбросить суетные мысли и приступить к размышлениям. Тот запах был самым дорогим воспоминанием Ремезова об эпохе, когда он благоговел перед наукой, когда входил в этот кабинет, как в чертоги небесные, —

лицезреть апостола мысли, академика Стрелянова. Академик был эпической личностью ученых преданий: натуралист, «вейсманист-морганист», хлебнувший из котелка колымской воды, почетный член союзных, королевских и прочих...

Теперь за его столом сидел Игорь Козьмич и смотрелся вполне на месте. Иллюзия того, что он, доктор Ремезов с Алтая, вдруг сам оказался героем древнего предания и записан теперь в летописи, была полной.

— Вспоминаешь Стрелянова? — улыбнулся Игорь Козьмич, заметив, с каким чувством Ремезов смотрит на стол. — Веселый был дед... — Игорь Козьмич ласково погладил крышку стола. — Никогда не выброшу. Память... Тут менять предложили. А я им говорю: весь институт на свалку пойдет, а этот стол — в музей... Ну ладно. Соберись с духом.

Игорь Козьмич повернулся к сейфу и, отперев дверцу, достал бордовую папку:

— Читай. Только не кипятись сразу. Умом переваривай, умом.

Раскрыв папку и осознав, что перед его глазами «Решение Совета Министров РСФСР», Ремезов сразу потерялся и не смог читать текст вдумчиво, построчно вбирая в голову важный смысл. Ему казалось, что к таким высоким решениям он отроду лишен права иметь какое-либо отношение. «...в связи с аварией на филиале ИКЛОНа АН СССР... утечкой биологического материала и опасностью заражения... невыявленные формы... вследствие неустановленного уровня патогенности... здоровье населения... изолировать территорию, прилегающую к филиалу ИКЛОНа в радиусе пяти километров... провести незамедлительную эвакуацию жителей населенных пунктов, расположенных в пределах указанной зоны, а именно: Лемехово, Выстра, Торбеево...»

Смысл стал проникать в сознание с последних слов: Лемехово, Выстра...

«Лемехово!» И будто пол просел и начал проваливаться.

— Так ты что, наше Лемехово угробил?! — прошептал Ремезов.

Игорь Козьмич нахмурился, застыл на несколько мгновений, как изваяние. Он ожидал, что Ремезов начнет с приговора, но все же не сумел сохранить начальственную невозмутимость.

— Вот что, Виталий, — сказал он. — Для этого разговора я приглашу сюда не тебя, а прокурора... Вернее, он меня пригласит. Ты нужен как специалист, профессионал. Давай обсудим сначала дело, а то пока разведем философию, мать честная! — Он вдруг со злостью схватил папку и швырнул ее в сейф. — Хватит, нафилософствовались!

Ремезов наблюдал эту злость, твердость — все сильное, искреннее, и против его воли уважение к Игорю Козьмичу росло.

— Только не гляди на меня как Саваоф. — Игорь Козьмич смотрел Ремезову в глаза уже без всякой злости, без отпора. — Это ты смылся на свой Алтай... в Шамбалу... к ламам. А я по полгода в нашем Лемехове жил, и мои пацаны там каждое лето с удочками бегали. Так что еще надо разобраться, кому оно дороже, наше Лемехово... Так, теперь ты похож на беженца. И это ни к чему. Лемехово закрыто до зимы, от силы до лета. Десять лет ты уже вытерпел, потерпи еще полгода... Кстати, срок карантина во многом от тебя же и зависит.

— Игорь, но ведь Чернобыль уже был... Неужели мало? — сказал Ремезов что уже просилось на язык.

Игорь Козьмич откинулся на спинку кресла, потом снова подался вперед и поправил пиджак, приподняв его на плечах. Ремезов подумал, что у директора вспотела спина.

— Так, Витя, — грустно усмехнулся Игорь Козь-

мич. — Ты все-таки поговорить хочешь. Ладно. Давай поговорим. Только недолго, хорошо?.. Чернобыль у тебя на уме. И у меня Чернобыль на уме. И то слава богу, что мысли у нас общие — есть с чего начать. Так вот я тебе расскажу, что там было, за этой бумажкой, а ты уж, махатма алтайский, рассудишь, грешен я перед господом или как...

Ремезов с недоумением пригляделся к Игорю Козьмичу: дважды и с ударением помянул тот владыку небесного... Что это, очередная бравада, способ вызвать доверие? В глазах Игоря Козьмича он не находил ответа, и это тревожило. Ремезов знал однофамильца, считай, сорок лет, с пеленок, а выходило, что не знал совсем, раз не может определить, что действительно у него на душе... На курсе втором или третьем однофамилец стал доставать «ксероксы» и рукописи, перепечатанные на машинке — «опиум для интеллигенции», как он сам говорил, — и еще года два они текли перед глазами нескончаемым потоком — Бердяев, Гурджиев, Соловьев, Кастанеда, Федоров, Раджниш, Блаватская, Флоренский... всех не перечислишь... Все захватывало и будоражило. Однокашник регулярно ездил в Лавру, соблюдал посты и просил не болтать об этом: «в партию все равно вступать надо, чтобы дали работать по-человечески», «богу богоvo, а кесарю кесарево». Ремезов не ездил, почему-то душа не лежала, почему-то он страшно уставал от церковной красоты, от множества икон — так же, как в детстве, удивляя родителей, он уставал и мучился, долго глядя на новогоднюю елку. В новогодний час мама с папой чуть ли не силой тянули его к шарикам и гирляндам, а он упирался и, бывало, начинал реветь... И всегда становилось не по себе, невмоготу перед ликами в нимбах от того, что у него, Ремезова, не делалось светлее на душе, а, напротив, наваливалась тяжесть и оцепенение. С другом он был в церкви раз или два и украдкой поглядывал на него, изумляясь, как загораются над свечами его глаза и весь он

становится похожим на Александра Невского из фильма Эйзенштейна.

— Речь идет, Витя, о твоих вирусах, — мягко произнес Игорь Козьмич. — Это я добился, чтобы твою работу продолжали у нас, а не в Москве. И если помнишь, я тебя дважды упрашивал вернуться и снова взять вожжи в свои руки.

Ремезов кивнул и усмехнулся, вспоминая внезапные междугородные звонки в больницу и опасливые взгляды главврача... Что могли натворить его вирусы? Все штаммы десятилетней давности были безобидны. Или одноФамилец успел вырастить что-нибудь новенькое? Ремезов хотел спросить напрямую, но Игорь Козьмич уже продолжал начатую мысль:

— И я не особо удивлялся твоим отказам. По-своему ты прав. Оно, конечно, ближе к святости — быть благодетелем сира и убога в горах и лесах... а мы тут со своим прогрессом... генной инженерией и реакторами еще неизвестно кого дозволимся — не то черта, не то архангела... Но я не верю, Витя, что ты сдался, что ты там, на своем Алтае, не шевелишь мозгами в этом направлении. Я не верю, что тебе не снится твоя наука и ты не мечтаешь выехать когда-нибудь на белом коне... из тайги. Тебе бы туда, в твой скит, забросить на вертолетах из наших запасников хорошее оборудование, пару лаборантов — и через пяток лет ты облагодетельствуешь не только чабанов-ударников, а весь прогрессивный мир... Тебе это снится, Витя, а я, между прочим, уверен, что все это можно провернуть наяву.

— Снится, снится, — кивнул Ремезов, тяжело вздыхая.

Ах, какие это были годы! Какие звезды сияли вдали! «Многоцелевой вирус-союзник» (это из газетного интервью), всех вредителей зерновых культур — одним махом! Полный отказ от инсектицидов! Докторская диссертация! Эх, черт, Государственная премия (еще Стрелянов грозил)!

Понятно, если бы дорожка была прямой, — работу завершили бы под фанфары и без него — на день раньше или позже. Но, увы, и за десять лет работы продвинулась не намного вперед, и, будь на переднем крае он, Ремезов, положение дел было бы не лучше... он не переоценивал своих способностей. Но эта трезвая мысль была плохим утешением: оставленную работу было жаль, как брошенный поневоле, только что выстроенный своими руками дом. Игорь Козьмич это понимал — и искушал.

— Я знаю, что когда-нибудь ты не выдержишь, — сказал он и, как фокусник, вынул из стола верстку монографии. — Вот видишь, мы сделали книжку. Первый Ремезов — это я, а второй — ты. Меня уже в родственных связях обвинили.

Авторство монографии было поделено на четверых. Первыми стояли два Ремезова, остальных второй Ремезов знал не в лицо, а по публикациям... Душа доктора Ремезова дрогнула.

— Искушаешь, Игорь, — вздохнул он, не в силах унять нахлынувшие на него добрые надежды.

— Конечно, искушаю, Витя, — приятельски улыбнулся Игорь Козьмич. — Мы включили в монографию твои старые данные, но с новой интерпретацией. Потом посмотришь... Дело идет, Витя. И ты должен быть с нами, как тень отца Гамлета — все время рядом и голос подавать.

— Ну, спасибо, похоронил друга, — усмехнулся Ремезов.

— Ты подожди иронизировать, — повел рукой Игорь Козьмич, отмахиваясь от шутки, как от мухи. — Главное, чтобы тебя помнили. Чтобы, когда ты появишься на нашем небосклоне, на тебя не таращили глаза, как на неопознанный объект.

— В тебе писатель умер! — развел руками Ремезов. — Такие картины: и тень отца Гамлета, и летающие тарелки... Ты уверен, что я вернусь?

Игорь Козьмич помолчал, думая.

— Не уверен, — уже без пафоса признал он. — Пути праведников неисповедимы... Тогда вернемся к нашим баракам... Мы тут без тебя нарожали кучу штаммов. И естественно, все их свойства нам неизвестны... Но мы были уверены, что никакой опасности быть не может. Ее нет, пока вирус в пробирке, а пробирка в ламинарном боксе — в этом вся загвоздка... Теперь послушай историю. Все началось с конца. Как-то в выходной зашел я в гости к леснику, он — давнишний мой приятель. На охоту водит, банька у него — маленький рай на земле... Короче, сидим мы с ним, вечеряем. Слово за слово, начали мы друг другу жаловаться на свою жизнь, и вот он мне рассказывает, что обидели его в районе и кошка любимая пропала в тот же самый день. На другой опять ее нет и на третий... А потом падалью потянуло откуда-то в дом. Принюхивался так и эдак — тянет вроде как прямо с порога, заглянул под крыльце — тут всего и вывернуло: мурка, значит, дохлая и тут же с нею куча дохлых мышей-землероек, штук тридцать, не меньше. Выходит, она их откуда-то натаскала, может, еще и живых, а потом уж и сама на этом своем погосте и околела. Ну, я согласился: странное дело. А он к этому добавляет: морда у нее вся красная стала. Я и вспомнил: у нас в виварии на днях тоже несколько кошечек подохли, и морды у них, мертвых, тоже как будто побагровели... Тут у меня волосы на голове зашевелились. Я кинулся в институт и, когда раскрутил следствие, понял, что сижу на бочке с порохом.

Странные явления происходили в филиале ИКЛОНа АН СССР, расположенном в пределах лесничества. Действительно, в виварии напал мор на кошечки, но еще раньше, на полторы-две недели, в здании пропали тараканы. Это событие было заметным и радостным, и его подтвердили все опрошенные. Однако исход тараканьего племени начался из комнаты, где произошла небольшая авария.

— Я и не знал, что у них пробирка со штаммом в центрифуге лопнула, — рассказывал Игорь Козьмич. — Замяли, черти!

Раз вирус считали неопасным, то решили обойтись местной дезинфекцией: залили емкость центрифуги спиртом. Однако поначалу нужного количества спирта под руками не оказалось, и, пока его искали, центрифугу забыли открытой.

— Вентиляция тянула все наружу, — рассказывал будто фильм ужасов Игорь Козьмич. — Прямо в туман... А у нас сейчас сырьё, туманы до полудня стоят... Хуже того, есть непроверенные сведения, что лаборантки из других комнат догадались, отчего у соседей тараканов не стало... и одолжили пробирочку-другую... В общем, Витя, я струхнул, был такой момент. Может, и зря струхнул. По неопытности, знаешь. Наверняка на кошках все и остановилось бы. Ведь никто не заболел, слава богу... Да и посуди сам, на руку мне этот, как ты выразился, Чернобыль? Другой бы на моем месте задраил бы люки и отсиделся — или пан или пропал. А я вот не смог, Витя, перестраховался. Струхнул, прямо говорю... Следствие закончил, сел здесь — душа не на месте, руки дрожат... Поверишь: монету, пятак, хотел бросать. Подумал — и плонул, пропади оно все пропадом. Пора народ встряхнуть — сегодня у них тараканы дохнут, а завтра что?

Ремезов слушал Игоря Козьмича, недоумевая: говорит он снова по-директорски, как на совещании оправдывается, а не перед другом детства, но видно, видно же, что говорит искренне — и душа у него не на месте была, и руки затряслись... И Ремезов подумал, а не ждет ли он от директора фальши только потому, что сам потерял здравый взгляд на людей, по укоренившейся привычке ожидая ложь или корысть от любого начальника... А вдруг вызвал его однофамилец на помощь, потерявшийся, как Ремезов, в утробе железного кита?..

И зачем придираться к его языку и тону — он же директор, из молодых, да ранний...

— Так что, Витя, запиши в свой протокол: приход с повинной до преступления, — продолжал Игорь Козьмич. — Такой вот юридический казус. Это — первое. Второе, Витя, — эвакуация. Сделали мы, по возможностям, все аккуратно. Без паники и прочих эксцессов. Ну, в наших краях это дело простое. Что там — несколько километров леса огородить?..

— Велика Россия-матушка, — криво улыбнулся Ремезов. — Что там — несколько километров леса отстегнуть?.. Знаешь новый вариант старого анекдота про русских на Луне?

Игорь Козьмич пожал плечами и сосредоточенно завертел в пальцах блестящую шариковую ручку. Можно было предположить, что его мысли умчались уже далеко вперед и ему в тягость слушать комментарии к пройденным пунктам повестки дня.

— Не знаю, — сказал он. — К тебе на Алтай анекдоты быстрей доходят.

— Является к президенту Штатов помощник и весь сияет от радости. «Господин президент, — говорит, — русские на Марсе!» Президент вскакивает: «Как так на Марсе? Почему на Марсе?! Мы же о совместном полете договаривались... Вот мерзавцы, обошли! А ты чему радуешься?!» — «Господин президент, — отвечает помощник, — они все на Марсе...» Вот так, вчера — Чернобыль, сегодня — Лемехово. Остальное затопим. И окажемся все на Марсе... Куда еще деваться?

— Русские на Марсе, — медленно проговорил Игорь Козьмич и поднял глаза на Ремезова. — Витя, дорогой... Мы уже давно все на Марсе. Просто не замечаем. Куда мы денемся? Вот скажут сейчас по радио: авария, так, мол, и так, воду из крана пить нельзя... Так я что — я выматерюсь, а стакан все равно подставлю. И все будут материться и пить. Потому что надо бежать на работу, или с работы, или в очередь, или в сад за детьми,

или на собрании сидеть. Не остановишь, Витя, ничего. Как-то в командировке беседовал с директором химкомбината. Это чудовище трубами дымит, а у директора дача неподалеку, километрах в пяти. Мы сидим на скамейке, а он мне хвастается, какие там еще очереди и комплексы в строй пускает. Тут его сынок на речку с удочкой собрался — он его за трусы хвать. «Чтоб в воду не смел лезть — уши оборву!» А передо мной своей отеческой заботой щеголяет: мол, пруд в саду для сынка родного вырыл и воду чуть не из Канады привез... Витя, это просто какой-то тотальный сомнамбулизм. Я и в экологических комиссиях поучаствовать успел... Глядим как-то: стоит завод, вокруг на десять километров все выгорело, а рабочий поселок — прямо под трубами. У народа спрашиваем: какой кретин вас сюда поселил? Не поверишь! Это они сами добились строительства поселка! Чтоб на работу не далеко ходить! Мы им: смотрите, люди, у вас дети — сплошь астматики... Стоим — они нам что-то бормочут... Короче, не понимаем друг друга, и все тут. Митинги и демонстрации по поводу экологии я видел, но только по телевизору. А наяву, в массе, я видел другое. Положим, не мы одни, а все на шарике в технократии погрязли, но мы-то в Союзе уже дognали и перегнали. На Луне нас обошли, а на Марсе мы все — первые...

Услышав про телевизор, Ремезов вспомнил поразивший его эпизод из передачи про безопасность дорожного движения. Инспектор ГАИ вдвоем с корреспондентом ловят на шоссе нарушителей. Останавливают грузовик с прицепом: одно из колес болтается, как пьяное. Шофер — молодой парень; стоит, улыбается растерянно. Инспектор ему суворо: «Откуда такой?» Шофер ему с улыбкой до ушей: «Так за цементом послали. Ехать-то надо...» Инспектор осклабился и решил удивить парня: «Далеко не уедешь. Колесо-то свое видал?» Парень ему с той же улыбкой: «Так механиков не было... И запчастей нет... А ехать скорей гнали». Инспектор рядом с те-

левизионщиками сдержан и корректен, как директор образцовой школы: «А сам-то что? Сказал бы начальству: ехать нельзя... На такой машине». Парень пожимает плечами: «А чего говорить? Они же и послали... Ехать-то надо». Пауза: инспектор начинает закипать, безмолвно шевелит губами. Паузу прерывает сообразительный корреспондент: «Но вы же понимаете, что представляете собой опасность для других?.. Да еще едете на высокой скорости. Где гарантия, что не случится авария? Вы же не один на дороге. И машину погубите, и люди могут пострадать. Вы же — водитель! Понимаете, что вероятность аварии велика?» Водитель ясными и добрыми, немножко оторопелыми глазами смотрит прямо в камеру: «Ну... понимаю, конечно... Ну а что делать?.. Ехать-то надо...» — «Вам что, и самому жизнь не дорога? Вы ведь тоже пострадать можете — и погибнуть, между прочим... Об этом не думали?» — наседает корреспондент. В ясных глазах шофера — ни тени: «Ну... может, конечно... А чего делать?.. Ехать же надо». Изобретательный корреспондент делает последнюю попытку проинять чистую душу водителя «адской машины»: «У вас семья есть?» — «Есть», — отвечает шофер, встряхивая легкими кудрями и улыбаясь еще шире. «Ну вот: сами погибнете — как тогда вашей семье?.. Жене, детям?.. Хоть о них-то подумали?» Шофер вздыхает виновато, как школьник, опускает глаза, улыбается: «Ну... думал... а чего делать? Ехать-то надо». Эпизод кончается.

Ремезов, завтракая, смотрел телевизор краем глаза, но тут опустил вилку и долго сидел в оцепенении. «Он же — заводная игрушка! Какая там еще фантастика про роботов! Вот же — включился и все... ехать-то надо. И чужая кровь что водица, и своя жизнь — копейка. Но ведь не злодей же! Едет, добрая душа, жену и детей вспоминает... Ехать-то надо... Как под гипнозом... Да это же и есть гипноз». Тут Ремезов и о себе успел подумать: «...А все мы так... с озонными дырами в мозгах... ехать-то все равно надо...»

Вспомнив эту историю, Ремезов грустно согласился с Игорем Козьмичом и рассказал ему о том, как «ехать-то надо». Он слушал очень внимательно, прямо вперив в Ремезова взгляд, отчего тому даже стало не по себе. Он снова подумал, что издалека неверно представлял себе однокашника, когда, узнав о его успехах на руководящих должностях, невольно облек его в образ стандартного функционера с глазами, в которых нет ничего, кроме электронного часового циферблата с расписанием совещаний, звонков и разъездов по главкам и министерствам.

— Ехать-то действительно надо, — тяжело проговорил Игорь Козьмич. — А куда, к чертям, ехать?.. Вот ты говоришь: русские на Марсе — анекдот. Какой тут, к чертям, анекдот!

Он, порывисто выдвинув стул, сел, но не на директорское место, а напротив Ремезова, за длинный стол для совещаний, торцом примыкавший к директорскому. «Пошел в народ», — усмехнулся Ремезов.

— Вот что я тебе скажу, Витя, — начал директор, приблизившись к Ремезову насколько позволяла крышка стола. — Давно у меня в голове одна крамольная мысль вертится. Я думаю, что, пока мы все на Марсе, такие выпускации джиннов не на вред, а на пользу... Ну, не в густонаселенной местности, конечно, а в лесах и горах. Не делай страшных глаз, Витя, не надо. Не считай, что я в этом кресле совсем плохой стал... Я думаю, сама биосфера защищается от нас с помощью таких аварий. И сами аварии — следствие объективной необходимости: нужны природе гарантированно закрытые биосферные резервации. Ты подумай: у биосфера есть свои мощные механизмы адаптации к повышению радиоактивного фона и вирусным инфекциям. Ведь были же на Земле периоды totally высокой радиоактивности. Вымерли, допустим, динозавры, так, выясняется, — к лучшему... Еще неизвестно, при каких обстоятельствах появился homo sapiens. Во всяком случае, мутации на радиоактивном

фоне не исключены... Короче, Витя, биосфера привыкает, понимаешь, привыкает. Ну, двадцать, ну, пятьдесят лет, ну, сто пятьдесят что-то в ней не ладится, но потом все стабилизируется, входит в норму, пусть в новую норму. Мутации, приводящие к явной нежизнеспособности, выбраковываются, в части мутантных генов происходят реверсии... Да что я тебе объясняю школьные истины!.. Проходит время — среда стабилизируется, а в биосфере появляется то, что с необходимостью должно появиться... А главное, Витя, в том, что можно надолго успокоиться: в эти зоны уже ни один кретин не полезет со своими трубами, со своей вонючей химией, мелиорацией... поворотами рек, с осушением болот... со своими ружьями, «Жигулями» и транзисторами, наконец. И никакой партии «зеленых» не нужно. Если бы я мог вывести такой вирус, о котором я знал бы наверняка, что он не покосит население страны, а, с другой стороны, им можно попугать того, кого следует иногда пугать, прямо говорю, Витя, я положил бы жизнь на то, чтобы устроить дюжину таких «фиктивных» аварий. Превратил бы половину страны в национальные парки и заповедники, которые не надо охранять под пулями браконьеров... А что ты смотришь? Думаешь, бунт начнется? Не начнется? Не начнется, Витя. Не было же бунта, когда затопляли территории, равные всему Общему рынку, вместе взятым... или когда травили землю химией. Не было. Потому что, извини, дорогой, всем на эту землю начхать. Потому что все — давно на Марсе. И пока все прохлаждаются на Марсе, я и законсервировал бы часть биосферы под «посевной фонд». А когда, даст бог, не через тысячу лет вернутся наконец с Марса... когда очнутся от гипноза... вот тогда мой «посевной фонд» и пригодится... Тогда, глядишь, вспомнят и обо мне, как я на старости лет долбил кайлом мерзлоту на руднике... Витя, ты мне «бред величия» в диагноз не пиши. Подожди. Всему свое время.

Ремезов, уже прозванный «алтайским махатмой»,

старался сидеть с неподвижным лицом, и, казалось ему, что это удается. Значит, думал Ремезов, однофамилец говорит сам с собой, вернее, с тем Ремезовым, которого представлял себе, ожидая эту встречу и репетируя свой монолог... Да, Игорь Козьмич представлял себе, что должно покоробить «алтайского махатму». «Неужто он не шутя ищет во мне праведника... исповедника?» — задал себе вопрос Ремезов, но сразу же обозвал себя скотиной... Да, он, Ремезов, тоже предчувствовал, что придет час этой встречи — и тогда его единственная задача, единственная защита, единственное спасение — не верить ни единому слову однофамильца потому, что тот будет либо оправдываться, либо издеваться... ведь дорожки разошлись слишком круто. «Нет, это ты, Ремезов, слушаешь только себя, считаешь вдохи и удивляешься: как это ты, такой хороший и принципиальный, совершив когда-то «подвиг», который будто бы дал тебе право судить... как можешь ты... как это хватило тебя лишь на мелкую зависть?.. А твой старый друг говорит с тобой, не кривя душой и не пряча глаз... Вот он возьмет и окажется прав... станет великимучеником, и его канонизируют... Что, если он действительно прав?»

— О чём ты думаешь? — услышал он голос Игоря Козьмича.

— Я? — Ремезов был расстроен своей «бесхребетностью». — Да я все больше в собственном соку варюсь... А ты, гляжу, не шутя грозишь.

— Не шутя. — В голосе однофамильца прозвучали роковые ноты.

— Жутковато... Но я вполне допускаю, что ты прав. Вернее, так: сейчас нет за тобой правды, а потом она вся твоя окажется... А победителей, как известно, не судят.

— Это ты хорошо придумал — про правду, — снова без малейшего следа иронии сказал Игорь Козьмич. — Владимир тоже Русь крестил известно как — кости тре-

щали... Однако ж — и равноапостольный, и Красно Солнышко.

— Вот я и думаю: тебя причислят к лику... — уже насмешливо добавил Ремезов. — Когда с Марса вернутся оставшиеся в живых.

Наконец и Игорь Козыч заговорил полуушутя:

— А в летописи упомянут, что от тебя благословение получил. Ты ведь тоже не просто так на Алтай, в пустынь удрал... Провидение, брат.

И тут Ремезов похолодел: пока говорили о мировых проблемах, он успел забыть про Лемехово... «Ты обходился без Лемехова десять лет... что же, только теперь стало без него невмоготу?..»

3. ДЕСЯТЬ ЛЕТ НАЗАД

...По первому же взгляду, первому же слову Гурмина Ремезов догадался, что И. О. задался целью разозлить и унизить. А еще он понял, что не хватит сил сдержаться. Значит, разговор кончится плохо. Значит, у него, Ремезова, этим утром начинаются на службе черные времена. Дома они начались месяцем раньше. Год был плохой — какого-то зверя, которого Ремезов с детства не любил.

В тот год великий Стрелянов «вознесся» в консультанты, перенеся инфаркт и едва не став своим почетным портретом над директорским креслом, а в самом кресле возник Гурмин, давний враг института. Продвинуться по научной тропе ему не удалось — был шибко бездарен, но он двинулся в обход, по тропам министерской карьеры, и в конце концов взял свое.

— Вы вот защитились, Виталий Сергеевич, — с вкрадчивым дружелюбием начал он, — теперь пора, как говорится, окупить расходы государства. Через год у нас отчет по двум эпидемиологическим темам. Прежние исполнители ушли. И я лично предлагаю вам...

Уход с поста Стрелянова и возвращение Гурмина Ре-

мезов пережил тяжело. С Гурминым имелись старые счеты: когда-то он тихо присвоил результаты годовой работы Ремезова. И теперь Ремезов догадался, что пасть у подросшего серого волка раскроется шире.

«Нечего тянуть волынку, — подумал Ремезов. — Перед смертью не надышишься».

— Когда я выйду, меня встретит на стенке ваш приказ, — сказал он вызывающе. — Разъясните мне, Альберт Иванович, где истина в последней инстанции.

На стене, на красном, как знамя, стенде, висел приказ, запрещающий работы с вирусами в рамках тех двух эпидемиологических тем. В начале пятилетки вместе с утверждением тем утвердили план обеспечения института оборудованием для рискованных экспериментов. Но темы остались, а оборудование так и не поступило. Последняя главковская комиссия констатировала, что в институте нет пока условий для работы с особо опасным биологическим материалом, и постановила запретить... Решение подписал И. О., пока что и. о.

— Виталий Сергеевич, — улыбнувшись, сказал И. О. тоном одолжения, — мы же взрослые люди... Когда выполняются точно все положения и инструкции, это называется «белой забастовкой». Производство попросту останавливается. Мы так и атомную бомбу не сделали бы...

— Я за атомную бомбу не отвечаю, — огрызнулся Ремезов.

— И тем лучше для вас, — уже твердея голосом, заметил И. О. — Приказов и запрещений много, а отчет — один. И зарплату под эти темы мы уже получили и, между прочим, успели проесть и пропить.

И тогда Ремезов сказал, что ему надоело выливать изотопы в унитаз... Радиоактивные отходы экспериментов должны складироваться в специальных контейнерах. Помещение для них было отведено, однако его занимали не контейнеры, а сотрудники одной из лабораторий, оказавшейся без определенного места жительства. Кон-

тейнеры отсутствовали или их иногда привозили во двор, куда в холодное время никому не хотелось выходить... Все использованные материалы, препараты с радиоактивными метками спускали в раковины и унитазы.

Ремезов знал, что такое происходит *повсеместно*, но сегодня у него взыграло.

Гурмин, одновременно хмурясь и усмехаясь, вежливо спросил, кто понуждает Ремезова засорять унитазы... и чуть погодя, не дожидаясь ответа, посоветовал больше так не делать.

Ремезов переспросил, действительно ли он может освободить себя от этой неловкой обязанности.

Гурмин ответил утвердительно и посоветовал сделать это как можно быстрее.

— Нельзя же все время насиливать совесть, — вошел он в положение Ремезова. — Так легко невроз себе нажить.

Ремезов, помолчав и представив себя с обходным листком, безнадежно добавил:

— Но ведь Чернобыль уже был... Неужели вам мало, Альберт Иванович?

Гурмин быстро и холодно взглянул на него исподлобья, точно с самого начала разговора настороженно ожидал это обвинение.

— Именно поэтому я пригласил для разговора вас, а не... Ваньку с улицы, — бросил он, стреляя словами. — Вы аккуратны, я вас знаю. Вы — профессионал. Мне, что ли, эту холеру подхватить хочется?

Ремезов молчал и тоже смотрел исподлобья.

— Та-ак, — не выдержал И. О. — Я вас знаю... Сейчас вы мне начнете про тысячелетие крещения Руси и переброску северных рек...

«Все, конец, — бесчувственно подумал Ремезов. — Пора разводиться и уезжать к чертовой матери».

Через два часа он узнал, что предложение Гурмина принял однофамилец.

Все разладилось в жизни, все пошло наперекос.

Выйдя из директорского кабинета, Ремезов опасался еще чего-то, непонятно чего. Теперь стало ясно: он опасался, что следом вызовут однофамильца и тот согласится. То, что теперь случилось, оказалось на него двойное действие: вызвало злую досаду и отмело все сомнения, укрепило Ремезова в правоте.

«Все, конец, конец, — отрясал он с себя прах научной и неудавшейся семейной жизни. — Развожусь немедленно и уезжаю...»

За этими мыслями и застал его однофамилец. Ремезов поднял на него глаза, но, погруженный во внутреннее кипение, сразу как будто не заметил.

Однофамилец попытался рассмеяться:

— Сурово глядишь, отец Авраам!

Ремезов, проникнутый значением своего подвига, ничего не ответил.

— Осуждаешь? — Однофамилец улыбался насколько хватало сил широко.

Ремезов пожал, скорее передернул плечами.

— Ну, осуждай, — вдруг согласился однофамилец и, вздохнув, перестал улыбаться. — Ты, конечно, сделал правильно... устоял перед грехом... А я, как видишь, решился пасть в твоих глазах... Хотя, честно говоря, я не ожидал, что ты так быстро сдашь оружие: И кому?! Это же бездари, Витя! — Он стал воодушевляться. — Они же все загадят! Осуждай, Витя, осуждай. Но я не отдам им свою работу. Знай, Витя, и твою не отдам.

Ремезов слушал без особого чувства.

— Я принимаю твой вызов, Витя, — твердым голосом сказал однофамилец. — Раз ты так решил, то и я решил. Сегодняшний день будет для Гурмина началом конца. Я даю тебе слово. Сразу этого зверя не завалишь, но дай мне лет пять-семь...

Однофамилец сдержал слово.

— Что будешь делать теперь? — спросил он, решив, что Ремезов чуть-чуть подобрел.

— Ухожу в монастырь, — равнодушно отговорился Ремезов.

— Логично, — кивнул однофамилец. — А если всерьез.

— Подаю заявление и уезжаю.

— Куда?

— Куда возьмут... На Алтай.

И Ремезов угадал свою судьбу: поездив в экспедициях по Казахстану, он осел наконец в районной больнице на Горном Алтае.

— На Алтай? — изумился однофамилец и, подумав об этом, мечтательно вздохнул: — На Алтае хорошо... Здесь — суета, а там — тишина, горы. Это ты хорошо придумал. И момент подходящий.

— Момент подходящий, — хмуро проговорил Ремезов и стал злиться.

Однофамилец заметил это и вышел по каким-то своим новым делам.

Он потом часто вспоминал Ремезова. И Ремезов часто вспоминал вдалеке своего однофамильца... И у каждого за годы вырисовывался новый образ собеседника, оппонента. Тихая зависть рождает в душе антипода, недостижаемого или в праведности своей, или в греховности...

4. ПОСЛЕ ЧЕРНОБЫЛЯ

Мысли у доктора Ремезова путались.

— Так ты меня для благословения выписал? — настужно усмехнулся он. — Да еще с доставкой «срочно»? Не будет тебе благословения, Игорь Козьмич. Кто я такой? В праведники не гожусь... Мне самому найти бы праведника. Я не знаю, прав ты или нет. И никогда не узнаю. Может, и прав. Только волосы дыбом встают от твоей правоты.

— Зато другие, — едва не зарычал Игорь Козьмич, — гарантируют благополучие, процветание и «ме-

ры по дальнейшему...». С Марса оно легче гарантировать. Там кислотные дожди не идут. Конечно, ты, Витя, — не футуролог какой-нибудь, ты глобальней мыслишь, в модном духе. У тебя там на уме «космическая этика» или еще какая-нибудь «философия общего дела»... Именно поэтому ты сломя голову драпанул на Алтай, а я остался тут — разгребать всю эту... мать честная! Витя! — Взгляд Игоря Козьмича снова прояснился, засверкал, как сварочный огонь. — Что ты дурака валяешь! Вот ты, честный такой профессионал, плюнул на все... мол, капитан корабль на рифы ведет — ну и черт с ним и с его посудиной, бросай руль... Ну и кто за руль возьмется? Кого поставили бы? Синявского? Тихорукова?.. Вот бы началась стряпня! Да им самое место — на проходной пропуска проверять и чужие сумки лапать... Так вот лысенки к власти и приходят, пока все умные и честные берут тайм-аут вопросы решать: быть или не быть, кто виноват, что делать, что, где, когда, какой счет... Опять ты меня, Витя, в философию затащил... О чем, бишь, я?.. А, да про эвакуацию, — Игорь Козьмич успокоился и, машинально покрутив браслет на запястье, взглянул на часы. — Все эвакуированное население, Витя, уместилось в трех «рафиках». От всего Лемехова осталось две с половиной старухи. Вот так. И если в этом виноваты чьи-то вирусы, то уж, во всяком случае, не наши с тобой, Витя. Ремезовых, кроме нас с тобой, осталось еще двое — и все.

Когда-то Ремезовых, родственников и однофамильцев, можно было насчитать в Лемехове никак не меньше полусотни — едва ли не половину всего честного народа, позднее — «населения». В пору отречений от старого мира и великих переломов самые хваткие, бойкие на ум Ремезовы додумались, что стать из ничего всем можно одним махом: главное, переименовать глухую лесную деревеньку по самой ходовой и крепкой корнем фамилии. Решив, послали в район прошение. Как раз в

ту пору подули ветры с великой беломоро-балтийской стройки, и имя славного народоустроителя, соратника вождя, днем и ночью гудело в проводах. Районная власть незамедлительно откликнулась встречным пла-ном. Ремезовы оторопели и долго скребли затылки. Старики коверкали язык, выговаривали-выговаривали, да так ничего толком не выговорили.

— Хановичи?.. Иль Онучи, что ль, какие?

— Ка-га-но-ви-че-во, — растолковывали люди во френчах.

— Ась?.. Ну!..

Между собой постановили: а ну его к лешему. Пусть будет как было. Надо нишкнуть, авось пронесет. И про-несло.

С тех пор Ремезовы не высывались.

— А кто остался-то? — спросил доктор Ремезов.

— Тетка Алевтина и Макарыч, — ответил Игорь Козьмич. — Помнишь?

— Помню, — кивнул Ремезов.

Сердце снова кольнуло и отпустило, метнувшись в памяти, как порыв ветра, картины детства, даже соломенным запахом сеней дожнуло вдруг из избы тетки Алевтины — и пропало... Ремезов снова сидел в кабинете директора института, а в ушах стоял плотно набившийся в голову гул самолетных двигателей. После светлого воспоминания Ремезов зевнул до слез и, щурясь, взглянул в окно. Солнце уже поднялось высоко. Северное сентябрьское утро было резким и ясным, и кабинет освещался им, как комната в новом пустом доме.

— Что ты? — заметив в Ремезове перемену, спросил Игорь Козьмич.

— А все не пойму, зачем я тебе нужен, — с неожиданным чувством хозяина положения ответил Ремезов. — И зачем ты затеял такую облаву?

Игорь Козьмич смотрел на Ремезова пристально и чуть исподлобья.

— На пушку тебя брал, — без ответной улыбки при-

знался он. — Боялся, что благородного приглашения не примешь. Пока раздумывать станешь: ехать — не ехать, быть или не быть, тут у нас, из нашей искры, такое полыхнет... Ты это дело начинал — где мы эксперта лучшего отыщем, кто лучше тебя соображает в этих побочных штаммах? Кто поймет, что от них ждать?

Ремезов заранее знал, как ответит Игорь Козьмич, и не был в силах подавить грешное удовлетворение: вот он знает, а теперь еще и слышит это собственными ушами от директора ИКЛОНа АН СССР. Но копнуть глубже — под радостью была горечь. Десять лет он был для науки персоной нон грата по собственному желанию. Это — полная дисквалификация. Какой из него теперь учений!

— Да я уж позабыл все, — пожал он плечами. — Десять лет военно-полевой практики. Мои мозги для науки уже не годятся.

— Опять ваньку валяешь! — живо вспылил Игорь Козьмич. — Я от тебя вопроса про стариков ждал. Как же их, несчастных, из родного угла выгнали? Жаль их, да? Жаль, Витя... Правда, жилищные условия у них теперь получше: с печкой мучиться не надо, с ведрами — кряхтеть, автолавку — ждать... Но ведь мы-то с тобой — культурные люди, мы-то понимаем... — В словах этих слышалась уже злая ирония. — Разве компенсируешь... свой угол, свой огородик, кресты родные на бугорке. Упрашивали меня оставить — помереть в родном дому. Так вот я и пообещал им, Витя... От тебя да от нас с тобой зависит, когда я их повезу домой, а не так, чтобы — сразу на бугорок.

Игорь Козьмич поднялся.

— Все, — решил он, — солнце уже высоко. Тебе — два часа сна, а то жмуришься больно сладко... Через два часа встречаемся здесь, в ВЦ. Дорогу помнишь?.. В четырнадцать тридцать обедаем.

— Я спал в самолете, — напомнил Ремезов.

— Нет, — рубанул рукой воздух Игорь Козьмич. —

Никаких. Твоя голова нужна свежей... Я сейчас сразу спущусь в вычислительный центр, а вахтер покажет тебе коттедж. Завтрак тебе через четверть часа принесут.

Ремезов так и не использовал по назначению два часа, отпущеные на сон. Два часа он лежал поверх покрывала на спине и, изредка поглядывая на вмонтированные в телевизор часы с въедливыми зелеными огоньками цифр, заставляя себя поверить в то, что произошло с ним и с Лемеховым.

«Да какого же дьявола его в Лемехово понесло со всей этой заразой!» — отчаянно подумал Ремезов и невольно поднялся на постели. Электронные огоньки назойливо предупреждали, что время, установленное начальником для отдыха, еще не истекло. Ремезов посидел сам не свой, потом лег обратно:

Потом он встал под холодный душ, и вода освежила его немного, достаточно, чтобы Игорь Козьмич поверил его взбодренному виду.

Перед многостворчатыми стеклянными дверьми проходной Ремезов вдруг оробел. Повинуясь всплывшему из глубин памяти условному рефлексу, потянулся в карман за пропуском, но пропуск в ИКЛОН АН СССР уже десять лет в кармане не лежал. «Как же я пройду? Он что, так и решил, что я — его подчиненный с пропуском?» — тревожно недоумевал Ремезов и при этом еще успевал насмехаться над своей неудержимой робостью, над заколотившимся, как у воробья, сердцем.

Но тут сквозь стекла, сквозь отражения берез и строя серебристых елей, застывшего у самых дверей, обозначилась фигура директора, и Ремезов заметил, что тот взмахом руки приглашает его внутрь.

Игорь Козьмич добродушно посмеивался.

— А я видел, как ты за пропуском потянулся... Держи. Это твой. — И он сунул Ремезову в руку пластиковый жетон с фотографией. — Портрет свой ты привез-

ти, конечно, не догадался... Я из архива взял. Тут ты поможе. Так что есть повод тряхнуть стариной.

И Ремезов еще сильнее растерялся, увидев фотографию на пропуске. Таким он, Виталий Ремезов, был приkleен еще на аспирантский пропуск, но и на тот пропуск его маленький портрет с испуганно выпученными глазами попал из тиража, напечатанного еще для студенческого билета и зачетки.

— Ты прилично сохранился, — с завистью признал Игорь Козьмич. — Хорошо, что в тайге бороду не отпустил...

Они пошли в вычислительный центр института. Была суббота, но торопливые сотрудники в белых халатах попадались на пути часто. Они сосредоточенно здоровались, Игорь Козьмич деловито, чуть напряженно кивал: чувствовалось, эти люди заняты не повседневными научными хлопотами, а нынешней критической ситуацией.

— Ну, каково тут теперь? — не без гордости спросил Игорь Козьмич на пороге ВЦ. — Всю новую аппаратуру я успел достать... Если теперь посадят, то хоть здесь добром помянут.

Ремезов совсем отвык от работы с компьютером. Уже через четверть часа пронзительно яркие, разноцветные картинки на дисплее стали реять глаза, отяжелела голова, сдавило виски, и во всем теле, но особенно в кистях началась тонкая, напряженная дрожь.

— Подожди, — сказал он не то сидевшему рядом и излучавшему безмерное терпение Игорю Козьмичу, не то самому компьютеру. — Я ничего не запоминаю. Слишком быстро... Игорь, дай бумагу. Я так не могу, мне легче по старинке... надо записать.

Игорь Козьмич потянулся в сторону и положил перед Ремезовым несколько широких листов.

Цифры и картинки, превращенные в стремительную компьютерную мультипликацию, казались живыми. Половина экранного поля была отведена графикам, таблицам, гистограммам, на другой, левой, половине враща-

лись объемные модели вирионов, фрагментов капсид (вирусных оболочек), серпантин белковых молекул.

Мысли Ремезова снова раздвоились и текли как бы в противоположных направлениях.

Многогранники вирионов напоминали Ремезову летящие по орбите спутники. «Очень похоже, — заметил он. — А может, наши спутники и есть своего рода вирусы... Размножаются, правда, немножко по-другому... Новый виток эволюции — планетарные вирусы... Сколько их над нами... Тысячи... Но это — только начало».

И при этом все внимание было пригвождено к правой половине экрана: все, что видел Ремезов, было продолжением, следствием той работы, которую начал он, аспирант Ремезов... «У тебя голова толковая, — когда-то похвалил его Стрелянов. — Катится не по инерции, как у большинства после окончания вузов, а — на внутреннем сгорании». Ремезов снова переживал это упоительное внутреннее сгорание. Но десять лет он прожил другим человеком — и вот снова приходилось оправдываться... «Вот сегодня и стало ясно, что я тоже сделал работу за дьявола, — говорил себе Ремезов, вспоминая слова отца атомной бомбы, Оппенгеймера. — Кто-то сказал: нет никакой научно-технической революции, есть одна гонка вооружений. Верно! Главное: высунув язык, догнать и перегнать... Отсюда и получается, что любое техническое или научное новшество у нас — вроде допинга на беговой дорожке: сиюминутное «благо» с неминуемыми разрушительными последствиями. Чем больше пользы сегодня, тем больше вреда завтра. Пользы на день — вреда на год, пользы на десять лет — вреда на тысячу... Пропорцию устанавливает тот, кто всегда стоит за нашими спинами и ждет, когда придет пора седлать жеребца, старательно облезженного нами, людышками... Эх, куда ни глянь!» — горько усмехнулся он, вспомнив рев бульдозеров на Катуни, от которого осипалась сухая замазка с больничных окон.

Так убеждая себя Ремезов снова вернуться на Ал-

тай, в районную больницу, так противился он искушению.

— Что-нибудь надумал? — заподозрив неладное, вторгся в его мысли Игорь Козьмич.

— Игорь! — изумился Ремезов. — Твои аспиранты и компьютеры не смогли додуматься... а ты требуешь, чтобы я за десять минут все решил...

— Это твоя работа, Витя, — пожал плечами Игорь Козьмич. — Иногда от начала дороги ее конец виднее, чем с середины, из леса... Тебе хватит этой информации?

И вдруг Ремезов как очнулся:

— Игорь! Мне нужно собрать новый материал... На месте. Самому. Мне нужно в Лемехово!

Игорь Козьмич опешил:

— При чем тут Лемехово?

В свой черед опешил Ремезов:

— А где же этот твой филиал?

— Ну не в самом же Лемехове, — обиженно проговорил Игорь Козьмич — и задумался.

Несколько мгновений он отсутствующе глядел на экран, и Ремезов по его виду заметил, что однофамилец привык быстро и энергично принимать крупномасштабные решения.

— Хорошо, — ожил Игорь Козьмич и бросил взгляд на часы. — В пять нам подадут машину.

Третья дорога за сутки снова потянула на дремоту. Ремезов отвык от компьютеров и мягких асфальтовых дорог. Не бодрила сейчас даже дорога к Лемехову... Но Ремезов вдруг поймал острый, короткий взгляд Игоря Козьмича — и встрепенулся, заерзal на сиденье. Мимо стремительно неслись родные косогоры, заросшие тонкими золотистыми соснами...

Машина остановилась внезапно.

— Приехали, — сказал Игорь Козьмич и вышел.

Ремезов торопливо выскочил следом; вдохнул северного воздуха — и, успокоившись, улыбнулся.

Вечер был ясным. Высокая лазурь неба сияла холод-

ным сумеречным светом, но тепло еще спускалось с косогора, с сухих до хруста ковров палой хвои, от теплых темных валунов, от стволов, нагретых солнцем и внутренним током живой смолы.

— Узнаешь? — коротко спросил Игорь Козьмич. — Горелая Сечь.

Ремезов оторопел и завертелся весь по сторонам, словно теряя равновесие.

— Где Горелая Сечь? — в растерянности пробормотал он, чувствуя, что заблудился.

— Тут, где стоим, — как-то нервно кивнув, ответил Игорь Козьмич. — Новая дорога. Без тебя строили.

И Ремезов понял, что новое, еще темно-бархатное, четырехрядное шоссе уложили по Горелой Сечи — и эта пластическая операция сделала знакомое место совершенно чужим.

Сюда, за семь километров от дома, они летом бегали ночевать в древних, полуразвалившихся конюшнях. Здесь бывало страшно — скрипело, дрожало без ветра, крыши и ворота, случалось, в тихие лунные ночи ходили ходуном... Теперь конюшен не было, исчез заброшенный еще в пятидесятые годы выстроенный когда-то лагерниками поселок... И Ремезов, спустившись взглядом с небес и косогоров, увидел наконец, что появилось здесь взамен...

Пустынное шоссе впереди было перекрыто заграждениями с внушительным транспарантом «ПРОЕЗД ЗАКРЫТ. ЗАПРЕТНАЯ ЗОНА», а за ограждениями, на дороге, громоздился потерявший смысл бетонный короб автобусной остановки, выкрашенный вместе с помятой железной урной снаружи в оранжевый, а внутри — в фиолетовый цвета. За остановкой лениво маскировались в кустах два зеленых вагончика. У заграждений стоял, разглядывая приехавших, вооруженный солдат.

Ремезов успокаивал себя тем, что, если пойти сюда от Лемехова, легко будет соединить цепь знакомых с детства ориентиров и не потеряться на переустроенной

Горелой Сечи. Но то — от Лемехова, а сейчас Ремезов был привезен из неясного направления — и все здеськазалось незнакомым, неизвестным до острой тоски, до чувства невесомости, пустоты под ногами... А от Лемехова сюда теперь и вовсе не пройти!..

Игорь Козьмич уже успел поговорить с вышедшим к нему навстречу из вагончика молодым лейтенантом и вернуться к машине.

— Поехали, — сказал он. — Здесь рядом.

Солдат уже оттягивал в сторону одну из створок заграждения.

— А пешком нельзя пройтись? — пришла к Ремезову мысль. — Меня уже мутит от этих разъездов.

Игорь Козьмич стоял перед ним в строгом темном костюме, в белоснежной сорочке, в синем галстуке с золотистой заколкой.

— Ближайшая дорога — два километра через лес по просеке, — сказал он, видом не показывая, что относится к этой идее как к пустому мальчишеству. — Поедем, Витя, — добавил он, уже садясь в машину. — Еще нагуляешься.

Через несколько минут езды, за двумя поворотами, лесистые скаты расступились, открывая невеликий простор с лугом и продолговатым озером. Пологий склон, вдоль которого тянулось шоссе, опускался к воде. По другую сторону озера вода терялась в камышах, озеро превращалось дальше в плотное, по-осеннему рыжеватое болото, в котором кое-где торчали одинокие и тощие, серые от корней до жидких крон сосны. Но еще дальше, за этим ржавым полем, земля вдруг приподнималась ступенью, и на ней, вплотную к болоту, стояла стена леса с низкими мощными кронами. От дороги до этого леса было километра полтора.

На этом озере, как раз там, где невысокий бугор выступал в воду голым каменным языком, в далекие времена Ремезов один и Ремезов другой вместе с приятелями из Выстры удили рыбу... Это место было уже

своим, родным — и память уцепилась за этот бугор, прочно стала на нем и внутренним взором сделала круг, присоединив к точке опоры весь видимый простор и наполнив его светлой мозаикой детских впечатлений.

— Тут уж узнаю... — невольно оправдываясь, сказал Ремезов.

Игорь Козьмич кивнул в ответ.

Машина тем временем съехала с шоссе на короткую грунтовую дорогу и остановилась у необычного здания, собранного из легкого рифленого металла, сиявшего на закате холодной алюминиевой белизной.

Только выйдя из машины, Ремезов заметил, что озеро и памятный мыс стали недоступными: вдоль озера, не подпуская к нему метров за сто, тянулась закрученная непреодолимой спиралью колючая проволока. Спираль вытягивалась из леса и упиралась прямо в бок этого металлического здания, похожего на авиационный ангар.

— Там уже «зона»? — со сжавшимся сердцем спросил Ремезов, не в силах подавить глупую надежду на какой-то успокоительный ответ.

— Да, — роковым голосом развеял надежду Игорь Козьмич и, видно, решил окончательно настроить Ремезова на роковой лад, чтобы тот ясно представлял обстановку и к жалобным вопросам больше не возвращался. — Там, на берегу, начинается тот свет... граница жизни и смерти, — и, подождав недоуменного взгляда Ремезова, спросил: — Видишь те шарики?

Он указал на странные шаровидные сооружения, похожие на зрелые, темные грибы-дождевики величиной с железнодорожную цистерну.

— Лазерные установки, — объяснил Игорь Козьмич. — С локаторами, которые засекают любой живой объект размером до гнуса. Через прямую линию между установками не пройдет никто — ни туда, ни обратно. Установки — по всему периметру зоны. Зона — под защитным колпаком высотой в пятьдесят метров. Уста-

новки улавливают инфракрасное излучение, таким же излучением поражают цель.

— Сжигают? — спросил Ремезов.

— Сжигают, — кивнул Игорь Козьмич.

Странная, почти веселая мысль, показавшаяся при том спасительной, пришла в голову Ремезову.

— А если проползет крот? — заулыбавшись, спросил он. — Там он зароется, а тут вылезет...

— Крот, — хмуро усмехнулся Игорь Козьмич и больше ничего не сказал.

Всю ностальгию как-то разом отшибло — и вместо нее образовалось тяжелое и бесцветное чувство. Ремезов видел озеро как сквозь толстое бронированное стекло...

— Что делается... — прошептал он и снова стал беспомощно озираться.

Он увидел, что от ангары в глубь зоны тянется полу-прозрачный коленчатый рукав, похожий на длинную, метров в двести, теплицу для овощей.

— Это выходной отсек, — следя за Ремезовым, пояснил Игорь Козьмич.

— Выходной на тот свет? — уточнил Ремезов.

— Вот-вот, — кивнул Игорь Козьмич. — Пока что на тот...

Из «ангары» появился человек в белом халате, белой шапочке и странной обуви, пластиковых, почти бесформенных бахилах. Весь в веснушках, с рыжими ресницами, он казался гораздо моложе своих лет, хотя и видно было, что ему за сорок. Он поздоровался с радостным, прямо-таки счастливым выражением на лице, и веснушки, конечно, усилили эту радость.

— Доктор Ремезов, Виталий Сергеевич, — представил директор своего однофамильца. — Негласно считайте, что он — главный эксперт по нашей проблеме.

Ремезову показалось, будто он проглотил что-то очень вкусное и весьма сытное... Эх, медные трубы!

— Очень рад! — сиял сотрудник Игоря Козьмича,

пожимая руку. — Я вашу диссертацию почти наизусть знаю... Классика, — добавил он, радуясь еще больше и глядя в сторону, на директора.

— Вот и хорошо, — кивнув, сказал Игорь Козьмич. — Познакомьте Виталия Сергеевича с новым материалом.

Ремезова повели в «ангбар» — и вскоре он, завертевшись в потоке непривычных, почти научно-фантастических, и в то же время знакомых по далекой жизни впечатлений, почти превратился в соннамбулу. Мгновенно переодетый в белое, отдающее неживым духом особо тщательных дезинфекций, он целый час пытался выдержать напор информации, рассеянно отвечал на осторожные, почти подобострастные вопросы.

Потом пришел — тоже весь в белом — Игорь Козьмич и увел его в пустое и тихое помещение с диванами иrepidукциями левитановских пейзажей на стенах.

— Что скажешь? — начальственно, почти грозно спросил он.

— Игорь Козьмич, уволь, у меня уже голова трещит, — бессильно развел руками Ремезов. — Я давно одичал в лесу... а ты меня пытаешь!

— Ладно, не сердись, — заменив свой привычный, но не подходящий к месту тон, мягче и спокойней заговорил Игорь Козьмич. — Сегодня туда идти уже поздно... Отоспишься, поразмыслишь на досуге... А там вместе обсудим.

— Ну вот завтра... — начал Ремезов и, осекшись, пристально посмотрел на директора. — Так ты сам хочешь со мной идти?

Игорь Козьмич дернул плечами и усмехнулся:

— Кому же еще? Мы эту кашу заварили, нам ее и расхлебывать.

— Ну, положим, не мы, — отмахнулся Ремезов. — Не аспиранты каши заваривают...

— Ладно, Витя, — скривил губы Игорь Козьмич. —

Их шефы тоже не академиками на свет родились. Кто раньше был: яйцо или курица?.. Пустой разговор.

Помолчали, сидя в белом.

— Игорь! — собрался с духом Ремезов. — Я тебя не понимаю. Я в лесу десять лет сидел. Десять! Какой я, к свиньям, «эксперт»! Зачем тебе этот камуфляж? Ты же прекрасно понимаешь: три года не поработаешь — и все, полная дисквалификация! Полная! А мой срок — десять лет...

Игорь Козьмич стал улыбаться — и очень по-дружески, очень тепло, выдавая вдруг мальчишеские черты.

Ремезов запнулся и вздохнул, стараясь взять себя в руки.

— Это, стариk, в тебе играет гордыня, — проговорил Игорь Козьмич. — Ты все приглядываешься, сравниваешь, пугаешься.... Все для себя гирьки на весы подбираешь. Может, поэтому ты и на Алтай удрал?

— Может, — честно признался Ремезов.

— Значит, я знаю тебе цену лучше, чем ты сам, — заключил Игорь Козьмич. — Я, по правде говоря, забыл, что ты не слишком сообразителен. Ты, Витя, — тугодум, но гениальный тугодум. У тебя мозги как ледокол. Двигутся медленно, но зато крашат... Ни черта ты не понял, что у нас здесь происходит... Мы же уперлись в стену... Считаешь, что стал дилетантом? Вот и хорошо — как раз дилетант нам и требуется теперь, но хорошо подкованный дилетант... Считай, что приснился мне архангел Гавриил и сказал: «Не будет тебе жизни, раб Божий, пока не вспомнишь друга детства».

Игорь Козьмич проницательно смотрел на Ремезова и вдруг расхохотался, прямо весь взорвался смехом.

— Ты что? — оторопел Ремезов, подумав, что, наверно, похож сейчас на запуганного щенка и тем очень смешон.

— Да, черт! — откликнулся Игорь Козьмич, сдерживая дыхание. — Вспомнил вдруг, как мы с тобой тет-

кину свинью облезжали и в корыто с бельем заехали!
Да-а...

Воспоминание и вправду было веселым, но Ремезова уже с четверть часа держала в тревоге одна мысль.

— Игорь! — наконец сказал он. — Я не вижу никакой опасности... И это почему-то пугает меня больше всего.

Игорь Козьмич сразу изменился, замер, посмотрел на Ремезова хмуро.

— Ясно, — неопределенно сказал он. — Пойдем, я тебя представлю остальным.

Половину «ангар» занимали военные, управлявшие инфракрасным «колпаком». Здесь было как на пограничной станции ПВО. Немного поговорили с полковником, высоким, не по-северному загорелым украинцем.

— А вот вам лейтенант, — сказал он, поставив перед директором совсем молодого офицера. — Он вас и отвезет. С ним и договаривайтесь.

Тут полковника позвал один из дежурных:

— ...Движется объект с северо-востока. Скорость — километров сорок. Похоже, стая крупных птиц.

Полковник наклонился к экрану.

— Да, — весомо кивнул он. — Кто тут летает?.. Гуси, что ли? Эх, добрая охота! Голов двести, не меньше.

Ремезов и Игорь Козьмич переглянулись.

— Жаль птиц-то... — с подспудным укором вздохнул Игорь Козьмич.

Полковник помолчал, следя за движением на экране.

— На малой высоте, дурачье... — сказал он как бы между прочим, соглашаясь, а оглянувшись на Игоря Козьмича, сказал недовольно: — Тут пугал не напасешься...

— Коля! — повысив голос, сказал он в селектор.

— Слушаю, товарищ полковник!

— Там у тебя в восьмом квадрате дичь поднялась. Гуси, видать. Перелет у них... Ну и дурачье, лезут к нам в пекло... Да уж шибко большая стая... Ты не

поленись, подними вертолет, отпугни их куда-нибудь в сторонку... Да гляди винтом-то, винтом не поруби.

Немного погодя Ремезов с Игорем Козьмичом вышли из «кангара». Долгие северные сумерки продолжались. Небо, казалось, стало еще светлее, бесцветнее, но этот свет совсем не доходил до земли. На земле все синело, темнело, сливалось. Только вода в озере была еще светлей неба. Над лесом, в слабой зелени гаснувшего заката, висело тонкое, но плотное и непрозрачное, пепельного цвета облачко. В воздухе сгущался росистый, неподвижный холод.

На фоне сумрачного леса ясно мелькнул какой-то красноватый огонек.

Ремезов заметил это, и у него по спине побежали мурашки:

— Что это было? — спросил он.

— Что? — не понял Игорь Козьмич.

— Да что-то вспыхнуло там, над озером:

Игорь Козьмич, не взглянув, пожал плечами.

— Могла быть птица... — мрачно сказал он.

— Сгорела?

Директор снова пожал плечами.

Утром их разбудил лейтенант. Ремезов проснулся с чувством, что он оказался в подводной лодке или на космическом корабле. Они молча умылись, молча поели, потом им принесли комплекты нижнего шерстяного белья. Потом они очутились в глухом помещении, залитом матово-фиолетовым светом. В нишах Ремезов увидел скафандры, похожие на те, что используют для пожарных работ в особо опасных условиях нефтяных разработок, химических производств — ослепительно белые, с массивными неопределенно-кубическими головами, с квадратными зеркальными экранами для обзора.

«Вот жуть-то!» — подумал Ремезов.

Ему помогли облачиться, и скафандр оказался совсем легким, почти не сковывающим движения.

— Не забывай про микрофон, — услышал он у са-

мого уха. — Говори тихо, а то оглушишь... И дыши спокойно. Там обычный респиратор с особыми фильтрами. Готов?

— Готов, — прошептал Ремезов.

— Шептать тоже не надо, а то напугаешь. Пошли.

Лейтенант... впрочем, Ремезов сразу запутался, кто из них в каком скафандре... кто-то из них — лейтенант или директор — поднял руку и нажал на кнопку в стене. Двери раскрылись, пропуская в узкий тамбур, потом сомкнулись за спиной. Следом растворились двери впереди, пропуская в новый тамбур. Так, миновав три шлюза, они вышли в полупрозрачный рукав. Игорь Козьмич с лейтенантом несли впереди блоки портативной лаборатории.

На выходе из рукава ожидал приземистый армейский вездеход. Здесь Ремезов немного замешкался, озираясь по сторонам.

Теперь он стоял по другую сторону незримой и беспощадной границы — в «зоне», под «колпаком». Ремезов взглянул на озеро и вообразил себе мальчишек, сидящих с удочками на каменном мысу... Он представил себе, как вытаращились бы мальчишки на пришельцев в сверкающих и страшных своей медвежьей массивностью скафандрах.

«Ну вот, русские вернулись с Марса», — грустно подумал он.

5. РУССКИЕ МАРСИАНЕ

— Тебя опять потянуло на пешую прогулку? — сказал Игорь Козьмич в ухо, а показалось, что он, стоя за спиной, дохнул в затылок. — Поехали, турист...

Ремезову помогли забраться в вездеход. Проглотив «марсиана», железное создание вздрогнуло и сорвалось с места.

Пока первые минуты тряслись по бездорожью, Ремезову навязчиво казалось, что его вот-вот должно ис-

пепелить, ударить молнией — и он невольно даже пригibal голову. Потом вдруг выскочили на узкую, аккуратно заасфальтированную дорогу — и у Ремезова сразу отлегло от сердца.

— Эта ветка шоссе ведет прямо к филиалу, — пояснил Игорь Козьмич. — Мы построили ее три года назад.

Выехали на открытое пространство: вновь — к озеру в каменной оправе, и остановились у здания, похожего на столичный универсам. Это место тоже было знакомо и тоже беспощадно переустроено.

— Мы задумали тут международный исследовательский центр.

— На берегу пустынных волн, — угрюмо съязвил Ремезов. — По соседству с Лемеховом... Чудеса!

Игорь Козьмич повернулся к нему зеркальным экраном.

— Вот именно, — погодя сказал он без обиды. — Все шло как по маслу. Французы и японцы помогали. Для них тут — экзотика. Короче, обоюдная выгода, как говорят... По ту сторону, обойдем — увидишь, коттеджи, сауна, бар. Даже свой кегельбан есть... Пошли.

Лаборатории филиала ИКЛОН тоже напоминали Ремезову космический корабль. Работать на такой аппаратуре когда-то можно было только во сне, насмотревшись после ужина ярких выставочных проспектов.

— Богато живете, — признал Ремезов.

— Тебя не хватает, — ответил Игорь Козьмич. — Докторскую сделаешь за год.

— Сегодня и начну, — усмехнулся Ремезов.

Часа четыре они работали молча... Ремезов задал только три вопроса, обращаясь к отражению своего безликого шлема на шлеме Игоря Козьмича. Один раз он спросил о дезинфекции вивария, другой раз ему понадобились свежие членистоногие, и Игорь Козьмич выходил за уловителем. Наконец, в третий, связывая логическую цепь размышлений, Ремезов подумал о штаммах

вирусов, развивающихся в нейронах млекопитающих, и задал вопрос о симптоматике заболевания.

— Практически без симптомов, — ответил Игорь Козьмич. — «Оранжерейные» гибриды, формы очень неустойчивые.

— Подожди... — вдруг вспомнил Ремезов. — Была такая неожиданная работа Теффлера и Изуцу. Они отмечали при заражении крыс мгновенное угасание условных рефлексов после первой же отмены подкрепления пищей...

— Я помню, — без особого интереса ответил Игорь Козьмич. — Всего одна статья. Подтверждений не было.

В «зоне» Ремезов не пришел к новым выводам.

— По-моему, ты все же перестраховался, — сказал он Игорю Козьмичу. — Странно... Ты не похож на перестраховщика.

— Да? — рассеянно откликнулся Игорь Козьмич. — Сам голову ломаю, какой дьявол дернул такую панику поднимать. У меня весь Ученый Совет ахнул... Лемехово тут, правда, под боком. Но там и котек-то почти не осталось...

— На большее я не способен, — подвел итог Ремезов. — Можно отправлять меня обратно на Алтай.

Сидевший рядом «марсианин» грузно поднялся.

— Пойдем, — позвал он, — покажу тебе наш академгородок.

На краю высокого соснового бора стояли коттеджи, своим видом сразу предупреждавшие о международном значении выстроенного в глубинке филиала ИКЛОН АН СССР. Дальше, за коттеджами среди деревьев, виднелись еще более степенные дома, дачи генеральского, академического, артистического пошиба.

— А там что? — обратил на них внимание Ремезов.

— Там наши дачи, — ответил Игорь Козьмич. — В частности, моя и моего предшественника.

У Ремезова открылись глаза.

— И давно у тебя здесь дача? — спросил он.

- Семь лет.
- А у твоего предшественника?
- Пять... или четыре.

Так вот каким ветром занесло этот международный центр в лес, к Лемехово! Ремезов знал академиков, которые добивались строительства институтов и научных центров поблизости от своих дач, и порой с сокрушительными экологическими последствиями в местном масштабе. Да что там институты! Целые отрасли науки, получавшие модные, гибридные наименования — что-нибудь вроде «метафизической химии» или «химической метафизики» — создавались, утверждались в руководительство новоиспеченному корифею или сыну корифея, испеченного и вышедшего в тираж несколько раньше.

— Ясно, — сказал Ремезов и, забыв разъяснить вслух ход своих мыслей, назвал своего однокашника «метафизиком». — Международный центр, говоришь? Новые Васюки... Ты, Игорь, метафизик.

— Отнюдь, — отказался Игорь Козьмич. — Я как раз — вульгарный материалист. Все должно быть удобно, под руками... Пошли, покажу свои пенаты.

Когда «марсиане» добрались до соснового бора, Игорь Козьмич, стукаясь шлемом об доски и чертыхаясь, долго нашупывал запасной ключ, повешенный на гвоздь под лесенкой.

На просторной террасе стояла светлая деревянная мебель, элегантно стилизованная под крестьянский быт: обеденный стол и скамейки. На стене висела весьма высокого качества — видимо, импортная — репродукция картины Босха: членистоголовые уродцы, круглые, рогатые горы над лугами и лесами... Небольшая, чистенькая кухонька пестрела рядами чайных коробок и баночек кофе. Игорь Козьмич раскрыл дверь холодильника.

— Только завез датского пива и сервелата... Все пропадает, — с досадой проговорил он и вдруг зло добавил: — Ну и черт с ним!

Гостиная была в современном стиле: массивный юго-славский гарнитур, стенка с книгами и баром, японский «комбайн» с колонками и прозрачным шкафчиком для пластинок. На стенах несколько российских пейзажей с угольными церковками, а над «комбайном» небольшой холст с уголком Венеции.

— Неплохо устроился, — оценил Ремезов. — Небось международные симпозиумы на дому собираешь?

— Секцию собирал как-то, — вполне непринужденно, без зазнайства признал Игорь Козьмич. — Кстати, Хаген приезжал... Ему ведь в прошлом году Нобелевскую дали.

Игорь Козьмич рассказывал без тени хвастовства. Он быстро освоился в новой жизни, не выглядел в ней нуворищем... и говорил с открытой, доверительной непосредственностью, показывал свои палаты с достоинством невыродившегося, не поиздергавшегося разумом отпрыска боярского рода.

— Хаген... Нобелевская... Прямо еси на небеси, — отвечал ему Ремезов.

— А я, веришь ли, временами тебе сильно завидую, — с мечтательным вздохом сказал Игорь Козьмич. — Думаю иногда, а не бросить ли все к чертям, не махнуть ли... к тебе на Алтай. Тихо, горы, к Шамбале поближе... Организовать там эпидемиологическую службу по последнему слову. В Китай, в Монголию удочки заскинуть... Оборудовать все... Тебя — главврачом, а? Крепкое дело, и результат всегда виден: люди на улице здороваются. Меня всегда к земской медицине тянуло, да все как-то за ближайший кусок хватался.

— Зато город заложил, — заметил Ремезов. — И отсель грозишь шведу.

Презрение к «дачному академику» улетучилось: что-то вдруг жалкое появилось в этой неуклюже сгорбившейся снежной бабе. И хотя он говорил без злорадства, Игоря Козьмича задело. Он помолчал и сказал:

— А наверху у меня рабочий кабинет. Потом как-

нибудь покажу. Там лестница крутая, покатимся сверху, как ведра.

Когда заперли дверь и спустились на тропинку, Ремезов подождал, пока Игорь Козьмич определенно направился к институту, и сказал:

— Ты мне, Игорь, главного не показал.

— Чего? — Остановившись, скафандр неловко повернулся.

— Лемехово... Ты думаешь, зачем я сюда напрописался?

Скафандр, сверкая на солнце, как арктический тарос, стоял в зеленой траве неподвижно. Ремезов, отражаясь в зеркальном окошке шлема двойником тороса, терпеливо ждал ответа.

Наконец скафандр пошевелился.

— Больше двух километров... — послышался голос Игоря Козьмича, и по этому предупреждению Ремезов понял, что однофамилец принял вызов. — Не упаримся?

— Я потерплю, — отозвался Ремезов.

В наушниках что-то щелкнуло, и голос Игоря Козьмича позвал:

— Станислав, слышишь нас?

— Слышу, Игорь Козьмич, — отклинулся лейтенант.

— Часа через два захвати нас из Лемехова.

— Так я подброшу, Игорь Козьмич! — удивился лейтенант. — Далеко же.

— Не надо, Станислав, спасибо. У нас по дороге дела. Жду тебя к половине пятого.

И после нового щелчка раздалось:

— Проголодаемся, Витя...

— Да я один могу сходить, — сказал Ремезов, но тут же пожалел о сказанном.

— По одному тут не ходят. — Игорь Козьмич догадался, что на этот раз его не намеревались задеть.

Они обогнули озеро и поднялись в заозерный лес, уже другой, полный не сосен, а дремучих елей с низко отвисшими толстыми ветвями в лохматых рукавах се-

рых лишайников. Ветви опускались в густую рябь высоких папоротников.

Почти всю дорогу шли молча. Игорь Козьмич держался немного в стороне, чутко понимая, что Ремезову хочется побывать в одиночестве.

Здесь, на этой просеке, Ремезов узнавал уже каждую кочку, каждый валун, каждую ложбину, узнавал и радовался, что может наконец оправдаться памятью перед родными местами.

Внезапно он испуганно замер, увидев впереди прислоненный к дереву совсем новый, ярко-оранжевый детский велосипед. В первый миг пришла мысль: мальчишка, собирая поблизости грибы, до смерти напугался топавших по дороге страшил и притаился на пузе в папоротниках.

Ремезов вопросительно повернулся к Игорю Козьмичу.

— Видел уже, — ответил он. — Не пропадет. Потом вернем хозяину.

И вот на высоте пологой горы лес распахнулся сразу настежь — и внизу всталася вся целиком родная картина. Темные, грузные, с высокими слепыми окнами избы Лемехова, Само-озера, сбившиеся у мостков, как осенние листья, лодки, провалившиеся в прибрежный бурьян бани... на том берегу, усеянном голыми и белесыми, как кости, бревнами, — такие же дома Выстры, из которых — то видно было издалека — только два или три были покинуты недавно, а остальные уже не одну зиму стояли остывшие.

Ремезов глянул на левый угол Лемехова, за Бочарную Слободку: валуны виднелись, а раздвоенная береза с канатом на толстом черном суке сгинула...

Ремезов с трудом перевел дыхание, даже успев испугаться, что в скафандре кончается кислород... Потом вспомнил, что дышит воздухом снаружи. Он поискал вокруг себя, куда бы присесть, и, заметив у дороги упав-

шую старую ель, осторожно присёл повыше, у выворотившихся из земли, спутанных крючьями корней.

Он смотрел на Лемехово, и снова вместо грустных и светлых воспоминаний представлялось ему, как снизу увидели бы их на горке, двух появившихся из лесу «марсиан»: как охнули бы женщины, обронив с мостков в воду белье, как вытянулись бы в окна, приложив к бровям руки, старики, как заметались бы с ошелелым лаем собаки, как пустились бы наутек к домам, к материям ребята и девчонки визжали бы, волоча ревущих малышей и не поспевая за братьями, уже пропавшими во дворе...

Но деревни стояли в безмолвном оцепенении, не пугаясь ничего и не радуясь ничему, с мертвым безразличием принимая любое нашествие.

И тогда Ремезов подумал, что они вроде космонавтов, вернувшихся спустя тысячелетия, когда на Земле уже не осталось никого.

— Пойдем налево, — предложил Игорь Козьмич. — Через кладбище.

Ремезов весь встрепенулся — даже кровь ударила в голову: все, что видел, вспомнил до жердочки, до кустика, а кладбище, скрытое молодым лесным подростом, забыл.

Они перешли через ручей, перевалили через вспаханный бугор, и заросшая горцем тропка привела их в кладбищенскую рощицу.

Ремезов не был на дедовских могилах больше десяти лет. Не был — как забыл. Теперь было стыдно и виниться, говорить про себя или шептать всякие покаянные слова... Лучше уж просто постоять так — может, простят. Сам себя не простишь, хотя и терзаться постоянно от такой вины не станешь...

Однофамильцы, ученые Ремезовы, были первым чисто городским поколением в двух родах. Их отцы до армии росли в Лемехове, а потом канули в городах, так что сыновья отцов были связаны с деревней только их рас-

сказами и еще — летними каникулами. Но и летних месяцев хватило, чтобы душа пустила в Лемехове тонкие, нежные корешки.

Виталий Ремезов был поздним ребенком, свою бабку он совсем не застал, а деда последний раз видел — с рубанком и желтыми стружками в бороде, — собираясь в первый класс. Родители Ремезова прожили меньше деревенского поколения, за их городскими могилами ухаживала старшая сестра Ремезова, и сам он помогал ей недавно, прошлой осенью...

Могилы деревенских Ремезовых были ухожены, оградки заново покрашены, палая хвоя выметена. У крестов виднелись осколочки пасхальных скорлупок...

Над кладбищем стоял теплый золотистый свет сосновых стволов.

— Я покрасил весной и у твоих, и у своих, — раздался голос Игоря Козьмича. — А убирает здесь соседка, Марья Андреевна... Ты помнишь соседку-то? Все моего отца ругала за то, что у нас баня в озеро съехала... Вспомнил? Ей уже за восемьдесят. Но бойкая, спуску не дает. Под пасху за мной прямо в институт притопала... я здесь был. Когда, говорит, ограду поправишь, ирод?..

Игорь Козьмич распахнул калитку у своих старииков, осторожно вошел, боясь пропороть скафандр об углы оградки, и, медленно наклонившись, выбросил наружу упавшую сверху на холмик сухую ветку.

— Ну... пойдем? — предложил он. — Как раз успеем по деревне пройтись — и лейтенант на своем танке примчится.

Ремезов хотел было попросить подождать еще немного, но молча повиновался: сколько ни стой теперь, все равно не настоишься — не оправдаешься, не возместишь так десятилетнее, а, в сущности, тридцатилетнее, колившееся со школьного возраста беспамятство.

От кладбища пошли по дороге к деревне. Ремезов все невольно ожидал, опасался, что кто-нибудь выскочит



на улицу из домов, выглядывает в окно или хоть трактор догонает или поедет навстречу — и ему тогда будет очень стыдно посмотреть человеку, конечно же, знакомому, в глаза.

Но не появлялся никто. Некому было провожать их взглядом.

— Твой дом еще ничего стоит, — сообщил Игорь Козьмич. — Мы его немножко подремонтировали. Жить летом можно. А старый шифоньер, ты уж не ругай, я старухе Глазычевой отдал. Она давно на него заглядывалась. Говорит, еще в войну у твоей бабки за телка выпрашивала. Братя теперь не хотела, но я уж соврал, что твоя сестра велела отдать. Ты как-нибудь ей сообщи, чтоб конфузя не вышло... Слушай, я бы тоже теперь посидел... Что-то утомился в этих латах.

И «марсиане» присели в тени, на скамейке у дома старухи Глазычевой, и посидели, вспоминая давнишние затеи, а Игорь Козьмич иногда даже непроизвольно оглядывался на крепкую, крашенную в зеленый цвет ко-нуру, откуда его последние годы не по-доброму встречал взбалмошный старухин пес.

— Ну, тронулись дальше? — Игорь Козьмич грузно поднялся. — Пошли ко мне. Баню покажу новую.

Они стали обходить дом предков Игоря Козьмича — и замерли, как громом пораженные... На соседнем огороде медленно копала картошку пожилая женщина в телогрейке, подпоясанной передником, в резиновых сапогах, в темном шерстянном платке, замотанном, как в холод и ветер, вокруг головы.

— Мать честная! — воскликнул, приходя в себя, Игорь Козьмич. — Да это же тетка Алевтина! Как же пролезла?! От нее кучка золы должна была остаться... еще за три километра отсюда... Ох ты, мать честная!

Тетка Алевтина, не оглядываясь, подвинула поближе к ногам почти уже полное ведро.

Ремезова вдруг потянуло прыснуть со смеху, но он успел сдержаться.

— Алевтина Павловна! — крикнул Игорь Козьмич, оглушив Ремезова, он, растерявшись, уже не соображал, что кричит в скафандр, а снаружи его не слышно.

6. «СВЯТ, СВЯТ...»

Тетка Алевтина с трудом, в два приема, разогнула натуженную и, видно, больную поясницу и, одернув платок у висков, невзначай оглянулась...

Она медленно повернулась к пришельцам, точно не сама, а кто-то взял ее за плечи и повернул. Лопата, постояв чуть-чуть, повалилась на грядки. Руки у тетки Алевтины бессильно опустились и повисли, и сама она как будто стала слабеть и оседать... В глазах ее был не испуг, а покорная обреченность... так, наверно, смотрит женщина, уже смирившаяся с мыслью, что ее вот-вот убьют.

Ремезову показалось, что она шепчет «свят, свят», а в руке уже нет воли перекреститься.

И в этот миг Ремезову вдруг сделалось невыносимо тошно, он стал задыхаться, чувствуя, что больше ни минуты не сможет прожить такой поганой жизнью.

Он стал судорожно нащупывать какие-то выступы, петельки, застежки под шлемом — и вдруг ему удалось что-то потянуть или отогнуть и резко, со злостью, откинуть шлем назад, на лопатки.

— Алевтина Павловна! — вскрикнул он, захлебываясь живым, не пропущенным через фильтры воздухом. — Это же я — Витька! Не пугайтесь! Это же я!

У тетки Алевтины поднялись руки, она улыбнулась растерявшись, снова обмерла, снова улыбнулась — и уже зарадовалась, стала отходить от испуга, торопливыми движениями распустила на голове платок. Ее, видно, бросило в жар.

— Ой, батюшки мои! — паконец в голосахахнула она. — Ой, Витька! Страсть-то какая... Да откуда ж ты?..

Ой, Витья-то... Вернулся наконец. А я-то ж со страсти такой и не признала сразу.

Ремезов стоял, покачиваясь, дышал глубоко, у него темнело в глазах. Из-за спины, из шлема, доносились отчаянные возгласы Игоря Козьмича, но слова только клокотали, булькали в шлеме, как в закрытой кастрюле, и Ремезов еще больше радовался от того, что их нельзя разобрать.

— Ой, Витя-то, вернулся... А я уж думала, живой меня не застанешь, — причитала старенькая уже тетка Алевтина. — Да подойти-то к тебе хоть можно?

— Ой, тетя Алевтина, подойдите, конечно... живой я... Да я сам подойду. — У Ремезова ком подкатывался к горлу, голос срывался, и мутнело, дрожало все в глазах.

Тетка Алевтина, вытирая руки о передник, двинулась навстречу, неуклюже перешагивая через грядки. Она хотела было обнять Ремезова, да испугалась испачкать белоснежный скафандр.

— Витя... вон какой вернулся ты, космонавт...

— Да уж не дай бог кому так вернуться, — пробормотал, себя не слыша, Ремезов.

Они встретились и как-то сумели, невзирая на скафандр, поцеловаться.

— Такой же, — радовалась тетка Алевтина. — Не изменился никак. Мальчишкой остался... Семья-то хоть есть?

— Эх, Алевтина Павловна, — отмахнулся Ремезов. — Бестолково живу. Нечем хвастаться.

— На могилки-то ходил?

— Ходил, ходил, — торопливо кивнул Ремезов.

— Вот это хорошо. Не забывай старииков, как приезжаешь... К ним наперво иди.

— Сами-то как здесь? Не болеете?

— Да что болезни, — вздохнула тетка Алевтина. — Старость одна — вот всем болезням и лекарство,

ч оправдание... А у нас-то вон видиши... явление какое...

Тут Ремезов спохватился.

— Алевтина Павловна, так ведь сюда ходить нельзя!.. — Он оглянулся на другого «космонавта» и, решив, что весь испуг у тетки Алевтины не вышел, добавил: — А этот тоже наш. Игорь Ремезов.

Гетка Алевтина скользнула рассеянным взглядом по неподвижно стоявшему в сторонке скафандре, как по малозначимой неодушевленной вещи, и снова с любовью и радостью в глазах стала разглядывать Ремезова.

— Я-то знаю, что нельзя, — с виноватой улыбкой проговорила она. — Ты уж не сердись на бабку. Глупая она, картоху ей жаль. Вот думала все: комар этот чумной не станет же картошку в земле кусать, заражать, а я как-нибудь закутаюсь да побегу, он и не догонит... а и догонит — отмахнусь, силы еще найдутся — от комара-то... Девками-то вон в каких платьицах сидели — и ни почем, веток наломаем, разгоним... Да и колеет пынче комар, стынь-то какая теперь по ночам...

Позади послышалось какое-то движение, и Ремезов, оглянувшись, ошеломленно заморгал: Игорь Козьмич тоже откинул шлем и стоял красный, потный, взлохмаченный, похожий вдруг на мальчишку.

— Ой, батюшки мои! — всплеснула руками тетка Алевтина. — И Игорька тут... Ну, все Ремезовы сошлись — праздник. Макарыча одного пригласить забыли. Ох и ругаться начнет... не догадались ко встречи чекушечку взять...

Веселье тетки Алевтины было, однако, немного болезненным, с дрожью, немного истерическим.

— Ну, задали вы нам делов, Алевтина Павловна, — удалось Игорю Козьмичу выговорить строго, начальственно.

— Козьмич, Козьмич, не серчай больно... Ну, штрафуй хоть, ежли порядок у тебя такой, — не перестав улыбаться, завздыхала тетка Алевтина. — Не утерпела. Жалко огород-то...

— Я обещал вам: зимой вернетесь... Ну, потерпите хоть раз. Сходите в магазин. Выбью я вам грузовик картошки, прямо к дому подвезут...

Тетка Алевтина опустила глаза и подняла их уже на Ремезова, ожидая от него участия и поддержки.

— Одно ведро-то хоть можно забрать? — уже тихо, не надеясь на позволение, спросила она Ремезова.

— Ведро, мать честная! — мотнув головой, пробубнил Игорь Козьмич.

Ремезов вдруг весь ослаб — и вяло развел руками:

— Не я тут командую, тетя Алевтина.

— Ну, бог с ним... — тихо смирившись, проговорила тетка Алевтина в сторону.

От леса донесся гул, и Ремезов увидел, что к озеру с горки мчится, подпрыгивая, вездеход.

— Вызвал? — спросил Ремезов.

Игорь Козьмич кивнул.

У озера вездеход, взревев еще громче, круто повернулся, расшвырял клочья дерна, помчался вдоль берега, пропал за бугром — и уже через пару минут услышали, как он ворвался на улицу.

Уже в вездеходе Игорь Козьмич спохватился и накинулся на тетку Алевтину с вопросом:

— Как же вы пробрались сюда?

— А по Синькову болоту, — боязливо улыбаясь, качаясь от езды, отвечала тетка Алевтина.

— Там тоже щиты на каждом шагу: не ходить — убьет... Вы же там сгореть должны были... Вот бы у нас история началась...

— Так я уж там приглядилась, Козьмич. Мне Макарыч разобъяснял: главное — суметь ленточку перешагнуть...

— Какую еще ленточку? — опешил Игорь Козьмич.

— Да вроде как порожек... Я такое место разыскала, где две сухостойные лесины лежат вроде колеи — как раз через нее, через ленточку ту. Я и догадалась: животом-то, как ящерка, легла и проползла.

Игорь Козьмич рот раскрыл, потом страшными глазами посмотрел на Ремезова.

— Да-а... — переводя дух, сказал он и, подтянув через плечо шлем, крикнул в него. — Станислав! Слышишь? Между двух упавших деревьев проползла... Как? А вот так! Возьми сам да попробуй... Пограничники, мать честная!

Неделю троих Ремезовых держали на карантине в «авиационном ангаре», каждого в отдельном боксе без окон.

К ним приходили «марсиане», брали анализы, потом всех выпустили. Игорь Козьмич встречал Ремезова на пороге «ангара» уже в новом костюме.

— Жив-здоров, камикадзе? — улыбался он, пожимая руку.

— Жив как будто, — отвечал Ремезов.

— Переживем еще одну комиссию, подстрахуемся еще десятком подписей — и все... Пора откупоривать наше Лемехово... Вернемся в город — поедем ко мне. Я жену с пацанами на югá, в Адлер отправил... Нечего им пока тут околачиваться... Поехали, хоть посидим по-человечески.

Квартира директора мало чем отличалась от дачи, разве что камина не было, зато на кухне, почему-то именно на кухне, висела такая же выполненная под холст, роскошная репродукция Босха.

Игорь Козьмич усадил Ремезова под торшер в глубокое кресло, сдвинул на журнальном столике какие-то зарубежные каталоги и достал из бара бутылку коньяка и две рюмки.

— Так... выпьем наконец за встречу, — предложил он. — Или ты соблюдаешь... там, в своей пустыни?

Заметно было, что Игорь Козьмич отказа не ждет, но смотрит остро, испытующе.

Ремезов усмехнулся и кивнул на рюмку. Игорь Козьмич разлил. Ремезов поднял рюмку и, невольно защищаясь иронической улыбкой, посмотрел на однофамильца:

— По-моему, ты все же принимаешь меня за кого-то другого.

Игорь Козьмич ответил улыбкой дружеской, напоминающей о том, что многим от самого начала жизни связаны они оба.

— А ты — меня, — сказал он. — Так за встречу?.. И за то, чтобы у нас...

Он замер вдруг, сдвинув брови, пытаясь что-то вспомнить.

— Ну, где же это? — вдруг спросил он. — Где мы с тобой были?

— Где? — удивился Ремезов. — На карантине сидели...

— Не то... — весь напрягся Игорь Козьмич. — Ну, деревня...

— Лемехово? — совсем оторопел Ремезов.

— Вот! — просиял Игорь Козьмич и покачал головой. — Да, Витя... Не спеши в начальники... Ранний склероз, как видишь... Так за встречу и чтобы у нас... черт, опять! — Он едва не расплескал рюмку.

— Лемехово, — с испугом, торопливо подсказал Ремезов.

Игорь Козьмич виновато улыбнулся и пожал плечами:

— Лемехово... Вот чтобы там... кошки не дохли... в этом... — Он выпил и тут же резко налил еще. — А тетка Алевтина-то нас за нечистую силу поначалу приняла... Так там... давай еще одну... за то, чтоб до склероза и маразма не дожить...

Затрезвонил часто, без передышки, телефон. Игорь Козьмич одним глотком выпил и вскочил:

— Межгород, — сказал он, уже выходя из комнаты. — Это мои!

По жилам растеклось тепло, и Ремезов без мыслей погрузился в себя... Он не прислушивался к разговору в коридоре, однако скоро заметил, что голос Игоря Козьмича отрывист и напряжен. Потом стукнула трубка,

стало тихо — и Ремезов насторожился; Игорь Козьмич не вошел и пропал без звука.

Так прошла минута-другая. Наконец Ремезов заставил себя подняться и выглянул в коридор.

Игорь Козьмич стоял, отрешенно глядя в зеркало, бледный, точно пришибленный внезапным известием.

— Что случилось? — ощущив укол испуга, тихо спросил Ремезов.

7. БЕЗ СИМПТОМОВ. ЧАСТЬ I

Крупные капли пота блеснули на лбу Игоря Козьмича.

Ремезов так и застыл в дверях с открытым ртом.

— Пусти-ка меня, — буркнул Игорь Козьмич и, впихнув Ремезова в комнату, стал лихорадочно рыться в секрете.

Он шарил в бумагах, в папках, в коробках, распихивая их, разрушая канцелярский порядок.

— Да где же... где? — дергался он, рассыпав по полу листы, опрокинув коробку со скрепками. — Вот черт...

Он замер, резко выпрямившись, уперся глазами в стену и вдруг снова кинулся на Ремезова.

— Пусти-ка.

Ремезов едва успел посторониться.

Игорь Козьмич, выскочив в коридор, рывком распахнул шкаф и начал судорожный обыск плащей и курток. Он выворачивал карманы, потрошил лежавшие на полке, под одеждой, сумки.

Наконец он наткнулся в кармане голубого женского плаща на корочку пропуска.

— Прячет, мать честная! — злобно бросил он. — Сама не найдет...

Он раскрыл пропуск у самых глаз и сразу весь размяк, опустил плечи и глубоко вздохнул.

— Света... Ремезова Светлана Борисовна... Светка-Светик... — механически проговорил он.

Он постоял неподвижно перед шкафом, потом, словно задумавшись о чем-то, машинально сунул пропуск обратно. Он отрешенно посмотрел на Ремезова и вдруг спохватился, снова резким жестом выдернул пропуск из плаща и раскрыл его перед глазами.

— Вот так... Все правильно, — растягивая слова, произнес он и спрятал пропуск у себя в пиджаке.

Там же, в нагрудном кармане, он наткнулся на записную книжку. Вынув ее с изумлением, словно случайно найденный забытый предмет, он принялся напряженно листать ее, щуриться, шевелить губами, вчитываясь в мелкие записи.

Остановившись на одной из страниц, он не глядя потянулся к телефону, поднял трубку — и застыл. Потом рука его с трубкой медленно, словно сама собой расслабляясь, опустилась, и Игорь Козьмич снова беззвучно шевельнул губами, вспоминая какое-то слово или имя...

И снова Ремезов, замешкавшись в двери, стукнулся локтем о косяк.

Но только оказавшись в комнате, Игорь Козьмич сразу повернулся и выпалил:

— Поехали!

— Куда?

Но уже пахнуло нежилым, бетонным запахом лестничной клетки.

Внизу, у подъезда, стояла машина, опять черная «Волга». Ремезов подумал вдруг, что ее подали минуту назад, и опешил, увидев, что место водителя пусто. Но за руль сел Игорь Козьмич — и Ремезов догадался, что машина его, частная...

Во дворе дома бился холодный резкий ветер. Низко над домами на выпуклом книзу небе неслись плоские облака — слепящие-белые с краев и синие снизу.

— Куда мы? — спросил снова Ремезов.

— Подожди, — нервно бросил Игорь Козьмич. — Дорогу забуду.

«Он как в бреду, — подумал Ремезов. — Разобъемся...» Но сел в машину и, сразу согревшись, стал молча наблюдать: таким он Игоря Козьмича еще не видел.

Машина, освободившись из лабиринта улиц, понеслась по шоссе.

«Он забыл, как зовут жену, — вдруг дошло до Ремезова, и он весь похолодел и затаил дыхание, упервшись взглядом в дорогу. — Вот так штука!»

И мысли появились и пролетали, как встречные огни.

«Теффлер и Изуцу! Мгновенное угасание условных рефлексов!.. Нет! Не может быть... По всем реакциям — ноль. Сразу все анализы врать не могут... У них же здесь мировой уровень... Нет такого симптома, чтобы имена забывать... Чушь... А если Игорь заражен, как же я...»

Ремезов судорожно сглотнул и бесцельно огляделся... Ветер посвистывал в щелях окон.

«Что я помню?! Погоди, погоди... не паникуй...»

С трудом отгоняя лезущую, липнущую к мыслям толпу уродцев с репродукции Босха, Ремезов перебрал в уме родные имена и названия.

«Так... своих помню всех... Всех, да?»

Ремезов спохватился: оставил записную книжку в чехолдане.

«Как проверить?.. К сестре бы съездить, а здесь что...»

Черный снаряд летел по шоссе.

Ремезов тряхнул головой, сообразив, что мучает мозги абсурдом.

Машина остановилась внезапно — на пустой дороге посреди леса.

— Все, дальше не помню, — сказал Игорь Козьмич каким-то разбитым, глухим голосом. — А ты помнишь?

— Что? — спросил Ремезов, заметив, что ему все равно, куда его завезли.

— Дорогу в деревню.

Игорь Козьмич включил дальний свет и долго вглядывался вперед.

Лес впереди нависал над дорогой и вдали свертался вместе с ней в черную воронку.

— Темно, — признался Ремезов. — Может, и помню... Но сейчас темно.

— Темно, — согласился Игорь Козьмич и повернулся к Ремезову. — А что еще помнишь? Как тетка Алевтина картошку копала, помнишь?

Ремезову стало зябко.

— Помню, — признался он.

— У тебя остались фотографии?

— Какие? — снова изумился Ремезов и вдруг догадался. — У сестры есть два альбома... Ага! Там и мы с тобой... в трусах... На той березе с веревкой. Помнишь?

— Березу? — с дрожью в голосе сказал Игорь Козьмич и снова перевел взгляд на дорогу. — Не помню...

— Как же ты березу не помнишь? — даже рассердился Ремезов. — Вместе же качались.

— Не помню... Как утром бреюсь, помню.

«Бред, — подумал Ремезов. — Или разыгрывает?.. А почему он обязательно должен помнить березу? Я тоже не все помню. Психоз... Нет. Чтобы у Игоря психоз... Чушь... Но березу не помнить!.. Что с ним такое?.. Сорвался... Дональдствовался... А с виду вроде крепок». И, глянув на Игоря Козьмича, Ремезов еще раз прикинул, не пора ли увозить его в казенный дом. «А с виду крепок», — снова подумал он, вспомнив Игоря Козьмича в директорском кресле, но тут же недоумение рассеялось давним, детским воспоминанием... И в ссорах с заозерскими однофамилец частенько вспыхивал первым, взлетал, кидался молотить воздух руками, пихаться, как бычок, головой, а уже через минуту одному Ремезову оставалось держаться на ногах и, стискивая челюсти, отбиваться от наседавших числом заозерцев.

Ремезов представил, как санитары ведут размякше-

го Игоря Козьмича, — и ему стало стыдно, очень стыдно. Все это показалось ему позором и предательством. «Зря он пил», — подумал Ремезов и спросил однофамильца о самочувствии. Игорь Козьмич пожаловался на провалы в памяти, на «черноту в голове».

— ...Как будто кто-то по потолку ходит, — сказал он.

— Ты устал. Сорвался. Надо успокоить нервы, — докторским тоном сказал Ремезов.

Игорь Козьмич помолчал в тишине и вдруг проговорил холодно, совершенно бесчувственно:

— Ты ничего не понял, главный эксперт...

— Чепуха, — уверенно ответил Ремезов. — Все анализы одновременно врать не могут. И потом таких симптомов не бывает.

— Ты ничего не понял, — снова проговорил Игорь Козьмич механическим голосом. — Вируса нет в организме. Организм для него — только мембрана, через которую надо проникнуть в память...

— Ну, это уже мистика, — пожал плечами Ремезов.

— У памяти нет иммунитета, — словно не слыша его, вещал, как медиум, однофамилец. — Память — среда, в которой он размножается... Ты можешь представить себе рак памяти?

— Но это же... — пробормотал Ремезов, теряясь. — Память ведь тоже — в клетках мозга. Не может же она быть где-то не в голове...

Игорь Козьмич шевельнулся и медленно вздохнул:

— Это старая история, — равнодушно сказал он. — Еще никто не находил на вскрытии ни памяти... ни совести... А тебя, — он обернулся к Ремезову, посмотрел на него невидящие, — тебя надо беречь. Тебя — в заповедник. Я не ошибся... Праведников зараза не берет...

Ремезов этим бормотанием, этим наговором сам был наполовину загипнотизирован и, только услышав про «праведника», встрепенулся, разогнал пелену.

— Ты ошибся, Игорь Козьмич, — громко сказал он, невольно надеясь, что ему наконец удастся развеять

наваждение, встряхнуть однофамильца. «Вообще не надо было ему пить», — снова подумал он. — Я, с твоего позволения, не «праведник». Это у тебя — студенческий рефлекс на слово «Алтай». У тебя на Алтае и Тибете все — махатмы. А мне что Алтай, что Бологое — все равно. Главное — от тебя удрать. Да, я терпеть не мог Гурмина и не стал бы на него пахать... Да, я не смог работать, как на урановом руднике. Ведь он приказывал... Если б он по-человечески попросил... кто знает, может, и согласился бы. Не там, так здесь... Все равно в жизни без нашего советского риска не обойдешься... Короче, Игорь, в тьму таракань я подался со злости и зависти. Сам себя утверждал — глядите, какой я хороший. Вот так, Игорь, если дело дошло до исповедей. Ты был прав: мне бы... в мою келью под елью да хорошую бы аппаратуру. Искусить меня легко, ты не думай. Да не тебе, слава богу.

Игорь Козьмич сидел неподвижно, вполоборота к Ремезову.

— Тетку Алевтину порасспросить бы, — вдруг сказал он. — Что она могла забыть?

— А что тетка Алевтина, — усмехнулся Ремезов. — Ей за семьдесят. У нее уже склероз, а не вирус. Она и так ничего не помнит.

— Все-таки ты меня не понимаешь, — с тихой досадой сказал Игорь Козьмич. — А может, ты и прав. Нелепая случайность: на меня комар сел, а на тебя — нет...

Он вышел из машины и постоял, оглядываясь по сторонам. Ремезов последовал было его примеру, но остался на месте, подумав о холода снаружи и стремясь хоть как-то сопротивляться обстоятельствам.

— Темно... — сказал Игорь Козьмич, вернувшись и внеся с собой влажную хвойную прохладу. — Переночуем в машине. Ты не против?

Ремезов удивился и пожал плечами:

— Да мы вроде недалеко отъехали...

Машина между тем сдвинулась на обочину и уперлась в кусты. Игорь Козьмич опустил спинки передних кресел. Этому странному ночлегу Ремезов, однако, не удивился. Сколько ночей уже пришлось на самолет и «авиационный ангар»...

Устраиваясь на боку, он только решил, что это лучше, чем ехать. «Игорю как раз проспаться бы... Подумашь, забыл, как жену зовут...»

Он очнулся, ощущив неприятный, изматывающий зуд. Этот зуд проник в тело еще во сне, сковывая до онемения, как несильный электрический ток.

Ремезов с трудом разомкнул сведенные током веки. В машине было светло и, казалось, морозно. Ремезов с трудом шевельнулся и глянул на часы: семь тридцать, и снова ему почудился этот внешний, как бы не касавшийся его холод...

Уже совсем проснувшись, Ремезов догадался, что никакого зуда нет, а есть звук электробритвы, отчетливый, звенящий в ушах.

Игорь Козьмич, сияв пиджак, брился. Глядя в зеркальце заднего обзора, он тщательно водил по щеке черным аппаратиком.

8. БЕЗ СИМПТОМОВ. ЧАСТЬ 2

«Утро вечера мудренее», — подумал Ремезов, глядя на белоснежную спину однофамильца.

Из зеркальца над лобовым стеклом на Ремезова глянули глаза Игоря Козьмича, глянули ясно и остро.

Игорь Козьмич бодрым голосом пожелал Ремезову доброго утра. Ремезов ответил тем же.

— Как голова? — спросил он.

— Голова на плечах, — ответил со смехом Игорь Козьмич и этим смехом остановил все дальнейшие расспросы о голове.

«Дурачил он меня...» — подумал Ремезов, но утром он встречал где-то на дороге в лесу, рядом сидел одно-

фамилец в белой сорочке с бордовым галстуком — это уже мало походило на розыгрыш. Впору было продолжать удивляться. «Посмотрим», — сказал себе Ремезов и ощутил запах дорогой туалетной воды.

Игорь Козьмич открыл дверцу и пустил внутрь холод утреннего заморозка. Он вышел наружу и с наслаждением потянулся. Белая сорочка засверкала на солнце, и Ремезов, глядя на него, даже прищурился.

— Хорошо-то как! — сообщил он Ремезову, заглядывая в салон. — Освежиться бы... Ручья поблизости нет, не помнишь?

Ремезов посмотрел на незнакомый лес.

— Я этих мест не знаю... До Лемехова-то далеко?

— ...А вот это мы сейчас и выясним, — сказал Игорь Козьмич, наведя в салоне порядок и сев за руль. — Брейся и поедем... Надо же узнать, как тетка Алевтина в зону проникла. Там, у меня, и позавтракаем.

«Где это «у меня»?» — не понял Ремезов.

Игорь Козьмич уверенно привел машину к заграждениям, и, увидев их, Ремезов вдруг заметил в себе досаду — оказывается, он подспудно ждал подтверждения вчерашнему феномену, ждал, что однофамилец дорогу не найдет.

Войдя в «авиационный ангар», Игорь Козьмич сразу направился к военным и очень вежливо сказал полковнику:

— Сегодня мы поедем вдвоем. Я сам сяду за руль.

— Не положено так, Игорь Козьмич, — твердо сказал полковник.

— Не положено, — согласился директор. — Но сегодня необходимо исключение.

И вдруг полковник, встретившись со взглядом Игоря Козьмича, повиновался. Игорю Козьмичу он больше ничего не сказал, но повернулся кругом и отдал команду.

Как в скафандре, так и за рулем вездехода Игорь Козьмич выглядел очень уверенно, исчезла даже механическая неуклюжесть движений.

Остановка произошла не у дверей филиала ИКЛОНа, а у крыльца директорской дачи. На этот раз Игорь Козьмич не забыл даже вытереть у порога ноги, и Ремезову пришлось последовать его примеру.

Игорь Козьмич заговорил только в гостиной. Но сначала он что-то сделал с собой — и скафандр раскрылся. Игорь Козьмич выскользнул из него, потянулся и с наслаждением опрокинулся на диван.

Ремезов наблюдал.

Голоса однофамильца он не услышал, но догадался, что тот, насмехаясь над большой белой куклой, говорит:

— Чего, трусишь?

Ремезов стал шарить по скафандрю — и тем еще больше рассмешил Игоря Козьмича. Он легко спрыгнул с дивана и принялся помогать.

Спустя полминуты и второй скафандр смялся и осел на ковер, словно шкурка от куколки.

В доме было зябко, и Ремезов поежился.

— Мерзнешь? — с участием спросил Игорь Козьмич, сам он, худой, босой, в шерстяном трико, казался йогом. — Пошли, утеплимся... Скоро станет еще холодней.

Он повел Ремезова на второй этаж, в свой рабочий кабинет. Здесь у него располагался и небольшой гардероб. Игорь Козьмич обхватил в одну охапку все, что в нем было, и свалил на кресло.

— Выбирай, — сказал он. — У нас ведь один размер...

Ремезов пожал плечами и не решился. Тогда Игорь Козьмич взялся за дело сам, и Ремезов оказался в теплом свитере, модной курточке, потертых джинсах и старых, но вполне годных и удобных, спортивных туфлях.

— Хорош... Теперь в самый раз отрастить бороду, — сказал Игорь Козьмич и стал одеваться сам.

Одевшись так же, он привел Ремезова на кухню

и, открыв холодильник, выгреб оттуда — тоже охапкой — банки с пивом.

— Пиво еще годится, — сообщил он. — Колбаса тоже помереть не успела... Хлеб, наверно, уже каменный... Ничего. Где-то есть бараки и печенье... Поставь пока чай.

Расположились в гостиной, в мягких роскошных креслах.

— Как тебе у меня? — спросил Игорь Козьмич.

— Ты уже спрашивал, — невольно засопротивлялся Ремезов.

— Тот раз не в счет. — Игорь Козьмич кивнул в сторону отброшенных в угол скафандров. — Тогда мы, считай, здесь не были, а видели все по телевизору...

— А зачем ты спрашиваешь? Сам знаешь, как у тебя... Пансионат. Дом творчества нобелевских лауреатов.

— Неплохо, согласись, — кивнул Игорь Козьмич, срывая язычок с цветастой пивной банки. — Жаль, электричества нет... Музыку послушали бы... Эх, Витя, сколько лет мы так с тобой вдвоем не сидели?

— Много, — сказал Ремезов. — Культурная программа не отменяется. Ведь ты вроде обещал бар, сауну и кегельбан...

Игорь Козьмич приподнял бровь:

— Сауну? Хорошая идея... Но лучше завтра. Сегодня у нас — Синьково болото. Тоже аттракцион, а? Для крепких нервов. А потом бар... Такая программа устраивает?

— Болото так болото, — хмыкнул Ремезов, но в болото ему не захотелось, и он посмотрел на себя со стороны.

Картина оказалась необыкновенной: встретились два однокашника через десять лет, сидят в необитаемой «зоне» с вирусом и под инфракрасным колпаком, пьют датское пиво, закусывая бараками и сервелатом... Кому расскажешь?

— А не заразимся? — вдруг спросил Ремезов. — Ты вроде уже один раз собирался...

— Что наша жизнь... — философски заметил Игорь Козьмич. — Тихо здесь... Чувствуешь, как тихо? Как думаешь, а не закрыть ли нам «зону» навсегда? Будем ездить одни. На озере рыбу ловить... Можно с теткой Алевтиной и Макарычем...

Ремезов не ответил: ему такая шутка не понравилась.

— Пора, пора взглянуть на лаз тетки Алевтины, — сказал Игорь Козьмич, взглянув на часы. — А то совсем стемнеет.

На даче нашлась и лишняя пара сапог.

Против всякой деревни есть в лесу одно место — плохое, не для людей, с недоброй славой. Для Лемехова и Выстры таким местом было Синьково болото. Во времена детства Ремезовых оттуда не вернулся человек — бочар Аркадий Иваныч, ушедший за клюковой с бутылкой портвейна, а годом или двумя позже — две отбившиеся от стада коровы.

Синьково болото лежало в большом лесном распадке, как в корыте. Чтобы попасть в него, нужно было спуститься где по камням, где по торчащим корням.

Здесь, внизу, воздух стоял особенно тихо и был плотен, тяжел. У края болота пахло вереском, а дальше оно дышало из-под ног то холодным, то теплым травяным настоем. Лес с болота казался сизым, взвешенным над землей, и уже через несколько шагов — очень далеким со всех сторон... Солнце садилось, верхушки елей чернели.

Игорь Козьмич шел-ухал широким шагом. Ремезов едва поспевал, и его затягивало идти след в след, он замечал это и держался в стороне своим путем.

— Жерди бы выломать, — предложил он. — Безопасней...

Но Игорь Козьмич не отвечал и шел по болоту, как по аллее в парке.

И вдруг Ремезов замер.

«Он убить меня хочет!» — вспыхнула мысль.

Ремезов отогнал ее и перевел дух.

«Поперлись на ночь глядя... Нашел развлечение... — заворчал он про себя. — Черт-те что лезет в голову...»

— Ты ночевать здесь не думаешь? — злясь, сказал он Игорю Козьмичу. — Или нам опять «Волгу» подадут?

— Успеем, — коротко ответил Игорь Козьмич
И вдруг он замер:

— Вот оно!

Ремезов поднял голову и уперся взглядом в щит:
СТОЙ!

ХОДА НЕТ!
СМЕРТЕЛЬНО!

— Смотри! — указал Игорь Козьмич.

Ремезов увидел другой щит, пустой, и догадался, что надпись — на обратной стороне, обращена к тем, кто рискнет не *выйти, а войти...*

— Не туда смотришь, — спокойно сказал Игорь Козьмич. — Не туда.

Ремезов внезапно осознал, что между щитами, всего метрах в пятидесяти от места, где они с однофамильцем стоят, — граница, убивающая все живое. Ему стало зябко.

И, растерянно поблуждав взглядом, он наткнулся наконец на два лежащих на болоте стволов с обломками сучьев.

Игорь Козьмич, подперев бока, рассматривал лазейку и ее окрестности.

— Значит, главное: через «ленточку» перескочить... — сказал он наконец. — Здесь у нас недочет...

Ремезов невольно приглядывался к стволам: где же эта «ленточка»? Какая же тут «ленточка»?.. «Недочет, — усмехнулся он. — Сейчас наглотаемся всех этих вирусов и пойдем гулять, а у него — «недочет»...» Он хотел было поддеть Игоря Козьмича, но тот вдруг пошел вперед,

к стволам, и, остановившись у начала «колеи», поставил ногу на облом одного из двух сгнивших деревьев.

Ремезов пошел за ним и, только встав рядом и подняв глаза, содрогнулся: вот она, смерть, еще три шага — и тебя не станет... Кучка золы... Ремезова снова охватил озноб, его потянуло попятиться, но он пересилил себя...

Воздух в трех шагах был ясен и ничем не выдавал смертельную грань. Трава под ногами и трава через три шага ничем не различались, но та обыкновенная трава, что росла через три-четыре шага, тот кустик вереска, то желтенькое пятнышко морошки были в зазеркалье.

— Ты осторожней, — сказал Ремезов Игорю Козьмичу вместо того, чтобы уязвить по поводу «недочета». — «Ленточку» не видать... может, до нее не три метра, а один... Руку протянешь — срежет.

Игорь Козьмич оглянулся на Ремезова через плечо — с насмешкой на губах.

Ремезов огляделся: две установки — тоже вроде «марсиан», на треногах — стояли в болоте, и он, Ремезов, казалось, точно между ними. Он не выдержал и сделал шаг назад.

«Дурак! — подумал он об Игоре Козьмиче. — Чего с огнем играет? Сорок лет мужику...»

Однофамилец повернулся к границе спиной и стал глядеть Ремезову в глаза. Лицо его показалось очень бледным, но совершенно спокойным.

— Есть шанс попробовать, — сказал он с испытующей улыбкой.

«Он хочет убить!» — снова вспыхнула мысль — и застучало в висках.

Ремезов с трудом сглотнул.

— Зачем? — сказал он и, заметив, что получилось совсем глухим, севшим голосом, повторил тверже и громче. — Зачем?

— Старушка-то с ведром... — как-то нехорошо, хищно улыбаясь, сказал Игорь Козьмич. — Фору нам дала... Что ж теперь, так и будем тут стоять?

«Вот сволочь!» — не сдержавшись, подумал в сердцах Ремезов и бросил со злостью:

— Сам лезь, если жизнь не дорога!

Игорь Козьмич рассмеялся.

И вдруг на Ремезова напал столбняк... Взгляд Игоря Козьмича в сумерках был очень отчетлив, даже ярок... Ремезова осенило, что его завел в болото и теперь стоял перед ним посреди болота кто-то другой, очень похожий на Игоря Козьмича, но не он... Это был какой-то отрешившийся, целлулоидный «Игорь Козьмич», «Игорь Козьмич» в новой упаковке.

«Мать честная!» — подумал Ремезов.

Кто-то весь день с наслаждением дурачил его, уводил... уводил...

«Мать честная! Что за бред?!»

— А тебе жизнь дорога? — спросил тот, кто стоял лицом к лицу.

— Проверить, что ли, хочешь? — злобно ответил Ремезов. — Ну... пусты-ка...

— Зачем ты так сразу? — вдруг смягчился Игорь Козьмич. — Я же шучу. — И он достал из кармана монету. — Кидай. Ты — орел, я — решка.

— Почему не наоборот? — невольно потянул время Ремезов.

— Кидай, — тверже повелел Игорь Козьмич.

Монета в пальцах сразу стала влажной от пота и холодной.

Ремезов щелчком подбросил ее и не уследил — монета юркнула вниз, в травяное месиво.

Ремезов сразу обрадовался, что ее не достать, и начал медленно нагибаться, но Игорь Козьмич остановил его:

— Аккуратней, — посоветовал он и подал новую.

Ремезов снова щелкнул и судорожно поймал монету в кулак. В кулаке оказался «орел».

«Это он нарочно», — мелькнуло в голове.

— Ну... — улыбнулся Игорь Козьмич. — Для верности можем повторить. Бог любит троицу.

— Хватит, — огрызнулся Ремезов и с ужасом посмотрел на «колею».

— Измажешься — ничего, — предупредил Игорь Козьмич. — Все списано. Дачное.

— Отойди, — хрипло сказал Ремезов, хотя Игорь Козьмич вовсе не загораживал дорогу.

Ремезов лег у «входа» и обрадовался, что вес вминает его глубоко в траву. «Смеется, наверно, гад», — подумал он и пополз вперед...

Хотелось побыстрей, но от быстроты тело приподнималось, нужно было — медленно, очень медленно... Ремезов больше всего боялся поднимать голову, и лицо его тоже провалилось в траву, в болотную темноту. Дышалось тяжко, в нос было терпкой гнилой зеленью, вереск драл по лицу... Ремезов почти не подтягивался на руках, опять-таки боясь приподниматься, и отталкивался ногами, отчаянно цепляясь носками сапог за сгустки стеблей...

«Вот сейчас... вот сейчас и будет конец... только чтобы сразу... чтоб не по спине... сразу бы весь... — шептал Ремезов. — Господи, помоги... Господи... вот сейчас...»

— Сколько еще?! — отчаянно захрипел Ремезов. — Эй! Сколько еще?! — заорал он, срывая голос.

Но ответа не услышал и в сумрачном забытье прополз еще столько же.

«Все! — пришло ему вдруг. — Черт с ним! Сгорю! Больше не могу!»

И он рванулся вверх с одним отчаянным желанием — подпрыгнуть выше и сгореть сразу, целиком...

Ремезов не сгорел, но его бросило в жар, и лицо, ободранное, мокрое, загорелось само.

В глазах было темно.

Ремезова шатнуло, он упал на мягкое и влажное, неуклюже поднялся.

...Он прополз между деревьями — и мял, пахал болото еще метров пятнадцать, не меньше.

Игорь Козьмич по ту сторону грани весело смеялся. И Ремезову вдруг стало смешно, просто по-мальчишески весело, как в детстве: чуть не сгорели, разведя под стогом костерчик, зато уж пометались, как тараканы, ища выход, — есть над чем посмеяться снаружи.

— Зараза ты, Кенар, зараза! — крикнул Ремезов, вспомнив детскую кличку однофамильца, и сплюнул набившуюся в рот травяную шелуху.

Коленки были мокрые, а к нейлоновой курточке грязь не пристала.

— Лезь давай! — крикнул Ремезов во весь голос, хотя Игорь Козьмич стоял совсем недалеко. — Лезь, говорю! А я погляжу!

— А зачем? — издевательски спросил Игорь Козьмич.

— Как зачем?! — весело вспылил Ремезов. — Да я тебе морду сейчас набью!

Он едва успел опомниться, а то бы кинулся на однофамильца, как медведь, верхом... «А ему того и надо», — кто-то подсказал из уголка...

— Зачем мне лезть, если и так уже ясно, что пролезу? — весомо, резонно объяснил Игорь Козьмич. — Какой интерес? Весьма вероятно, что по периметру много таких лазеек. Пойдем, посмотрим...

И он, не дожидаясь ответа, пошел вдоль «ленточки» по направлению к темному шару на треноге.

Ремезов шел уже без всяких мыслей по другую сторону границы — и никак не мог отдохнуться... Только обходя установку и на мгновение потеряв Игоря Козьмича из виду, он опомнился и остановился: куда дальше? Как бы не наткнуться...

Но Игорь Козьмич уже видел следующего стражи границы и смело двигался к нему.

«Главное — держаться параллельно, — подумал Ремезов. — Он знает... Уже ходил тут, что ли?» И только

сейчас Ремезов вспомнил, что они весело так идут по Синькову болоту.

— Ты осторожней там, — крикнул он Игорю Козьмичу. — Завязнешь... а мне что делать? Тоже смеяться?

Но Игорь Козьмич точно не слышал.

«Два идиота», — подумал Ремезов и увидел на пути однофамильца темное пятно высокой травы.

«Он что, не видит?!»

— Эй! Куда ты! Смотри! — крикнул он.

Но Игорь Козьмич шагнул дальше, провалился по колено и как ни в чем не бывало стал погружаться в болото.

«Мать честная! — охнул Ремезов и замер столбом. — Да это он нарочно... Опять дурачит, что ли?.. Утонет сейчас!»

И Игорь Козьмич спокойно, не дергаясь, тонул.

Он только повернул голову к Ремезову — и тому почудилась какая-то грустная улыбка.

«Как же он! Что делать?»

— Эй, Игорь! Ты что?!

— Руку дать сможешь? — спокойно сказал однофамилец.

— Куда ж ты смотрел, мать твою! — сорвался Ремезов, заметался — и замер.

«Что ему от меня надо?! Гад, сволочь!.. Что делать?..»

Ремезов огляделся. Рядом торчала сухая осинка, позади, но немного дальше — предупреждающий транспарант.

Ремезов натужился, выдернул осинку с культей корня и швырнул было ее сквозь границу, но в последний миг испугался: а вдруг для стражей любой летящий предмет — мишень... и тогда он накроет однофамильца огромным факелом. Рядом с топким местом на той стороне Ремезов заметил возвышенный островок. Забыв о страхе, он подскочил к границе и метнул деревце туда... Осинка полыхнула как-то с одного бока и упала,

и ее стволов, оставшийся без ветвей, погас от удара и густо задымился.

«Ага! Он только слева бьет... слева... — лихорадочно рассчитывал Ремезов. — Это хорошо...»

На Игоря Козьмича он старался пока не глядеть. В три прыжка подскочив к щиту, он дернул его вверх что было силы и, ободрав руки, вырвал из болота.

«Дюралевый! — обрадовался Ремезов. — Порядок! Прорвемся!»

Щит оказался громоздким, но не тяжелым. Подняв его над головой, Ремезов поиском глазами, откуда прыгнуть, и снова обрадовался: где-то совсем рядом с границей, по эту сторону, нашелся такой же возвышенный островок.

«Ты как там, жив еще?» — мысленно спросил он своего однофамильца и решился взглянуть...

Игорь Козьмич всего в четырех-пяти метрах от этого островка погрузился уже почти по грудь и с тем же хладнокровным любопытством наблюдал за Ремезовым.

«Если разыгрывает — убью гада!» — мелькнула мысль.

Ремезов, едва удерживаясь на ногах, взбежал на свой островок.

«Все! — выдохнул Ремезов. — Господи, помоги... Только бы не мучиться... Ну, давай... давай, давай... Что тебе терять?.. Давай...»

Он, прикрывшись сбоку щитом, рванулся — и прыгнул. И в тот же миг будто врезался — с оглушительным треском и звоном — в огромное раскаленное стекло...

ЭПИЛОГ

Ремезов очнулся от холода... Одежда по грудь была мокрой до нитки. «Искупался», — подумал Ремезов, застучав зубами, и оторвал голову от земли.

Вокруг стоял непроницаемо-черный мрак.

«Что это?» — не понял Ремезов, а догадавшись,

вскинулся разом, поскользнулся, но удержался на ногах.

Стояла ночь без звезд и луны, стояла тяжкая, подземная тишина.

— Игорь! — со страхом позвал Ремезов. — Ты где? Ответа не было.

«Утонул!» — выстрелило в голове, и Ремезов кинулся было куда-то... но успел остаться на месте: где-то рядом была граница, «ленточка», но где, в какой стороне?

«Вот влипли... так влипли, — прошептал Ремезов, спускаясь — для верности — на землю. — Сколько времени-то?»

Но не то что часов, руки во тьме было не разглядеть.

Так Ремезов в полном бевременье сидел в темноте, боясь двинуться с места, пока не услышал далекий гул... Гул показался знакомым, и в душе зародилась надежда.

Вдали замигали малиновые огоньки, а под ними стали заметны прозрачные стержни прожекторных лучей. Где-то над филиалом ИКЛОНа... или над Лемеховым... где-то далеко летел вертолет.

«Ищут», — догадался Ремезов — и вдруг ему стало еще тощнее, вдруг захотелось, чтобы вертолет миновал стороной... Он и летел стороной: те, кто искал, вычеркнули из района поиска Синьково болото.

«Может, они выключили «колпак»?» — подумал Ремезов, но проверять не решился.

Пальцы совсем окоченели, Ремезов подышал на них и сунул руки в карманы.

Он не сразу догадался, что в кармане лежит сокровище: зажигалка!

«Живем! — воспрянул духом Ремезов. — Прорвемся!»

Пальцы не слушались. Он долго вертел зажигалку, боясь выронить ее и потерять — и наконец в руках вспыхнул маленький, но бойкий огонек.

Первое, что увидел Ремезов: изогнутый, распоротый

наискось щит. Ремезов содрогнулся... «Везет дураку...» — подумал он про себя. И снова вздрогнул, едва не уронив огонек: он увидел. Увидел сначала ноги, а потом тело — с бурым пятном чудовищного, едва ли не сквозного ожога... Ремезов шагнул к нему — и понял, что на земле лежит труп.

Огонек долго дрожал и бился прежде, чем Ремезов сумел о чем-то подумать. Наконец он подумал: «Он сгорел — не утонул... Как же так?.. Бред какой-то... Где мы? Здесь или там?.. Доигрались...»

И наконец в сердце ударила боль — был мертв Игорь Ремезов, с кем он прожил бок о бок тридцать лет... мертв тот, с кем качались вместе на березе.

— Куда ж ты лез! — простонал Ремезов.

Он решился и, нагнувшись, поднес огонь к голове.

В тот же миг он со стоном зажмурился — и сразу подкатило к горлу... Он едва успел отвернуться. Его рвало натужно, неудержимо, выворачивало всего наизнанку. А когда отпустило, Ремезов, клацая зубами, зашептал:

— Это же бред... бред... просто померещилось... зачем... не надо... не надо так...

И он задержал дыхание, напрягся весь до ломоты в костях, сжал челюсти до боли — и снова повернулся к телу...

То, что видел он, не было телом Игоря Козьмича... Труп был одет не так, а лицо — совершенно не обожженное — не было лицом однофамильца.

Но это было лицо, которое Ремезов знал... свое лицо он помнил... Но это было мертвое, позеленевшее, с разинутым ртом... страшное и ничье...

— Вот оно что... вот оно что, — дрожа, колотясь всем телом, шептал Ремезов. — Конечно, так... прыгал же я, а не он... он же не мог сгореть... утонул... подожди... где я?

Его бросило в жар — и он разом вспотел... и, стирая пот со лба, он вдруг догадался, что стирает свой пот

с чужого лба и чужой рукой... Он схватился за волосы, волосы были жесткие, кудрявились — совсем не свои волосы, такие у Игоря Козьмича...

Ремезов погасил свет — и так вдруг сразу стало спокойней.

— Погоди... погоди... не сходи с ума... что это... ведь он хотел убить, верно?.. Конечно, хотел... он же нарочно, подай, говорит, руку... сволочь... погоди, погоди... надо разобраться... зачем убить... а кто он... ведь он стал другой... память... он же забыл, как зовут жену... ну и что... он же говорил как-то: с женой нелады... ага... нелады... он стал забывать все, что ему мешало... нет-нет... я же тоже мешал... то, что перестало мешать... что больше не волновало... перестало иметь значение... но ведь он не забыл дорогу в Лемехово... значит, это был уже не он... кто-то уже был в нем, кто-то подстроился... вирус... ерунда какая-то... а зачем ему я?.. Погоди, ведь нелады с женой кончились уже давно... так я же — враг! От меня надо было освободиться! Освободить память... а куда он без меня... его же без меня быть не может... только я для него имею значение... я — враг... а если б я сгорел?.. Так я же и сгорел... значит, я — только отпечаток у него в голове... бред... бред... он же утонул... он же не мог вылезти сам... а он и не тонул... это — ловушка... вот он брился, сволочь... он уже был не человек... он же меня проверял... вот если б я не прыгнул, тогда б он сейчас сидел там, во мне... по ту сторону... вместо меня... поди проверь, что там, в голове... выходит, я победил... это он такую дуэль придумал... Кто он-то?.. Бред... бред... мать честная, у него же двое детей, жена!

Ремезов не смог устоять на ногах, сел... и снова ужаснулся: откуда в нем эта «мать честная»?! Это же — его... И он вспомнил жену Игоря Козьмича и его сыновей, хотя никогда их не видел... «Значит, он тоже здесь... тоже здесь... он здесь...» Ремезов застонал, обхватил голову руками, уткнулся в траву.

— Я больше не могу! Не могу я, я не смогу так... Пощади меня, Господи! Все... сейчас... это надо кончать...

Он поднялся. Граница была рядом...

«Стой, гад! Стой! Права не имеешь... теперь уже не имеешь... что, сволочь, жить надоело?.. Что, завидовал дружку?.. Вот и получи, мразь... одного ты уже убил... и еще одного хочешь... а кто тебе дал право...»

Болото на рассвете стало седым. Трава под ногами хрустела.

Он встал над телом, взглянул на раскинутые в стороны, одеревеневшие руки, взглянул на застывшую рану, на чужое теперь, холодное, затянутое инем лицо.

— Пойдем, — невольно прошептал он над телом — и с трудом взвалил его на плечо. «Игорь-то Козьмич тоже силен», — подумал он.

Он прошел через болото, через лес, мимо озера — и поднялся на узкое шоссе. Так он шел, пока не увидел предупреждающую надпись. Поодаль, за щитом, стояли заграждения, а за ними угадывались силуэты людей. Он хотел было окликнуть их, но осекся, впервые испугавшись нового, чужого голоса... Он остановился — и стоял молча, но его заметили.

В лицо вдруг ударили луч прожектора — и он оказался в светящемся тоннеле с ослепительным кругом в конце... Силуэты людей перед кругом превратились в черные тени, и он догадался, что это — солдаты, трое солдат. Они стояли в принужденных, настороженных позах, наверно, видели его и всматривались: кто там, на дороге, на которой не должно быть никаких путников.

Ему захотелось улыбнуться солдатам, и он вдруг вспомнил старика, накануне смерти шутившего с санитарами.

«Воюете, солдатики?» — захотелось сказать ему и так же улыбнуться. И он, холдея сердцем, понял, что никогда не сможет им так сказать... никогда не сможет...

ГНИЛОЙ ХУТОР

Шутка ли, пропал институт!

Без году десятилетие стоял на окраине города крепкий железобетонный корпус, обнесенный столы же крепкой железобетонной оградой, — и вдруг в одночасье не стало: ни корпуса, ни ограды... Остался только вахтерский стол и сам дежурный вахтер, в испуге долго озиравший заросли густого бурьяна, что раскинулись на месте только что процветавшей научной организации. Множество комиссий и экспертов разгадывали тайну исчезновения, но неизменно терпели фиаско.

Институт был обыкновенный: научно-исследовательский. Название он имел тоже вполне обыкновенное: НИИФЗЕП, научно-исследовательский институт физиологии земноводных и пресмыкающихся. Почему бы в самом деле не интересоваться ученым физиологией пресмыкающихся? Особенно удивляет, как мог исчезнуть институт в разгар своих успехов: в последний год своего существования он выпустил работ вдвое больше, чем за все предшествующие годы...

Научные сотрудники НИИФЗЕПа, старшие, младшие, лаборанты, завлабы тоже казались вполне обычными людьми. Они ставили опыты над бессловесными тварями, земноводными и пресмыкающимися, устраивали чаепития и сдавали разные отчеты. В последний год они были деятельны, как никогда: защиты диссертаций проходили в институте едва ли не ежедневно.

Место, где стоял НИИФЗЕП, не отличалось аномальной активностью: в небе над ним никогда не исчезали самолеты, смерчей и землетрясений здесь не случалось. Однако факт остается фактом: здание НИИФЗЕПа пропало на глазах у двух сотен сотрудников, оставшихся целыми и невредимыми...

Несколько лет спустя двое очевидцев, знавших истинную подоплеку события, открылись автору этих строк.

— Наверно, кроме нас, еще кто-нибудь знает правду, — предположила бывшая лаборантка института Марина Ермакова. — Но рассказать... разве поверят?

— Все началось с того, — начал свои «показания» бывший аспирант НИИФЗЕПа Николай Окурошев, — что старший научный сотрудник нашей лаборатории Хоружий, прия утром на работу, заметил на своем столе готовый отчет. Он должен был уже давно написать его и сдать, но все тянул...

I

Борис Матвеевич Хоружий, старший научный сотрудник пятидесяти трех лет от роду, был рьяным садоводом. Настраиваясь на трудовой лад, он начинал свой рабочий день с подшивки журнала «Приусадебное хозяйство».

Однажды, прия поутру в институт, он увидел на своем столе рядом с подшивкой готовый отчет... Он так растерялся, что сунул в зубы не тот палец и нечаянно отгрыз холеный ноготь мизинца. Испугавшись, что за ним подсматривают, он судорожно обернулся на плотно закрытую дверь и, почувствовав слабость в ногах, боком опустился в кресло.

Несколько минут он просидел в полном недоумении и, наконец опомнившись, нервно и протяжно зевнул.

Кто-то из сослуживцев сыграл с ним странную шутку: втихую подбросил готовый отчет — с умыслом, подло, как в спину плонул!

Отчет был отпечатан великолепно: на шестнадцати листах прекрасной финской бумаги ни помарки, ни подмазки, ни подтирки. Стиль отчета был образцовым до неправдоподобия...

Борис Матвеевич скосил взгляд на пол и прикрыл отчет папочкой.

Лаборантка Оля так печатать не способна — разве что под гипнозом... Впрочем, если очень попросить...

Так примерно потянулись мысли Бориса Матвеевича по руслу расследования, и спустя минуту сеть новых лабораторных интриг разрослась в его голове до масштабов почти что франкмасонских.

Главные подозрения пали на Ирму Михайловну Пырееву, маленькую, нервно курящую женщину, которую мужчины института злобно и уважительно называли между собой «противотанковым ружьем». Полмесяца назад Пыреева получила новую японскую аппаратуру, однако сама теперь своему приобретению была не рада: держать заморские чудо-игрушки было негде. Потолок в комнате, которой владела Пыреева, часто протекал, и климат ее грозил любому прихотливому прибору, как болото — туберкулезнику. Единственным заповедным местом в лаборатории, годным для обитания дорогого оборудования, была комната Хоружего...

Лет пять назад, верно оценив обстановку, Борис Матвеевич всеми правдами и неправдами завладел ею. С тех пор вся лаборатория, да что лаборатория — весь отдел побывал у него с поклоном: уникальная комната его, не ведавшая протечек, вымораживаний и прочих стихийных бедствий — плодов недомыслия строителей и проектировщиков, — виделась во сне любому сотруднику отдела, кому подходил срок браться за отчетные дела. Владея этой замечательной комнатой, Борис Матвеевич приобрел непоколебимый научный авторитет, внушительное число печатных работ и право на далеко не эпизодические роли в некоторых серьезных монографиях. Про себя Хоружий называл свою комнату «скатертью-самобранкой»... Только Ирма Михайловна держалась стойко, ни разу не потревожив Бориса Матвеевича просьбами и предложениями. За это в отделе уважали ее по-особому и даже прощали ей презрительные взгляды на просителей Бориса Матвеевича. И вдруг отчетная гроза застала Пырееву врасплох. Заведующая лабораторией Ираида Клиновна Верходеева, готовясь к завершению пятилетней темы, потребовала немедля

проводить на новой аппаратуре ряд экспериментов. Для этого дела понадобился аспирант Пыреевой Николай Окурошев и комната Бориса Матвеевича...

Именно Ирме Михайловне, как никому иному, выгодно, чтобы отчет Хоружего был сдан вовремя, ведь завлаб пообещала ей временные права на комнату Хоружего сразу после завершения его экспериментов. С противной стороны представлять отчет на этой неделе никак не входило в планы Бориса Матвеевича: прилежность в этом деле грозила ему недельной командировкой в самый разгар весеннего труда на дачном участке.

Итак, неприятельский выпад исходил скорее всего от Пыреевой. Подчиненные Хоружему мэнээс Мясницкий, инженер Гулянин и лаборантка Оля вряд ли бы додумались и сумели сыграть с ним столь недобрюю шутку. Впрочем, необыкновенность события так ошеломила Бориса Матвеевича, что он вполне разумно подозревал всех подряд: и инженера, и младших научных, и Олю, и щефиню свою, затеявшую, быть может, странную проверку дисциплины труда своих сотрудников; и даже старшего научного сотрудника, Елену Яковлевну Твертынину, он тоже стал подозревать, хотя она никогда не была сильна в канцелярской грамоте, а Хоружего недолюбливала просто так, без всяких козней, за его худенькую и чересчур робкую жену.

И вовсе уточул бы Борис Матвеевич в топи безнадежных размышлений, если б не раздался стук в дверь.

Хоружий вздрогнул. Дверь раскрылась. На Бориса Матвеевича медленно накатилась куполообразная фигура Твертыниной и замерла прямо над его головой. Хоружий наклонил голову к плечу и, приподняв веки, вопросительно развел брови в стороны.

— Звонила Климовна, — загудел сверху лавинный голос Твертыниной. — Через час приедет.

— А я как раз сегодня хорошую заварку принес, — удовлетворенно сообщил Борис Матвеевич; шея его за-

ныла в неестественном изгибе, и он подпер голову ладонью.

— Боря, а как насчет отчета? Если он у тебя готов, я бы по нему... кое-что и у тебя... — Твертынина замялась: никому в лаборатории и в голову бы не пришло, что у Бориса Матвеевича может вдруг сам собой появиться отчет. — У нас ведь из той работы с болотными черепахами в целом...

— Ах, отчет... Тут он, сейчас найду. — Хоружий небрежно поширял по столу всякие бумаги и наконец отодвинул в сторону маскировочную папочку. — Вот. Напрокат до приезда Климовны.

Твертынина подержала отчет за скрепочку и с любопытством заглянула в листы, переворачивая их, как страницы художественного альбома.

— А кто печатал? — поинтересовалась она в легком изумлении. — Уж не ты ли?

— Хм... А вот я... А что? — И Борис Матвеевич весь обратился во внимание.

Ни единой тени не промелькнуло на широком лице Твертыниной, только правый уголок тонких ее сухих губ вдруг затрепетал, словно крылышко комара, увязшего в паутине, и спустя мгновение замер.

«Не ее работа», — решил Борис Матвеевич и равнодушно отвернулся.

В эту самую минуту в тяжелой оторопи пребывала Ирма Михайловна Пыреева. Чуть сгорбившись, она застыла над своим столом. Дым сигареты, тлевшей под самым подбородком в плотно сжатых пальцах, окутывал лицо ее и клубился в мелко завитых волосах. Она тяжело, до бледности вокруг век, щурилась, острые, угловатые брови ее иногда вздрагивали.

На столе перед ней лежала запись биотоков мозга шишкохвостого геккона, которой попросту не могло существовать...

Накануне Ирма Михайловна и младший научный сотрудник Люся Артыкова безуспешно пытались нала-

дить новую «методику энцефалографии шишкохвостых гекконов в свободном поведении». На запись постоянно лезла необъяснимая наводка, электроды не желали надежно крепиться на плоской головенке безмолвного существа; да и само оно в этот неудачный вечер отказывалось вести себя «свободно» — лишь уныло приваливалось боком к стенке терриума и безучастно созерцало чужой, застекленный мир... Решили отложить все хлопоты до завтра.

И вот утром следующего дня Ирма Михайловна обнаружила эту необходимую для отчета запись биотоков на своем рабочем столе. Качество записи пугало своей безупречностью. Невольно Ирма Михайловна подумывала о подделке, однако гнала эту мысль прочь: подделать столь мастерски все показатели биотоков человеку не под силу. Такого «чистого» результата Ирма Михайловна не встречала даже в работах классиков: прямо хоть сейчас режь запись на любое количество отрывков и клей хоть в статью, хоть в докторскую диссертацию — куда душе угодно. Более всего настораживала одна странная особенность записи: все указующие пометки были сделаны не от руки — по почерку легко было бы узнать самозваного автора, — а отпечатаны на машинке, вырезаны в виде аккуратных квадратиков и приклевые в нужных местах. Ни Люся Артыкова, ни аспирант Окурошев никогда не отличались столь рафинированной опрятностью.

Ирме Михайловне было не по себе. Она скрупулезно, с дотошностью злого криминалиста обследовала всю комнату сантиметр за сантиметром. Сомнений не оставалось, кто-то здесь вечером серьезно поработал, прочистил забитые перья энцефалографа, сделал запись, прилежно прибрал за собой, развесил электроды на планочке, покормил гекконов — и скрылся...

Ирма Михайловна давила ногтями сигаретный фильтр и, замерев у стола, дождалась очной ставки с Люсей.

Тем временем Борис Матвеевич начал проверку следующего подозреваемого. Когда в комнату впорхнула лаборантка Оля Пашенская, он с нею поздоровался первым. Будь Оля чуть пособраннее, она сразу насторожилась бы: Хоружий никогда так не поступал. Однако Оля, даже не взглянув на Бориса Матвеевича, машинально ответила ему каким-то неопределенным птичьим возгласом, швырнула на свой стол маленькую сумочку и присела к телефону.

— Оля, — ласково повысил голос Борис Матвеевич, пытаясь перехватить внимание лаборантки до телефонного разговора. — Ты вот тут... вчера... Черновик отчета я вроде оставлял. Не попадался он тебе, а?

— Что? Что отчет? — дернулась Оля, не отнимая трубки от уха. — Нет... Какой отчет?

— Черновик я оставлял, — вежливо повторил Борис Матвеевич.

Оля подумала что-то плохое и угрожающе выставила на Хоружего острую коленку. Это был изведанный прием: Борис Матвеевич растекся по коленке, как медуза, брошенная на камень.

— Нет, не видела, — последний раз предупредила Оля и отвернулась. — Элька, ты? Что так долго не подходишь? Разбудила?..

— А заявки? — донесся до нее чуть севший, чуть жалобный и совсем примирительный голос Бориса Матвеевича. — Ты их подготовила?

— ...Ну да, вчера у Генки... — Оля, словно отмахнувшись от мухи, указала Хоружему на свой стол. — Там гляньте, я не помню... Нет, Эль, не тебе... И что Алик?

Борис Матвеевич глянул на Олин стол и едва не хлопнул себя ладонью по лбу: заявки были готовы и отпечатаны столь же образцово, что и таинственный отчет.

— Ты печатала? — как можно ласковее проговорил Борис Матвеевич, раз уж Оля не могла видеть всю отеческую приветливость его лица.

— Ну, конечно, «на манке». А какого цвета? — Оля бросила косой взгляд на бумаги, которые Борис Матвеевич держал на весу, протянув к ней руки, и, по близорукости не вникнув толком в суть дела, неопределенно дернула плечиком. — Ну, это же сумасшедшие деньги!

Борис Матвеевич был удовлетворен.

«Печатала она... Стерва... Теперь узнать бы: с чьей подачи...» — подытожил он свои наблюдения и, вспомнив ненароком острую коленку, невольно расстегнул ворот рубашки и тяжело вздохнул.

Пыреева стояла недвижно и напоминала жрицу, окутанную благовониями. Взгляд ее внушал дрожь.

— Здравствуйте, Ирма Михайловна, — сказал аспирант Окурошев; голова его медленно просунулась в комнату, в то время как тело осталось в коридоре.

— Здравствуй, Коля, — разогнав сизое облако, деловито ответила Ирма Михайловна. — Заходи, пожалуйста.

Аспирант Окурошев проник в комнату весь.

— Ты перья на приборе проверял? Там как будто есть забытые?

— Проверял некоторые... — ускользая от взгляда Пыреевой, ответил Окурошев.

Ирма Михайловна усмехнулась и тронула запись:

— Это вот интересные результаты. — Она сумела не сделать ударения ни на одном слове, искусно учитывая любую степень причастности аспиранта к появлению записи, притом выставляя себя лицом, во всем прекрасно осведомленным.

— Можно взглянуть? — Взор аспиранта выражал подчеркнутую заинтересованность, но за деланным взором Пыреева сумела разглядеть нечто очень важное.

«Его вечером тут не было, — уверенно подумала она. — Ну, Люська!.. Вот уж не ожидала».

Окурошев был послан по разным делам, а Люся появилась двумя минутами позже. Подpusкая ее на са-

мое близкое расстояние, Ирма Михайловна позволила ей спокойно подготовиться к новому рабочему дню и о записи поначалу не проронила ни слова.

Люся устало переобулась в босоножки, задвинула подальше под стол сумку с утренними покупками, положила в верхний ящик стола раскрытую книгу, поправила перед зеркальцем прическу...

Все это время Ирма Михайловна словно сквозь оптический прибор разглядывала Люсин затылок. Сигаретный фильтр в ее ногтях превратился в бесформенный ворсистый комочек.

— Люся, — сказала Ирма Михайловна.

Та стремительно обернулась.

— Ты еще долго оставалась здесь вчера?

— Да-а-а, — негромко протянула Люся.

Расставшись накануне с Пыреевой, в лаборатории она уже не появлялась и солгала Ирме Михайловне неспроста, а успев стремительно поразмыслить над всеми возможными причинами вопроса.

Люся была племянницей институтской подруги Пыреевой. Когда-то преподавала Люся биологию, попав по распределению из областного пединститута в далекий рыбачий поселок. Ирма Михайловна обеспечила девушке счастливую судьбу: она проложила ей дорогу в-solidный научно-исследовательский институт, сделала ее младшим научным в лаборатории Верходеевой, большого авторитета в проблемах высшей нервной деятельности пресмыкающихся. Люся была обязана своему меценату, как говорится, по гроб жизни. Была она девушки статной, задумчивой и спокойной. Широкие ее ладони внушили почтение. На крутых поворотах лабораторной дипломатии она умела ориентироваться по одному жесту бровей или наклону головы Ирмы Михайловны. Их вдвоем называли за глаза «дуплетом».

Вопрос о вчерашнем дне Люсю, признаться, смущил. Однако немногих секунд ей хватило, чтобы оценить точно, какой ответ от нее ожидается и вызовет, если не

полное, то хотя бы важное для выигрыша времени, удовлетворение начальства. Поэтому Люся ответила так, как требовала сиюминутная боевая обстановка, а не истинное положение вещей.

Ирма Михайловна и вправду немного ослабилась и уронила в пепельницу измятый фильтр от давно докуренной сигареты.

— Посмотри, пожалуйста, — пригласила она Люсю указательным пальцем к столу. — Здесь хорошая запись.

Люся поднялась со стула и с видом человека, давно знакомого с материалом, небрежно пролистала гармошку кривых.

У Ирмы Михайловны и в мыслях не было задать Люсе прямой вопрос, она ли сделала накануне эту замечательную запись. Во-первых, сомнений у Ирмы Михайловны уже не возникало: автором записи могла быть только Люся, хотя и странным показался ей этот Люсин сюрприз. Во-вторых, прямой вопрос непременно ущемил бы право руководителя на ценную и своевременную помочь молодому специалисту, на чуткое наставничество, на соавторство, наконец, ущемил бы право старшего на лучший кусок пирога.

Люся же подумала об аспиранте Окурошеве и из слов Ирмы Михайловны сделала вывод, что та приглашает ее к справедливому дележу.

В итоге между Люсей и Пыреевой произошел такой тонкий разговор.

Люся: Да, это очень хорошая запись, Ирма Михайловна.

Пыреева: И пометки образцово сделаны.

Люся: Да, и пометки хорошие.

Пыреева: Можно считать, что эксперимент проведен блестяще.

Люся: Конечно.

Пыреева: Запись можно показать Ираиде.

Люся: Да, ей должно понравиться.

Обе остались довольны друг другом.

Пришло известие, что у себя в кабинете появилась Ираида Климовна Верходеева. Несколько минут лаборатория напоминала всполошенный муравейник. В кабинет же начальницы зашли гуськом и безо всякой суеты. Собрались все, кроме аспиранта Окурошева и Люси. Николай был послан к Свете Коноваловой, материально ответственной лаборатории, по срочному заданию, а Люсю Ирма Михайловна не без умысла спешно отправила в местную командировку. Люся вновь осталась довольной, решив заодно заскочить в парикмахерскую.

Верходеева говорила с обыкновенным своим выражением на лице: с улыбкою тибетского ламы и змеиной неподвижностью во взоре. Она отдала несколько распоряжений по текущим делам, а на десерт по привычке готовила профилактическую порку.

К ее приятному изумлению и все же притом к мимолетному неудовольствию, порка на этот раз не удалась.

Спросила она, к примеру, Бориса Матвеевича, как поживает его отчет, а тот вдруг раз — выдернул отчет жестом фокусника из своей папочки и подал. При этом он живо осмотрелся по сторонам и остановил боковой взор на Ирме Михайловне.

Верходеева дважды пролистала отчет и пристально посмотрела на Хоружего.

— А кто вам так красиво печатал? — спросила она с медленно возникавшей на ее губах приветливой улыбкой.

— А что... да хоть и жена... Почему бы и нет.

Борис Матвеевич стрелял глазами сразу по двум целям: по Пыреевой и по Оле. Нужно было заметить реакцию обеих. Оля, щурясь, подпиливала под столом ногти и на слова Бориса Матвеевича даже бровью не повела. Ирма Михайловна снисходительно улыбалась.

«Черт их, баб, поймет, — досадливо подумал Борис Матвеевич. — Все равно подбросили они... Кому еще?.. Сами признаются».

Поинтересовалась Ираида Климовна, как обстоят де-

ла у Пыреевой. Дела у нее обстояли как нельзя лучше. Качество записи биотоков мозга шишкохвостого геккона превосходило все мыслимые стандарты института.

— Долго вчера возилась с Люсей, — рассказывала Ирма Михайловна. — С наводкой никак справиться не могли... Но ничего, вывернулись. Хорошая запись, хоть на конгресс в Швейцарию вези.

Ираида Климовна недоверчиво кивнула.

Дошла очередь до Елены Яковлевны Твертыниной, и она тоже смогла похвастаться полным порядком. К ней поступил новый террариум с двумя парами варанчиков, была отпечатана программа текущих экспериментов. Об одном лишь Елена Яковлевна умолчала, но вовсе не из какого-либо расчета, напротив — из совершенной своей непосредственности. Дело в том, что и новый террариум, и готовые бумаги появились утром в комнате Твертыниной как бы сами собой, словно их подбросил некий доброжелатель-инкогнито. Не только с программой экспериментов, но и вообще с их замыслом Твертынина познакомилась сегодня впервые, разобрав обнаруженные на столе бумаги. По правде говоря, варанчики были заказаны давным-давно, больше года тому назад, и Елена Яковлевна успела о них позабыть. Тем не менее утренний сюрприз не вызвал у нее никаких ярких чувств — ни удивления, ни радости. Лаборантка Твертыниной Марина Ермакова, дочка подруги детства, была девушкой очень прилежной и деловой. Елена Яковлевна доверяла ей, как себе самой, и за все старания Марину привыкла даже не благодарить ее, считая все свои хлопоты в равной степени Мариниными. К тому же девушка интересовалась наукой, училась на вечернем отделении педагогического института, и любая работа, по верному мнению Елены Яковлевны, шла ей на пользу. Сейчас Марина была в отпуске, однако ничто не мешало ей тихо помочь Елене Яковлевне в ее делах, особенно в отчетную пору.

Инженер Гуляний также не отстал от коллектива.

Вся требовавшая осмотра или ремонта аппаратура, собранная за квартал на стеллажах его комнаты, сегодня утром вдруг оказалась исправной... Изредка аппаратура, особенно отечественная, приятно удивляла чудесными исцелениями, а потому инженер Гулянин никакой мистики в событии не усмотрел и только был рад возможности выполнить свою главную функцию — доложить начальству об исправности оборудования.

Посланный по срочному делу аспирант Окурошев забежал сначала в буфет перекусить, а затем явился по назначению.

...Накануне под вечер инженер Гулянин по просьбе Светы Коноваловой вывез французский энцефалограф в сарай для списанной аппаратуры. Теперь дело стало за молодым и сильным аспирантом: энцефалограф требовалось разбить.

Света, зайдя в свой кабинет чуть раньше Окурошева, ужаснулась: в комнате густо клубилась пыль, дышать было нечем. За окном месил почву и песок ржавенький экскаватор, там велась работа по плановому благоустройству территории института. Света кинулась к окну и прокричала, перекрывая грохот бездушного механизма:

— Эй, вы там! Сколько ж можно! Вчера вы эту кучу туда навалили! Сегодня — сюда! Вы что, издеваетесь!

Экскаваторщик отвечал добродушной и немного кокетливой улыбкой. Дослушав Свету при шуме, парень опустил ковш и заглушил мотор.

— Зря шумите, девушка, — примирительно обратился он к Свете. — Мне велено, я копаю. Нам тут делать нечего, вот прораб и ищет, чем бы озадачить... На чаек пригласили бы, что ли... На лягушек ваших глянуть...

Света захлопнула окно и отвернулась.

— Меня вот послали, — сообщил аспирант Окурошев, морщась и покашливая.

Света указала на дверь и сердито подтолкнула Окурошева к выходу. Оказавшись в коридоре, оба с минуту переводили дыхание.

— Нахал, — сказала Света по адресу экскаваторщика, в голосе ее слышалось запоздалое кокетство. — Ну ладно... Спортом занимаешься?

Николай пожал плечами:

— Бегал раньше.

— Вот тебе ключ от сарая. Там в правом углу кувалду найдешь. Возьми ее и расколоти быстренько энцефалограф... наш который, французский, списанный. Хорошо? Потом отдашь ключ. Я буду в двести восьмой.

Окурошев, выпучив глаза, смотрел на Свету.

— Ничего себе, он же совсем новый! На нем же почти не работали.

— Ну, мало ли. — Света дернула плечиком. — Списан — и дело с концом. На той неделе еще новее привезут.

— Ломать-то зачем? — недоумевал Окурошев.

— Как это «зачем»? — уже начала сердито изумляться Света. — Списан ведь. Надо расколотить, чтоб не растащили. Казенное же добро. Что ж непонятного?

— Так зачем нам еще один, новый? — опять взялся за свое молодой аспирант. — Этот только-только разработался. Я же с ним возился — отлично «пашет».

— Ну зануда! — охнула Света. — Мало ли что «пашет». У нас ведь дотация. Не представим полной сметы — в следующем году средства срежут, да еще и заклюют. С Ираидой потом скандала не оберешься. Опять непонятно?

— Но ведь можно его кому-нибудь передать. Больнице... куда-нибудь в область, например. Зачем ломать?

— А кто этой передачей заниматься будет?.. Одних бумаг... Нет таких инстанций... Коль, не мучай меня... Давай действуй, все равно больше некому.

Энцефалограф стоял посреди сарая. Жаль его было, словно верного пса, брошенного бессердечными хозяе-

вами. Окурошеву было стыдно и противно заниматься грешным делом, будто попросили его этого обреченного пса пристрелить. Минут пять он страдал и злился на весь мир, на организацию науки в их институте, на свое начальство, наконец, на Свету и только на нее одну — потом снова на весь мир. Он даже решил пойти прямо с кувалдой в руках к Верходеевой и заявить ей, что он думает по поводу такого вандализма. Сам собой возник красивый обличительный монолог, который наверняка бы восстановил справедливость. Теперь Окурошев глядел на аппарат с любовью отважного защитника. Он воодушевился было, но, трезво оценив силу противника и масштабы бюрократической топи, вновь приуныл. Железная ручка кувалды холодила пальцы. Будто бы вместе с этим холодком поднялась в голову жутковатая мысль: а ведь какое варварское, мерзостное и пьянящее наслаждение можно пережить, размахнувшись сплеча да и со всей силы... когда брызнут из-под тяжелой болванки всякие стеклышики, кнопочки... Окурошев ощущал на себе чай-то холодный, колючий взор и судорожно оглядывался...

Вернувшись взглядом к аппарату, он едва не выронил кувалду на ногу: энцефалограф оказался разбитым. Он был так изуродован, как можно было бы это сделать, наехав на него бульдозером. Сил учинить такую расправу у Окурошева никогда бы не хватило, колоти он по несчастному прибору хоть неделю напролет.

Ладонь Окурошева вспотела, и кувалда все-таки выскользнула, однако упала не на ногу, а рядом.

Очнулся аспирант Окурошев только в двести восьмой комнате от нежного голоса Светы:

— Как, уже? Вот и молодец... А еще философию тут разводил. Дела-то раз плюнуть, на пять минут. Ладно, сейчас отрежем тебе тортика и чайку нальем. За работу... Кувалду-то зачем принес? Отнеси обратно. И краску с нее сбей.

Окурошев едва понимал обращенную к нему ласко-

вую речь, но, услышав про краску, вздрогнул и поднял кувалду к глазам: было кувалды облепили кусочки краски, некогда покрывавшей корпус импортного аппарата.

На следующее утро Бориса Матвеевича ждал новый сюрприз: отпечатанные тексты двух статей, одной — для «Физиологического журнала», другой — для «Журнала высшей нервной деятельности». Казалось, покровитель инкогнито обладает недюжинным талантом чтения мыслей на расстоянии: ужиная накануне, Борис Матвеевич вспомнил мимолетом о своих творческих замыслах и помечтал о паре публикаций, коими он давненько не баловался. После ужина Борис Матвеевич перенес оставшиеся мечты на утро и включил телевизор: начинался мировой чемпионат по футболу.

Ночь миновала — и мечта Бориса Матвеевича втихомолку стала явью. Готовые к публикации статьи объявились к приходу автора посреди его рабочего стола. Борис Матвеевич принял новый подарок безо всякого испуга, почти в порядке вещей. Удивление было ничтожным, какое может случиться, к примеру, при находке в почтовом ящике чужого письма, попавшего туда по ошибке почтальона. Борис Матвеевич удобно устроился в кресле и за пять минут обдумал все возможные решения загадки.

Это явление, а именно — спокойная реакция на чудеса, зачастившие в институте, — требует особого разговора. Все свидетели чудес, с которыми удалось встретиться и поговорить автору этих строк, искренне изумлялись своей тогдашней невозмутимости... Поначалу случались и удивление, и недоумение, и бессонные ночи, и порой едва не обмороки... Но однажды всякое удивление кончалось... Иногда дома на несколько минут или по пути на работу возвращалась легкая растерянность, но стоило шагнуть на порог института, как душевное равновесие мгновенно восстанавливалось. По крайней

мере — до окончания рабочего дня... Всех охватило прямо-таки болезненное легкомыслие. Любому слушаю сразу находилось какое-нибудь оправдание, а многие события просто игнорировались. Даже самые невероятные случаи не удостаивались никакого серьезного чувства или размышления, как в обычной жизни может происходить разве что во сне. Что было причиной этому всеобщему настроению: некая защитная психологическая реакция или таинственное гипнотическое влияние? Опрошенные пожимали плечами, разводили руками, улыбались недоуменно, а то и виновато. Гипноз признавать отказывались, по всему видно, опасались за свой рассудок, а с гипотезой о защитной реакции соглашались сразу, даже чересчур ретиво, не задумываясь, — и притом с облегчением вздохали...

Итак, Борис Матвеевич уселся в кресло и спокойно обдумал свое положение. Во главу угла, конечно же, было поставлено подозрение о происках Ирмы Михайловны Пыреевой. Однако об этом Хоружий долго не размышлял. «Свои люди — сочтемся», — решил он. Вторая мысль заставила Бориса Матвеевича нахмуриться. Он подумал вдруг о хитроумной затее иностранной разведки. Однако рассуждения о том, с какой целью ЦРУ мог понадобиться заурядный советский специалист по обонянию черепах, ни разу не выезжавший за границу, скоро зашли в полный тупик. Борис Матвеевич легко усмехнулся и принялся за третий вариант разгадки: проведение в их институте некоего официального, но негласного психологического эксперимента. Борис Матвеевич допустил такую разгадку — и на этом все размышления прекратил. «Семь бед — один ответ, — решил он. — Рассуждать нечего. Только запутаешься. Будь что будет... Напечатаю в журналах — кто докажет, что не *мое?* Хуже им будет... Пыреева ахнет. Тоже мне — шутки нашли». Никакой трагическойвязки Борис Матвеевич не предчувствовал: среди охваченных странным недугом легкомыслия он оказался одним из

первых. В эту роковую минуту Бориса Матвеевича, а вскоре за ним следом — и многих других, казалось бы, разумных и культурных людей неумолимо затянуло в водоворот пренебрежения здравым смыслом...

С того дня Борис Матвеевич встал на полное довольствие своего покровителя. Только однажды, полмесяца спустя, поговорив с Мариной Ермаковой, вздумал он «набросать» в свою отчетную тетрадь кое-какие идеи. Однако в его перьевою ручке вдруг кончились чернила, а взятый взамен ее карандаш тут же сломался. Борис Матвеевич в сердцах смахнул тетрадь в ящик стола, а когда в конце недели вспомнил о ней, забота оказалась уже излишней: страничка была заполнена почерком самого Бориса Матвеевича...

Статьи пришлись ему по душе. В подробности он, конечно, не вникал: пробежал глазами резюме, глянул, сколько приведено в конце источников и все ли указаны его собственные. Замечаний не возникло. Борис Матвеевич разложил статьи рядом на столе и несколько минут ими любовался.

Ирма Михайловна же сидела в это время за своим столом и курила. Сигаретный дым привычной струйкой поднимался перед ее глазами... Подарок ей достался такой же, как и Хоружему: две готовые статьи. И мысли по поводу этого таинственного подношения пришли ей в голову похожие. Был, правда, один редкий оттенок в ее размышлениях — женское, более суеверное, сердце тревожилось-таки почти забытым с далекого детства страхом темноты.

Чтобы хоть как-то отвлечься от сумрачных мыслей, Ирма Михайловна решила навестить своего аспиранта.

Затихнув в своем уголке, аспирант Окурошев занимался статистической обработкой результатов последних экспериментов. Спиной ощущив появление Ирмы Михайловны, он еще ниже пригнулся к столу, а локти выставил в стороны.

— Коля, как твои дела? — Ирма Михайловна подо-

шла к аспиранту вплотную и уперлась взглядом в его затылок.

— Ничего, двигаются, — не отворачиваясь от калькулятора, медленно ответил Окурошев.

— Главу о методиках ты подготовил? Мы же договаривались на сегодня, — почти вкрадчиво сказала Ирма Михайловна.

— Как «договаривались»?! — испуганно встрепенулся Окурошев. — Еще чего! И разговора даже не было!

Невольно он стал шептать всякие цифры, всем своим видом показывая, что боится сбиться со счета.

Ирма Михайловна, впрочем, вдруг сама принялась ворошить бумаги Окурошева, сложенные на краю стола. В руки ей вскоре попалась стопочка листов, скрепленных скрепкой.

— А, вот она и есть! — в бесчувственном голосе ее все же проскользнуло легкое изумление. — Так... Все сделано прекрасно. Молодец. Сам печатал?

Аспирант Окурошев машинально кивал, рассеянно слушал монотонный голос Ирмы Михайловны, и только прямой вопрос заставил его опомниться и похолодеть. «Что печатал? Какая глава? Откуда? — лихорадочно запрыгало у него в голове. — Откуда она ее взяла?» Он едва не отверг с пылом свою причастность к бумагам, которые перелистывала Ирма Михайловна, но вспомнил: ведь он только что утвердительно кивал и даже на вопрос вроде бы успел по инерции кивнуть. Окурошев сник, пробормотал невнятно о помощи сестры — и совсем потерялся.

— Можно считать, что глава готова набело, — все таким же отрешенным тоном сообщила Ирма Михайловна.

Окурошев забыл о своих вычислениях. Он ума не мог приложить, откуда эта глава взялась. Кое- какие черновики, конечно, имелись, но о готовом материале он еще и не мечтал: то писал статью, то обрабатывал данные...

«Что за чертовщина! — волновался, не показывая

вида, Окурошев. — Склероз, что ли... Когда я успел ее сделать?.. Ну вот, допрыгался. Пора в психушку».

Ему отчаянно не терпелось изучить таинственную главу. Он стал пристально разглядывать снизу тыльную сторону бумаг и едва удержался от того, чтобы не потрогать их... Ирма Михайловна же, как нарочно, все изучала их со странной безучастностью на лице, и не ясно было, то ли она в самом деле интересуется текстом, то ли уже забылась и размышляет теперь о чем-то своем.

Внезапно она выглянула из-за бумаг и поймала раздраженный взгляд своего аспиранта. Тот затаил дыхание.

— Давно ты подготовил главу? — спросила Ирма Михайловна с тонкою улыбкой.

Мышеловка захлопнулась. Мурашки пробежали по спине аспиранта Окурошева.

— Вчера... вечером, — пролепетал он, опуская глаза.

— Хорошо. К понедельнику, пожалуйста, напиши «Обсуждение»... Не буду тебе больше мешать. Работай. — Она мягко положила главу о методиках на стол перед Окурошевым и вышла, беззвучно закрыв за собой дверь.

Невольно отстранившись от стола, Окурошев просидел несколько минут, едва веря своим глазам. Первая же страница убеждала, что глава и отменно написана, и безупречно отпечатана. Мысль о том, что кто-то другой мог написать ее и подбросить, даже не появлялась: устроить такой розыгрыш было некому, разве что самой Пыреевой, но такое уж ни в какие ворота не лезло!

Пришел на ум разбитый энцефалограф. Вечером накануне Окурошев успокоил-таки себя сносным объяснением, без мистики и всякого гипноза. Аппарат, по всей видимости, успели расколотить всякие любители радио- и электромонтажного дела. Николай предположил, что, явившись по заданию в сарай, он в первое мгновение не заметил поломки.

Теперь таинственное появление главы вдруг связалось в памяти со странной иллюзией, и вот Окурошев вновь почувствовал нехорошую тревогу, какую можно испытать, попав в незнакомое темное помещение с шорхами по углам... Появилось назойливое стремление обернуться, а вместе с ним — боязнь это сделать. Вновь ощущался сзади жесткий, колючий взгляд. Наконец Окурошев пересилил себя: позади никого не оказалось, дверь же минутою раньше была плотно закрыта Ирмой Михайловной.

II

На следующей неделе невероятные события лавиной обрушились на институт.

В понедельник утром Борис Матвеевич обнаружил на своем рабочем столе толстую книгу, еще отдававшую резким типографским запахом. Сверкающими, золотистыми буквами по синему переплету было вытиснено: «ОЧЕРКИ ОБ АНАЛИЗАТОРЕ ОБОНИЯНИЯ ЧЕРЕПАХ»

А выше, чуть мельче: *Б. М. Хоружий*
И никаких соавторов!

Знак издательства, цена, фамилии рецензентов — все занимало свои законные места. Борис Матвеевич любовно погладил приятный на ощупь переплет и, глянув тираж, досадливо цокнул языком: количество не удовлетворяло.

В этот миг распахнулась дверь и на пороге появилась Ираида Климовна Верходеева. Она долго, почти поприятельски, поздравляла Хоружего и мягко пожурила его за недостатки монографии, о которых уже имела полное представление.

Замечено, что с начала необыкновенной недели и до самой развязки иначе, как в роли поздравителя, никто Ираиду Климовну больше не встречал... Часто она оказывалась первым вестником, доносившим до очередного

счастливца какую-то приятную новость. Ее появления стали и неожиданными, и в то же время радостно ожидаемыми, как появление Деда Мороза на детском новогоднем празднике.

Утром в среду стал кандидатом наук аспирант Окурошев, в четверг — Люся Артыкова, а в пятницу оказалась профессором Ирма Михайловна Пыреева. Никто свалившимся с неба титулам не удивился, да и не особо обрадовался. Все казалось в порядке вещей... Подобные настроения, вероятно, случались когда-то в наспех собранных дворах новоиспеченных монархов: графы, князья, маршалы и ордена плодились, будто грибы на сырому пне, безо всякого живого изумления как в государстве, так и среди самих избранных...

Инженер Гулянин ходил в передовиках и попал на Доску почета, которая разрослась в холле института до размеров крепостной стены.

Елена Яковлевна Твертынина превратилась в блестящего экспериментатора, о которой заговорили в зарубежных научных журналах.

Младшие научные сотрудники Клебанов и Мясников также стали кандидатами наук, и отныне лаборатория Верходеевой, первой в институте достигшая столь блестящих успехов, получила прозвище «офицерского полка».

Если сравнить наваждение, напавшее на НИИФЗЕП с инфекционной болезнью, эпидемией, то весь срок, предшествовавший защитам диссертаций, можно определить как начальный, инкубационный период заболевания, когда организм уже нашпигован вирусом, но явных, видимых, признаков заболевания еще нет.

Именно в день защиты кандидатской диссертации Окурошева началась новая фаза, когда счастливым потребителям научных благ впервые открылся их источник.

Пока Николай Окурошев отговаривал на трибуне свою двадцатиминутную речь и водил указкой по таблицам и графикам, развешанным вокруг трибуны, Борис

Матвеевич Хоружий тихо вышел из конференц-зала: покурить на лестнице. Свои сигареты он забыл дома, и его угостил проходивший по коридору старший научный сотрудник Балкин.

Едва табак дотягнул до пальцев и Борис Матвеевич, кинув окурок в урну, собрался вернуться в зал, как этажом выше раздались быстрые и гулкие шаги.

Спустя несколько секунд мимо Бориса Матвеевича с мягкой волною прохладного воздуха по-кошачьи легко промелькнул вниз странно одетый незнакомец. Борис Матвеевич посмотрел ему вдогонку и странность его одежды отметил почти неосознанно, не представляя себе, в чем же она состоит. Вероятно, он и вовсе не сумел бы объяснить ее, скройся незнакомец из виду. Однако на площадке между этажами тот вдруг остановился и, повернувшись к Борису Матвеевичу, спросил глубоким, слегка звенящим и необыкновенно чужим голосом:

— Старик, табачку не найдется?

Жесткий колючий взгляд незнакомца придавил Хоружего к стене.

— А?.. — опешил Борис Матвеевич и стал судорожно шарить по карманам, а пока шарил, разглядел незнакомца пристальней.

На вид ему можно было бы дать что-то около тридцати. Одет он был в серо-голубое длиннополое пальто... даже не пальто, а кафтан с подбоем из короткого темного меха. Широкие, синие, без складок брюки были заправлены в... сверкающие белые сапоги с острыми, чуть загнутыми вверх носками. Эти сапоги и обращение «старик» более всего тяжело и тревожно поразили Бориса Матвеевича. Незнакомец был высок, широк в плечах, хотя при этом и довольно худощав. Лицом он был красив и очень свеж, будто только что вошел с морозца; волосами черен и немного курчав. Чуть раскосые глаза его и резкие скулы выдавали в нем примесь азиатских кровей. Нос он имел прямой и тонкий, с узкими, чуть вывороченными в стороны ноздрями. Рот незнакомца

Борис Матвеевич словно бы вовсе не различал, как ни приглядывался, — и вспомнил наконец, что сигареты искать без толку.

— А... о... — жалобно протянул он. — Забыл... Вот... угостили самого...

Скрытые, как бы волнистые губы незнакомца мягко раздвинулись в улыбке, такой же сверкающей, как и его роскошные сапоги.

— Гляди, стариk. Носи табак впредь. Не то на весь век останешься должником. — Он даже рассмеялся, но совершенно беззвучно; кажется, смех терялся очень глубоко в груди его... и, отвернувшись от Бориса Матвеевича, скользнул вниз.

Борис Матвеевич был окончательно сбит с толку. «Кино, что ли снимают? — пришло ему в голову. — Да какое ж у нас кино! Глупость какая-то...»

В растерянности он вернулся на свое место в последнем ряду и, уже не слыша выступления, долгое время просидел размышляя, кому полагается носить столь необычную рабочую одежду...

Междуд тем, двумя рядами ближе к сцене, на крайнем у стены кресле вздрогнула Елена Яковлевна Твертынина, и ей уже начинал сниться премерзостный сон.

Во сне она представилась себе не то княгиней, не то боярыней, сидела смироно, без дела в просторном рубленом помещении с маленькими оконцами и томилась гнетущим предчувствием скорой роковой встречи. Ожидание длилось изнурительно долго, как это бывает в тягостных снах.

Наконец откуда-то сбоку, из неприметного хода, выскользнул перед Еленой Яковлевной импозантный худощавый брюнет в серо-голубом кафтане и ярких белых сапогах. Следом за ним в сумрачном пространстве появился второй, но близко не подошел, остался поодаль, у стены — здоровенный заросший малый с покатыми плечами и широкой ухмылкой. Он встал, лениво прива-



лившись к стене, и то ли бормотал что-то себе в бороду, то ли хмельно подсмеивался.

Брюнет замер перед Еленой Яковлевной и пристально посмотрел ей в глаза. Лицо его как бы плыло — и только зрачки оставались на месте, словно шляпки вбитых гвоздей.

— Пойдешь сегодня со своими девками в монастырь, — сказал он. Голос его донесся будто издалека, но очень отчетливо. — Останешься там на ночь. Ночью откроешь нам потайные двери. Покажу. Уйдешь по оврагу.

Верзила у стены тряс бородой, посмеивался.

— А зачем в монастырь? Не надо... — то ли подумала про себя, то ли проговорила робко Елена Яковлевна.

— Не твое дело, — отsek брюнет.

Елена Яковлевна как бы опомнилась и подумала о своих княжеских правах, о власти некоторой и о гордости — кто, мол, такой тут явился без позволения, да еще требует участия в разбое.

Брюнет, видно, заранее предчувствовал приступ неповиновения. Лицо его вдруг застыло, строго очертилось в сонном видении и словно застекленело в своей неживой правильности и красоте: только губы его все струились и скользили в глубокой, скрытой улыбке. Он поднял руку в ездовой черной перчатке, расшитой тонкой серебристой тесьмой, и так же медленно сжал перед глазами Елены Яковлевны тонкие свои пальцы в кулак. Елене Яковлевне стало тяжело дышать.

— Коротка же твоя память, карга старая, — спокойно сказал он. — Скоро забыла благодетеля. Ну, вспоминай живо, кто тебя да всю твою дворовую сволочь из грязи выволок да позволил в масле кататься. Вспоминай, кем была ты зимой... Ты и твой холуй.

Он отбросил руку в сторону и ткнул перстом в Бориса Матвеевича, вдруг объявившегося в хоромах: во сне он представился Елене Яковлевне ее законным мужем.

Борис Магвеевич вмяк под перстом в стену... Нагайка закачалась на руке брюнета, как висельная петля.

— Кем была ты? Побирушкой. Ну же, вспоминай. Мне ждать не время. Платить пора за стол да за службу нашу... Пора. Поедешь в монастырь и все, как велю, сделаешь. Не то к утру спалю весь посад. Будут жилы трещать...

Брюнет говорил негромко и даже незлобиво, но от неестественной отчетливости и отрывистости его голоса сыпалась сверху на голову мелкая щепа, трескалась и слоилась оконная слюда — и невыносимо хотелось проснуться.

— А может, не стоит монастырь-то, — опять осмелилась подать голос Елена Яковлевна. — Вон купцов много. Взять у них...

— Не твое дело, — отрезал брюнет. — Завтра, глядишь, захочу купцов. А ныне монастырь нужен.

И он выскользнул вон. Следом за ним вывалился с дурным смехом верзила, а на прощание еще и подло подмигнул, тряхнув космами.

— Напужал, напужал, — прокатился уж издалека, из-за стен его веселый, гогочущий бас.

Как убрались недобрые гости, так закружилась перед Еленой Яковлевной карусель всяких лиц, шепотков, возгласов, смешков, советов, колкостей. Сон путался, замельтешил мутной неразберихой. Чаще остальных высакивало перед Еленой Яковлевной из этой карусели лицо Ирмы Михайловны Пыреевой, выражавшее сочувствие и заботу. Во сне Пыреева оказалась старшей боярской или княжеской дочкой.

— О выборе не может быть и речи, — деловито уверяла Пыреева свою «матушку». — Ситуация совершенно ясна. Здесь он посад спалил. Обещал, так сделает — ты его видела, какой он. Народу порежет достаточно, нас не пожалеет, а то и первыми прикончит. А в монастыре кто с ним драться полезет? С девчонками развлекутся немного. Безделушек золотых прихватят

с собой. Монахини и без них замечательно проживут. Что им сделается — они же верующие. Все это — несущественные мелочи. Иконостас, разумеется, разграбят: иконы нынче дорого идут. Ну так что же, мало ли всяких спекулянтов? Зато ведь никакого существенного грабежа, посуди сама... И наверняка обойдется без убийства. Да и нас не тронут. Нечего выбирать, сейчас же и поедем, я первая поеду.

Мелькали лица Клебанова, Мясницкого, Артыковой, Коноваловой, родственников и челяди; все кивали, поддакивали, соглашались. Выпучив глаза и точно омертвев от бешеної карусельной гонки, проносился мимо Борис Матвеевич; он, кажется, отчаянно порывался крикнуть что-то, но не успевал: карусель всякий раз увлекала его прочь, да и сама Елена Яковлевна будто ускоряла ее, потому как замечать Бориса Матвеевича было ей противно. Очень хотелось увидеть Марину, то ли внучку, то ли внучатую племянницу, но та все никак в этом невообразимом потоке не появлялась. Наконец коловоротение вызвало тошноту и с тем резко оборвалось.

Тьма перемежевывалась со светлыми сполохами... Потом послышался треск, гул, а в нем — пронзительные крики и визги... Елену Яковлевну охватил ужас. Снилась ей ночь, снился сырой песчаный берег и огромное зарево, багровой широкой дорогой отражавшееся в медленной реке. На холме пыпал во все небо монастырь. С натужным ревом рвались вверх языки ярого пламени. Рассыпалась фейерверком дранка. Скелет колокольни угольным зыбким узором прорисовывался в огне. Раскаленным малиновым блеском наливались купола. Огонь стоял над стенами сплошной пирамидой; воздух в безветрии был невыносимо напряжен, колыхался тяжелым теплом и гарью. Как ни силилась, все никак не могла она отвернуться и бежать от жуткого зрелища, точно связали ее по рукам и ногам.

И вот уже почудился ей на месте монастыря ее род-

ной институт физиологии пресмыкающихся. Пламя охватило все корпуса, фонтанами было из окон, трескались и обваливались бетонные стены. Всеобщее разрушение было неминуемо. Вспомнились вдруг несчастные варанчики, забытые в своих террариумах, оставленные в самой глубине клокочущего пекла. Смертельная жалость захлестнула сердце Елены Яковлевны, и она кинулась мимо заграждений и пожарных в самое пламя...

Очнувшись, Елена Яковлевна долго не могла шелохнуться. Гул пожара еще стоял в ушах... Елена Яковлевна перевела дух. «Ну и приснится же!» — усмехнулась она через силу, с трудом приглядываясь к трибуне, где о чем-то робко и тихо рассказывал аспирант Окурошев.

Когда он подходил к выводам своей работы, ниже этажом вышла из своего кабинета Света Коновалова, и едва она шагнула в коридор, как на нее надвинулась вдруг огромная тень, и тугой голос человека, несущего тяжелый груз, заставил ее вздрогнуть и отшатнуться:

— Девка! Посторонись! Зашибем!

Света приникла к стене. Мимо нее широким напряженным шагом прошли двое крепких бородатых мужчин с большими тюками на плечах.

Света так растерялась, что даже толком не успела заметить, куда делись двое с тюками: то ли подались на выход, то ли — направо, к лестнице. Однако остался в душе неприятный осадок: смутное, тревожное воспоминание о каком-то подвохе... В чем был подвох: в одежде ли незнакомцев, в интонации ли голоса, — никак не вспоминалось...

Наконец Света вспомнила, что оба незнакомца звонко скрипели начищенными до вороненого блеска сапогами.

— Извините, вы тут двоих таких, плечистых, с тюками, не заметили? — спросила она у пожилой вахтерши.

— Нет, не видала... Мало ли ходят, — безо всякого интереса ответила та.

— Но вы то, наверно, помните, хотя бы примерно, кого сегодня пропустили?

— А кто фотку показал, — так вахтерша называла пропуск, — того и пропустила. Мне-то что? Я им в глаза не смотрю.

Сонное равнодушие вахтерши сразу облегчило душу Светы Коноваловой. Она и сама невольно зевнула. «И действительно, мало ли... — отмахнулась она от смутной тревоги. — Ну, рабочие какие-нибудь... Пижоны. Что ж такого — ну, чистят сапоги... Теперь же все, эти — панки... А что злые — так от тяжести, наверно».

Николай Окурошев в эту минуту кончил свое выступление и слабо удивился тому, что совсем не волнуется и вообще ему наплевать, что с ним теперь будет. Ему стали задавать вопросы... Потом он спустился со сцены и, сидя в первом ряду, выслушал речи оппонентов и своего руководителя. Что-то они ругали, что-то хвалили, но Николая потянуло в сон: он понял, что самое страшное уже позади и все происходящее вокруг уже не имеет никакого значения.

Он едва вспомнил о последнем акте ритуала: надо опять подняться на трибуну и всех-всех по очереди поблагодарить... Он лихорадочно стал вспоминать имена, отчества, и, когда председатель совета дал ему слово, рывком вскочил с места...

Видно, кровь при рывке резко отлила от головы — в глазах Окурошева потемнело вдруг, и он ощущил, что пол уходит у него из-под ног. Он невольно махнул рукой, пытаясь ухватиться за подлокотник.

Сцена с трибуной, развешанные на стене плакаты, члены ученого совета, плафоны над головой — все взвилось винтом перед его глазами. На миг он потерял чувство верха и низа...

И вдруг в этом пустом и кромешном пространстве пальцы наткнулись на какую-то узкую и скользкую, но устойчивую опору. Будто в полуслне Николай крепко ухватился за нее. А в плечо его до боли вцепилась

огромная ручища и поволокла куда-то вверх. Николай сразу успокоился и обвис. Под ним тихо захрустело, и он опустился на мягкое.

— Эк, валится, — раздался сверху голос: будто пустые ведра загремели. — Чудной. Навродь не пил, а валится.

— Не ори, — стрельнул со стороны другой голос, негромкий, но жесткий.

Темень кругом стояла беспросветная. Николай сидел, привалившись боком к какому-то поручню, боялся дохнуть и шелохнуться и только бестолково крутил головой. Запах в нос бил резкий, но очень приятный: тянуло ночной луговой сыростью; к нему примешивались волны запаха животного — и вот Николай уловил на слух близкое лошадиное пофыркивание. Глаза начали привыкать к темноте: не далее чем в трех шагах, обозначились конские силуэты, а возле них — тени двух неподвижно стоящих людей. Николай пристальней взгляделся в темноту. Показалось ему, что и вправду очутился он посреди широкого луга. С одной стороны луг ограничивала совсем черная полоса, похожая на далекий лес, а с другой — луг сливался с непогожим ночным небом. Скользкий поручень, за который Николай все еще невольно держался рукой, оказался бортом телеги, а мягкая опора — постеленной на дно соломой.

— Щукин. Растолкуй, — снова лязгнул жесткий, повелительной отчетливости голос.

Возле Николая шумно зашуршила соломой, задвигалась огромная какая-то туша; вместе с ней и телега пошевелилась, хрустнула раз-другой колесами.

— Глядь сюда, — тихо звякнули почти над самой головой ведра.

Николай робко повернулся на голос. Около него еще немного повозились — и вдруг снизу поднялся желтоватый свет: под рогожей на дне телеги скрывался маленький мутный фонарь с чадящим язычком пламени внутри.

Он прояснил тьму над телегой и вокруг не более чем на три шага.

Николай искоса глянул на тех, что стояли с конями. Оба почти по пояс скрывались в густой влажной траве. Один из них был худощав, стоял в профиль к Николаю совершенно неподвижно, точно восковой, всматриваясь куда-то в сторону леса. Лицо его, скрытое тенью конского крупра, различалось слабо. Голова второго была и вовсе загорожена, однако конь, стоявший перед ним, вдруг подался назад и мотнул головой, открыв его на мгновение... Не поверив себе, Николай уловил знакомые черты инженера Гулянина.

— Будя ворон считать. — Огромная ручища нагло подхватила Николая за подбородок и повернула в свою сторону.

Прямо перед его глазами, чуть ли не вплотную, возникла широченная заросшая физиономия. Торчащие в стороны русые лохмы и прямая лопата бороды светились над фонарем сквозным соломенным блеском. Глаза лешака блестели открыто и ясно, но как-то нехорошо, водянисто, насмешливо и корыстно высматривая что-то во взгляде Николая. Нос сидел в усах смешной картошкой, а под ним размахнулась широченная примирительная ухмылка. Концы усов шевельнулись в стороны, и Николай подался назад, ощущив дух старого перегара и огуречной закуски. Физиономия ухмылялась по-приятельски, гниловатые зубы торчали под усами, усы ворочались и топоршились — по всему видно было, что физиономия старается войти в доверие.

— Щукин, чего цацкаешься? — отрывисто, почти гортанно окрикнул худощавый.

Лохматый детина набросил на фонарь рогожку, и разом захлопнулся сверху чернильный мрак.

— Ну, глаза попривыкли?.. Проморгайся, — заговорил детина, одыхивая лицо Николая влажной тяжелой теплотой. — Гляди к лесу. Там сторожка стоит... Ну, так и не видать ее. Мы щас склонимся за речкой. —

Он махнул рукой куда-то в луговую тьму, в сторону, противную лесу. — Тихо засядем. И ты тихо тут сиди. Как от сторожки поскакет кто к реке, так и вовсе нишкни. Тебя не приметят. А только заслышишь скак, сразу дай нам знать. Такой вот знак дашь. — Он приподнял рогожку одной рукой, а другой — фонарь: вихрем скакнули кругом тени. — Живо поднял, нам посветил, но смотри, чтоб от лесу не видать было, как светишь: держи рогожку пошире, прикрывай. Посветил — и опускай сразу. А как мимо пропустишь, послушай, много ль их будет. Ежели не один поедет, а более, снова подними огонь — и опускай сразу. За спинами их останешься — опять же приметить не должны. Уразумел?

Николай пребывал как бы в легком оглушении. Он кивнул рассеянно, а потом еще и плечами пожал.

— А кто поедет? — спросил он, сам не заметив своего вопроса.

— Оченно хороший один человек, — легонько причмокивая и прихихикивая, сообщил детина. — Оченно нздравится он нам. Желааем потолковать с ним по душам.

— Ты горазд языком молоть, — осек его худощавый. — Хомка — грязь, продаст за понюшку. Станет княжий сапог слюнявить... Откупимся сами.

— Ага-а, — протянул детина.

Николай понимал плохо, долго доходило до него, что сводят счеты с каким-то ненадежным дружком.

— Холуй! — вскрикнул вдруг худощавый: звук его голоса раздался так, будто топор с глухим хрустом воткнулся в сухое полено. — Как коней держишь!

Фигура того, в ком Николай признал инженера Гулянина, будто бы наполовину вросла в землю.

— Пора. Тронули, — отчеканил худощавый и, мягко, беззвучно выскочив из травы, вмиг оказался в седле.

Что-то светлое мелькнуло в темноте. Николай пригляделся: на ногах худощавого сверкали во мраке, как гнилушки, белые роскошные сапоги.

Он тронул коня, отошел на несколько шагов и вновь, но мягче, прикрикнул на инженера Гулянина:

— Не мешай!

Теперь Николай уже не сомневался: перед ним беспомощно и потерянно копошился у седла именно инженер Гулянин. То он все будто прятался от Николая за конями, а сейчас неловко и смешно отворачивался и пригибался, но еще явно надеялся, что Николай не признал его.

— Щукин. Пособи, — потребовал худощавый. — И сам не тяни.

Детина уже вылезал из телеги, покряхтывая, посмеиваясь. Телега трещала и раскачивалась под ним, будто лодка на круtyх волнах. Он ухнулся в траву и зашумел ею, будто водою.

— Э-эх. Пигалица. — Он легко приподнял инженера Гулянина за шиворот и за штаны — и пристроил, точно куклу, в седле. — Держись. Слетишь по дороге — до утра в траве не отыщем... Ух! — Он взгромоздился на своего коня, и тот, бедный, даже припал на задние ноги.

— Дрянь-людишки, — тускло усмехнулся худощавый. — В седле не держатся. Трясутся, как сукины дети. Ни на что не годятся. Возиться с ними — убыток один. Не сунусь больше.

Он повернулся было отъезжать, но что-то удерживало его, конь замер — и Николай почувствовал на себе жесткий колющий взгляд. Лицо худощавого никак не различалось в темноте, но Николай ясно видел неким внутренним увеличительным взором, открывшимся, должно быть, от страха, как сузились зрачки, пристально его изучавшие, и неуловимая, волнистая улыбка скользнула по губам, и тонкие ноздри едва колыхнулись от скоро угасшего гнева.

— Что смотришь? Не нравится? Потерпишь. Куда денешься? Некуда тебе теперь деваться. Продан уж. Холоп. Ты уже наш. Раздумывать надо было раньше. — Худощавый говорил негромко и будто нарочно смягчая

себя, но в голосе слышалась холодная и беспощадная власть, и от металлической отчетливости голоса жутко делалось на душе. — А теперь молчи. Никуда не денешься. Нашу-то службу принимал. Так пора отплачивать за нее, пора вернуть долгок. Не вздумай предупредить этого, кого ждем. Он — лютый. Только тебя заслышишт — слово не даст сказать, порубит в капусту. Из наших он. Старик. А не посветиши — пропадай тут. Околеешь, как кутенок. А у нас по ту сторону дороги еще один сидит такой же... доносчик. Он посветит, коль ты скурвишься. А и оба скurvитесь — все равно наш будет. Не уйдет. Но гляди. Сам свою шкуру береги и выручай. И помни: никуда не денешься.

Николая едва не мutilо, его влекло зарыться с головой в солому.

— Ну, пуганул молодца, — похочатывая, проговорил дружелюбно детина. — Не бойся, барич. Сиди себе. Огоньком поиграешь — и будет. А коченеть начнешь — там тебе зипунок прибережен, накрайся им. И хлебец там, под зипунком. И сиди себе целехонько, барином.

Рядом будто пролетела невидимая ночная птица, только перья крыльев ее стремительно и чуть слышно свистнули на взмахе, и прохладный воздух мягко колыхнулся волною. Николай весь омертвел: то не птица пронеслась мимо, а смеялся худощавый.

— А что баричем назвал его? — заговорил он безо всяких чувств в голосе — только очень веско и отчетливо. — Он же из холопов. У него прабабка в крепости ходила... Ну, тронули. — И он пустил коня вскачь.

Остальные потянулись за ним. Зашуршала, засвистела мокро луговая трава, но звук этот вмиг оборвался — и донесся гулкий перебор копыт: дорога оказалась совсем близко, метров в двадцати от оставленной на лугу телеги. Топот стал удаляться, потом едва послышался далекий плеск — кони пошли бродом. И наконец все затихло.

Николай остался один, совсем один в безмолвном и сумрачном мире.

Что ему тогда передумалось, что лезло в голову кандидату биологических наук Николаю Окурошеву в том его нелепом и невероятном положении, потом и не вспоминалось вовсе — забылось, как горячечный бред. И знобило его, хоть накрылся он с головой добротным и просторным зипуном, и едва не тошило его от мутного сознания своей сонной беспомощности. И когда услышал он далекий топот от леса, то ощутил даже какое-то болезненное облегчение.

Он сделал все, как было велено: и притаился... и посветил, пытаясь уловить отблеск фонаря своего напарника по ту сторону дороги. Огня он не заметил, спрятал свой фонарь и свернулся калачиком на соломе. Совесть не мучила.

«А что же дальше?» — взволновала вдруг нехорошая навязчивая мысль... Наконец проклонулся некоторый замысел: отыскать напарника, брата по несчастью, если тот был не плодом корыстной лжи худошавого, а потом уж вдвоем как-нибудь обрести точку опоры во всем этом ночном ералаше.

Покидать телегу ох как не хотелось. Как лодку посреди моря. Наконец Николай решился и стал было спускаться вниз, как вдруг соскользнул с борта коленом и стал падать боком с телеги. Мрак завихрился перед глазами винтом. Руки скользнули в пустоту...

В глаза ослепительно ударил со всех сторон белый, неестественный свет... Кто-то подхватил Николая под локоть и помог опуститься на какое-то сиденье.

— Наш диссертант, кажется, переволновался, — раздался рядом чей-то нарочито веселый голос.

— Может, нашатырь принести? — послышался другой, Ирмы Михайловны.

Николай Окурошев заставил себя раскрыть глаза.

Все улыбались во главе с председателем ученого совета.

— Спасибо, не нужно, — поспешил ответить Николай и вышел на сцену: благодарить.

Говорил он одно, а думал о другом: «Странный сон... Жуть какая-то... Доконала меня аспирантура...»

В микрофоне что-то шипело и потрескивало. Этот звук напомнил Николаю хруст соломы, и его передернуло.

Защита кандидатской диссертации Окурошева прошла успешно. Черных шаров не было.

На следующее утро Николай, проснувшись, подумал о прожитом дне. Защита диссертации и странное видение смешались в одно смутное, тревожное воспоминание, от которого хотелось отмахнуться: «Пронесло — и ладно».

До конца недели Николай жил в новом звании легко и радостно... Но в ночь с пятницы на субботу его поднял на ноги назойливый дребезг телефона.

Растеряв по дороге тапочки, пересчитав углы и косяки, Николай вывалился в коридор и едва не сшиб аппарат с фигурной подставки. Только взволнованный голос Марины Ермаковой привел его в сознание.

— Коля, я в институте... Я осталась на суточный эксперимент. — Она старалась говорить медленно и очень отчетливо, понимая, что обращается к человеку сонному и плохо разумеющему, но вскоре сбилась, слова ее заскакали в испуганном лепете. — Здесь кто-то есть... Коля... Приезжай... Извини... Без тебя нельзя.

— Подожди... Объясни толком. Не понимаю, — пробормотал Николай, спросонок опершись лбом о стену.

— Я только начала работать, как вдруг кто-то заперся в комнате и ходит там, — немного совладав с волнением, сообщила Марина. — И ворочает там все... Мне страшно. Я не знаю, кто это... Приезжай, Коля.

— Ты дежурного вызвала? — спросил Николай.

— Вызвала... — чуть помедлив, ответила Марина. —

Но ты нужен. Извини, пожалуйста, я бы не стала звонить...

— Хорошо. Еду, — перебил Николай: последние слова Марины вдруг рассердили его и обидели.

Он оделся, встревожил родителей, ничего им толком не объяснив, да от досады не сделав того и нарочно, — и выбежал из квартиры.

Марина дожидалась его у дежурной проходной. Увидев Николая, она страшно обрадовалась, схватила его за руку и с силой потащила внутрь, словно боясь, что у самого порога Николай вдруг передумает и повернет обратно.

Стоило Николаю очутиться в пределах института, как его словно подменили. Удивительное спокойствие, почти полное равнодушие ко всему происходящему охватило его.

Марина, будто намеренно не оглядываясь, тянула его за руку. Однако посреди холла на первом этаже она вдруг остановилась. Николай, едва послевавший позади безвольно перебирать ногами, чуть не наткнулся на нее. То ли запыхавшись, то ли справляясь с растущим волнением, Марина с полминуты переводила дух.

Было тихо. Лишь из какого-то темного угла доносился прерывистый стрекот сверчка.

Марина пристально, с тревожной недоверчивостью разглядывала лицо Николая.

— Коля! — сказала она громко, будто окликая, хотя стояла почти вплотную. — Коля! Скажи честно! Только вот честно! Ты писал эту свою диссертацию?

— Ну да, естественно, писал, — ответил Николай, как можно ответить на вопрос «который час».

— Ты ставил эксперименты, обрабатывал результаты, описывал их... Все это было?

Ничего подобного Николай не помнил. Сила, превратившая его в кандидата биологических наук, не вольна была заполнить пробелы в памяти. Впрочем, кто знает: может, дошло бы дело в конце концов и до ложных

воспоминаний... Николая потянуло совратить Марине, однако он не соврал: наверно, ее вопрошающий взгляд имел *свою*, крепкую и живую силу.

— Ну что... Было... Наверно... Нет, не знаю... Не помню я, — как-то робко затолокся ответом Николай и пожал плечами.

Тонкое, еще более заострившееся от волнения, лицо Марины побледнело, и она отшатнулась от Николая. В порыве испуга она едва не кинулась прочь, но глухая безмолвная темнота еще больше напугала ее — и она замерла в двух шагах от Николая, приглядываясь к нему, как к прохожему, повстречавшемуся в пустом темном переулке.

— Коля! — голос ее дрожал. — Ты же спиши! Тебя же усыпили! Вы же все загипнотизированы! — Она была готова вот-вот расплакаться. — Вы же все — подопытные кролики!

Эти «кролики» действовали на Николая странно: душа его колыхнулась — в самой Марине вдруг увидел он маленького зверька, испуганного и беспомощного, должно быть, крольчонка. Жалость пробудилась в нем.

— Ты что? Ну, не бойся. Что с тобой. Объясни, — заговорил Николай ласково. — Извини, я, может, еще не совсем проснулся... С этой защитой... да, правда, нехорошо это как-то. Я тут не могу попять.

Противоестественность своего кандидатского звания Николай стал теперь признавать рассудком, но никакой тревоги тем не менее еще пока не испытывал.

— Вот видишь! Сам говоришь! — с жаром подхватила Марина. — Как так может быть, чтобы у всех вдруг диссертации... так вот за неделю... как грибы... Ведь не может быть?

— Наверно, не может...

Марина заговорила вдруг быстро-быстро, сбиваясь и путаясь, точно давно готовилась излить душу, и, начав теперь, боялась, что Николай не захочет дослушать до конца, сочтя все за вздор.

— Что делается... Все ходят только, бродят по комнатаам и коридорам — и довольны жизнью. Никто ничего не делает... Вообще... Все за всех делается. Кем-то. Втихую... Как по щучьему велению. Пыреева только курит да биоритмы свои рассчитывает. Люська все книжку читает. Макулатурную. Хоружий чаи гоняет или дремлет. Клебанов со всей компанией у Коноваловой: глядишь, засядут в преферанс... И вдруг — сегодня один — кандидат, завтра — другой, а послезавтра, глядишь, третий — доктор. Статьи откуда-то... Ну, статьи — ладно: может, дома, по вечерам, пишут. Но книги! Ведь слова нигде не было сказано! Обычно как: раз книжку кто сел писать — целое событие. И отпуск дадут, и разговоров будет, и в плане, и в отчетах всяких главных пунктов... А тут нате — уже готовенькие книжки как с неба валятся... А Верходеева только ходит и поздравляет, ходит и поздравляет... Кошмар! Что это?

— А что... Наука, — робко и глуповато улыбнувшись, сказал Николай.

По лицу Марине вновь промелькнула тень испуга.

— Нау-ука, — задумчиво протянула она. — И моя, — речь пошла о Елене Яковлевне Твертыниной, — она ведь тоже ничего... Она, по-моему, даже думать перестала. Вообще... Ей кажется, что все за нее делаю я. Понимаешь, Коля? А это же не я... Страшно...

— Успокойся, что ты, — вновь вспомнил про «кроликов» Николай и даже легонько подхватил Марину под руку.

Она не отстранилась, только отвела глаза в сторону, будто не желая видеть близко перед собой Николая.

— Это не я, — повторила она. — Кто-то... Я сначала ни во что не верила. Только ругалась. Но, когда бралась за какое-то дело, все вдруг начинало валиться из рук... Машинку заклинивало, ручки ломались, электроды не накладывались, приборы отказывали... а стоило мне на минуту выйти... вернуться — а уж все готово... И как я сразу не поняла? Только вот сегодня. Я нарочно оста-

лась. От злости. Уж решила — сегодня сама все сделаю, кровь из носу. Только все наладила, подготовила, а вдруг заперлись... они... и молчат... и не открывают.

— Кто «они»? — поинтересовался Николай.

— А я не знаю... — Марина осторожно заглянула ему в глаза. — Потому тебя и позвала.

В этот-то миг Николай впервые и ощутил в себе тонкое и холодное дуновение страха. Он даже удивился своему новому чувству, а следом ощущил еще более холодный его прилив.

— А я ведь тоже ничего не знаю, — почти шепотом проговорил он.

— Да уж все знают, что они есть, — тяжело вздохнула Марина. — Но каждый боится рассказать другому, что видел сам... кого-то встретил... Все ведь замечали... Какие-то люди как ряженые... бородатые... Они всем мерещились... А наши чай пьют и смотрят друг на друга с намеком. Но вслух никто... Ни слова. Потому что всех так устраивает... Все уже — доктора и кандидаты. Как тут признаться? Боятся — как в той сказке: кто первый слово скажет, тому дверь закрывать... Боятся, что звания отнимут и работать заставят... Неизвестно, кто отнимет, но если проговоришься — обязательно отнимут... Нутром чуют. Не замечают, что уже спятили... Только моя до сих пор думает, что все за нее делаю я... Все это плохо кончится, Коля. Я чувствую... Да что чай. Теперь уж вместе и не пьют, по своим нормам сидят тихо, в коридорах друг друга не замечают... Скоро начнется...

— Что начнется? — прошептал Николай.

— Не знаю. — Марина встрепенулась. — Пойдем, Коля.

Она потянула его за собой. Николай, сам того не замечая, засопротивлялся.

— Да ты сам-то не бойся, — усмехнулась Марина. — Тебя-то они не тронут.

— Ты охрану вызвала? — начав озираться, спросил Николай.

— Нет, Коль... Не злись. Погляди сам.

Они поднялись на второй этаж.

Под дверью в комнате лежала неяркая полоска света.

— На стук не реагируют? — шепотом спросил Николай.

Марина покачала головой:

— Постучи. Может, тебе откликнутся...

Николай боязливо потянулся к двери, вежливо постучал костяшками пальцев. Внимания его стук удостоен не был.

— Кто там есть? Откройте! — вдруг расхрабрился Николай. — Сейчас придется вызвать милицию.

Ответа не последовало.

— Ты заметила, как туда вошли? — спросил Николай уже в полный голос.

— Нет, конечно... А ключ там, внутри оказался...

— Хм... Как «внутри», когда он вот висит, — удивился Николай, он вынул ключ из двери и рассмотрел бирку. — Все верно. Он — от этой комнаты.

— Это пока я за тобой бегала... — растерянно проговорила Марина.

— Ну, была не была, — Николай повернул ключ в замке и, чуть помедлив, решительно толкнул дверь.

Она распахнулась... Николай осталбенел. Марина выглянула из-за его плеча и ахнула.

Открылось перед ними вовсе не лабораторное помещение второго этажа: они стояли на краю пустоши, заросшей высокой, выше человеческого роста, крапивой. Ночи не было — был пасмурный день. Вокруг пустоши виднелись луга, дальше — лес, по левую руку, невдалеке, — дома какой-то тихой деревеньки.

Место показалось Николаю знакомым. Борясь с робостью, он сделал шаг вперед и оглянулся: Марина испуганно выглядывала из двери покосившегося сарая.

Ее растерянный вид вдруг рассмешил Николая, и он поманил девушку рукой.

— Иди сюда... Видала, фокус какой...

Марина только покачала головой, отказываясь.

Николай еще раз взглянул на деревеньку и, никого не увидев около домов, повернулся в сторону пустоши. У края крапивных зарослей что-то поблескивало. Николай пригляделся и различил в траве топор. Любопытствуя, он протянул было за ним руку, но тут же дернулся назад, напуганный внезапным, негромким окликом:

— Не трожь!

Справа, шагах в десяти, на дороге стоял, опершись на посох, высокий старик. Казалось, он проходил мимо и остановился лишь затем, чтобы окликнуть Николая. Несмотря на суровый голос, глаза его светились доброй улыбкой. Одет он был, по словам Николая, «как крестьянин в старину», и нес за плечами котомку.

— Не трожь, — уже приветливо повторил старик. — Топор с Гнилого Хутора... Значит, в разбойном деле бывал. Гляди, и тебя затянет...

— С Гнилого Хутора? — переспросил Николай. — Что это?

— Да вот он перед тобой и будет, — указал старик на заросли крапивы. — А вы, я погляжу, нездешние, нет ли?

— Нездешние, — кивнул Николай. — Не поймем вот, куда попали.

Старик сошел с дороги, приблизился. Николай вновь поманил к себе Марину, и она, помявшись, робко вышла из... сарая.

Вот что рассказал старик-странник.

— Вон Старино, — со вздохом кивнул он в сторону домов.

«Старино... Да это же деревня, что рядом с институтом!» — вспомнил Николай.

Рядом с деревней еще в пору татарских набегов по-

явился Гнилой Хутор. Пришли тогда к деревне чужие люди. Приняли их сердобольно, как беглецов от татарской неволи, как погорельцев. Они и затеяли поселиться здесь хутором. Построились кое-как и зажили на удивление и смущение жителей: скотину держать не стали, селяться не собирались. Начали пробавляться милостыней, мелкой охотой да рыбалкой, а то и поворовывали. Поначалу на деревне головы ломали: то ли вправду ленятся чужаки на земле работать, то ли совсем не-надолго здесь хутором задержкались и собираются податься куда-нибудь дальше, куда не доскакал еще татарский конь. Подходили к хоторянам с вопросами: как, мол, так, почему по-людски не селитесь, не работаете? Те посмеивались, отмахивались:

— А почто, — отвечали, — строиться, возиться? Один конец будет: татарин придет — все спалит. А что не спалит, так вытопчет али к рукам приберет.

Ордынец и вправду приходил — с поджогом, грабежом и горем, но мир все равно не по-доброму дивился на хоторян: не мог понять их жизни. Снова строились, снова селяли, а хоторянам и забот было мало — только что посмеивались.

Меньше десятка лет продержался хутор. Недолюбливали пришлых, но терпели. Однако кой-кому из подросших деревенских молодцов пришла по вкусу бесшабашная жизнь. Тихою ржою пошел по деревне гомон и раздор. Поворовывать, хитро щурить глаза начал уж кое-кто из своих. На хмурились старики, запричитали бабы по вечерам. Под пасху лихо повеселились с хоторянами молодцы — поскакал по деревне красный петух. Лопнуло в ночь пожара терпение мира. Со своих шкуры долой спустили, а на чужих и обоза не пожалели — посадили и выпроводили всех вон.

Потом четыре века с лишком стоял Гнилой Хутор в густом высоком бурьяне и древесном тлене. Вскоре после разгрома польских панов кое-кто из деревенских подбоченился, походил гусем по улице и решил отде-

ляться дворами. Снова вытоптали бурьян — и выросло здесь несколько срубов. А там и года не миновало, как принесло новую напасть. Появился в округе лихой человек, чужак без роду и племени, по прозвищу Коляй. Никто не знал, где живет он, где ночует, к кому ходит столоваться. В деревнях замечали его не часто, однако и бродягу лесного он собой не напоминал: ходил осанисто, щеголем, в белом кафтане и непременно в чистых белых сапогах, всегда был он брит, мыт и причесан. Даже всплывал порою тревожный слух, что Коляй — птица высокого полета и не кто иной, как сам «тушинский вор», Лжедмитрий второй, будто бы не убитый в Калуге, а скрывшийся — и теперь вот рыскает по селам, втихомолку затевает на Руси новую смуту, новый кровавый раздор...

Появлялся Коляй как самая дурная примета, боялись его, как грозовой искры. И справиться с ним миром долго трусили. Чем только не оправдывались. Шептали, что шайка с ним ходит тайная и числом несметная: чуть что, приведет — ни дитя, ни старика не помилует. Частенько вспархивали слухи, будто в одной деревне непокорного мужика порубил он топором вместе с семьей; а в другой собственноручно утопил разом двоих, а в третьей будто бы дите пропало — верно, его работа. И хотя ни тел изувеченных, ни утопленников тех никто никогда не видал, слову страшному о Коляе верили охотно, с замиранием духа, с долгим мрачным молчанием среди мужиков. «Да уж, — вздыхали они и разводили руки по сторонам.— Куда уж тут денешься. Нехристь он и есть нехристь». И разбредались по домам — дожидаться новых зловещих вестей... Уверял народ друг друга, что Коляй — колдун, что глаз у него чертовский, что чары он знает и заговоры темные, а против заговора хоть топор, хоть багор — все без толку.

Пуще других заливали иные безусые молодцы, за которыми старики заметили странную причуду: как начнут расписывать историю про Коляя, так отводят гла-

за в сторону. Не скоро, однако, распознали тех молодцов: оказались они Коляевыми должниками. И правду сказать, кого пугал Коляй до дрожи в коленках, так то своих должников. Нежданно-негаданно, хоть при ясном дне, хоть в ночной час, хоть в лесу, хоть посреди деревни вырастал он перед ними, будто из земли, и прибивал ледяным взором к месту. Бледнел молодец, дышать переставал, терял силу и пальцем шевельнуть... Коляй только молча усмехался и уходил прочь.

Шайка была у Коляя, шайка верная и немалочисленная. Стоило ему бровью повести — и тут же собиралась она перед ним: Сколотил он ее из тех самых молодцев, своих должничков. Жили они по своим домам, и неведомо было сельчанам, что могут собраться по зову Коляя из их родных мест полсотни парней и учинить где разбой, где пожар — одним словом, беду, а потом снова тихо растечься по домам.

Хитер был Коляй. Должком схватывал он молодую горячую голову, как silkом воробья. Подлавливал умело, каждого в мгновение *своей* слабости, на своем душевном изъяне. Страдает один безусый удалец без новой рубахи алой или без новых сапог. Вовремя, в минуту самой тяжкой зависти перед загулявшими под вечер деревенскими щеголями, поднесет ему Коляй из-за спины подарочек... У другого — сердечная заноза. А деваха и не глядит в его сторону, ходит, подбоченяясь, а то и соседу кудрявенькому улыбнулась. Зло возьмет парня, в глазах у него потемнеет. И вдруг откуда ни возьмись Коляй, а с ним чужая, развеселая девка, на первый взгляд и покраше зазнобы. Надвинется грудями — так и дух сопрет. А главное — чужая, издалека... Развезет парня, взбрыкнет он... Третий жаден — золотишко ему подкинет Коляй, у того и вовсе разум замутится... А четвертый от рюмки оторваться не может, и тому впору угодит Коляй — в смертное утро похмелья поднесет ему желанный жбанчик. И все умел он тихо, со стороны никому не приметно устроить.

Многие сдерживались — гнали негодая. От них Коляй уходил, так же усмехаясь невидимыми своими губами, и пропадал до следующего мига душевной смуты, будто из какого угла денно и нощно следил за каждым человеком. А иные сдавались. Ломались обычно сразу, без оглядки. Благодарили, руки целовали, порою и до сапог белых дотягивались. Молчал, усмехаясь, Коляй — и уходил, ускользая прочь. Счастливчик радовался день-другой, а вскоре обыкновенно и забывал про своего «благодетеля». Забывал до того дня, когда являлся перед ним благодетель из-за куста, из-за дома, из-за дерева — не уловишь откуда. И тут уж всякую память и про отца с матерью, и про весь род свой, и про землю, и про ремесло отшибало молодцу напрочь. Превращался он из человека в должника, становился хуже оборотня.

И что же — весь Гнилой Хутор ходил в долгниках у Коляя. Сюда захаживал он чаще всего. Здесь по подвалам, да по амбарам стало скапливаться добро, добывшее по ночам. Им сам Коляй брезговал и никогда не пользовался, не разживался. Здесь, на Гнилом Хуторе, нашел он себе самого верного дружка-пособничка, не отстававшего от него ни на шаг, огромного, косой сажени в плечах, детину, падкого на бесчинную жизнь, на дармовщину.

Звали детину Емелькой. Про того Емельку и сложили в деревне Старино сказку не сказку — горькую быль про мужика, бездельника и негодая, получившего на беду односельчан подарочек от какой-то нечистой силы в виде колдовского «щучьего веления». Потом уж века миновали — забыли Емельку, приукрасили быль, превратили в веселую сказку.

Растеклась сказка по Руси. И кто теперь, вспомнив ее, не охнет невольно, не потешит в себе лукавого: уж мне бы такое щучье веление — так зажил бы... Зажил бы — миру на беду, себе на погибель. Но правда эта не всякого и теперь осенит.

Поймал Коляй Емельку на легкую приманку. Была

ли в природе та хитрая щука, что подбросил ему Коляй, или кто только слух про чертовщину всякую пустил, не так уж и важно. Главное дело, и вправду, овладел Емелька разными мошенническими фокусами и исполнять их иначе как с приговором «по щучьему велению — по моему хотению», не был он способен. Быть может, глазом черным подействовал на него Коляй — так что уж без «щучьего веления» совсем стал слаб мужик: даже на улицу не показывался из дома, не пробормотав себе под нос своего приговора — всех боялся.

Много беды натворил Емелька у себя в деревне, да и в соседних тоже порядочно набедокурил, многих девок чести лишил, многим хозяйство попортил. Небезлюбили Емельку, тыкали пальцами в него — говорили, что продал душу черту. Стали прозывать его «щукиным сыном». И так прилепилось к нему то прозвище, что обернулось наконец привычной фамилией. Даже Коляю пришлась она по душе — и он кликал Емельку по прозвищу, Щукиным.

Однако ж сколько веревочке ни виться... Видно, издалека рассчитал Коляй судьбу своего дружка-подручного, долго при себе его решил не держать. Да и шут его знает, что было на уме у этого лихого человека. Раз по пьяни ему Емелька свое «щучье веление» спорил. Затих мужик на пару дней, а потом взвыл, в ногах у Коляя валялся. Так бездельничать привык, обманом да фокусом дорожку себе стелить, что шагу без приговора сделать уже не мог.

Посмеивался над ним Коляй.

— Здоров в плечах, — говорил он Емельке, играя незаметными своими губами, — а совсем холуем стал. Ни на что не годен. Ведь оробеешь и со двора выйти. Как же отспоришь обратно свое «веление»?

— Все, что велишь, сделаю, — клялся Щукин, теперь уж одна усмешка осталась в его прозвище-фамилии.

— А высоты боишься? — улыбался Коляй.

— Нет, — уверял Емелька, почуяв, что вернут ему недобрую силу.

— Врешь, боишься, — распалил его Коляй.

— Хоть на колокольню по стене влезу; вот те крест, — махнул сплеча Емелька.

— На колокольню, говориши. — Хитро глядел на него Коляй, испытывал. — Ну, не крестись тут... На колокольне и перекрешишься. Будет торг — залезешь на колокольню и свалишь крест. Свалишь?

— Ага, — кивнул Емелька, обливвшись потом. — А «веление»?

— Будет тебе «веление», Щукин, — суроно вдруг отчеканил Коляй. — Станешь спускаться — да спускаться можешь и по лестнице, — как с последней ступеньки на землю ступишь, так вернется к тебе твоё заветное «щучье веление».

Едва дождался Емелька осенней ярмарки. Пополз нем вскарабкался на колокольню, грохнул вниз тяжелый позолоченный крест — громко звякнул он внизу о паперть, отлетел в крапиву. Дух захватило у Емельки, рубаха к спине прилипла. Задыхаясь, поскакал он вниз по деревянным ступенькам. Бабы на торге первыми узрели обезображенную маковку колокольни, заголосили смертно. Мужики, обомлев вслед за бабами от невиданного святотатства, разъярились не на шутку. Припомнили Емельке все обиды. Опередили его мужики всего на один шаг, не дали Емельке встать ногами на землю: скрутили его на лестнице, приволокли на плечах к торгу и так дубьем угостили, что из того — и дух вон.

Опомнившись, мужики сами испугались столь скорой и кровавой расправы. Однако, вспомнив про Коляя и недобрые слухи о Гнилом Хуторе, снова разгорячились. Жестокий, решительный суд над Емелькой Щукиным раззадорил их — в силу вошли мужики. Явились на Гнилой Хутор с топорами. Пошурковали славно — только щепки летели. Нашли-таки ворованное добро — и тут уж милости никакой ждать не пришлось: спалили

хутор дотла. А потом еще до ночи по деревням да по лесу рыскали — за Коляем охотились. Но тот как в воду канул.

Тревожно жила до зимы деревня: ждали Коляевой мести. К масленице же докатился слух, будто поймали разбойника в Москве и за многие злодейские дела колесовали принародно возле Лобного места. Больше никто Коляя наяву не видал — только снился долго он еще сельчанам в недобрых снах, особенно тем, кто встречался с ним; а должников своих пугал он вочных видениях до хриплого крика и ледяного пота. И матери еще долго страшали им за шалости свою ребятню — и снился он ребятне на разные лица, пока не подросла она и стала уж насмешливо отмахиваться от старицких рассказней про лихого разбойника-колдуна...

И снова больше века стояли на угодьях Гнилого Хутора дикие заросли татарника и крапивы, пока не объявился тут новый хозяин окрестных деревень, Карл Фейнлиц, обрусовший немец, генерал. При Екатерине впал он в немилость и услан был в глушь, в имение: на хандру и меланхолию. Двухэтажный с колоннами дом Фейнлица, пруд с лебедями и геометрический садик сменили татарник и крапиву Гнилого Хутора.

Зол был на судьбу генерал, немилосердствовал в своей вотчине. Не было простора силам генеральским, бесился он в имении, как в клетке.

Мимо пролегал тракт, по которому частенько вели набранных в солдаты мужиков. Выпросил генерал в столице позволение оставлять у себя мужиков на полгода для обучения солдатскому ремеслу... Рядом с имением выложил он плац, построил учебный редут — нашел отвод тоскующей душе. Славно муштровал он рекрутов, трех-четырех из десяти запарывал насмерть. Зато однажды на параде в столице, уже в мундирах и при оружии, прошлись его мужички на изумление всего генеральства, даже сама матушка-императрица бровь приподняла.

Получил Карл Фейнлиц орден, выслужил милость императорскую. В столицу, ко двору, правда, не пустили его, но облагодетельствовали из казны. И рекрутов, на радость генеральской душе, прибавилось у старика втрое.

Терпения у крепостных мужиков Фейнлица хватило до слухов о явлении царя-спасителя. Ждали его со дня на день. Росла сила Пугачева, росли кругом отчаянные слухи. Гомон пошел по деревням, только искру кинь — вспыхнет бунт, как порох. Упала искра: запорол Фейнлиц двух деревенских мальчишек, полезших через ограду подивиться на лебедей. Заголосили бабы. Воспрянули мужики — навалились с огнем и топорами на имение. Генерала-старика утопили в барском пруду вместе с лебедями и борзыми. Имение сожгли — и разошлись по домам дожидаться спасителя. Однако не дождались: сгинул Пугачев, рассеялось его войско. В деревню же пришел царский полк — и кровь потекла рекой. Только через полвека ожила деревня, и снова потянулось в ней тихое житье-бытье. На Гнилом Хуторе век кряду в человеческий рост вымахивала крапива. Пруд заchaх, летом в его котловане стояла грязь и болотная вонь...

— Плохое место, — кончил старик со вздохом. — Уходили бы вы отсюда.

Расстались. Старик побрел дальше по дороге.

Николай с Мариной вернулись в сарай — и очутились в коридоре института.

— Что это было, Коля? — растерянно пробормотала Марина.

— Связь времен... — словно бы в полуслне ответил Николай. — Если мы сейчас откроем соседнюю дверь...

Чутье не обмануло его: зайдя в соседнюю комнату, он оказался на краю старого пожарища, начавшего зарастать бурьяном. Там тоже оказался ясный день, и не трудно было найти человека, который мог рассказать о дальнейшей судьбе Гнилого Хутора.

— Да лет полтораста не селился тут никто, — ска-

зала женщина, повстречавшаяся на околице. — Старики говорили: гнилое место. А перед самой империалистической пришли чужие...

И снова не стали жить хуторяне крестьянским трудом. Сидели они по домам и занимались какими-то таинственными хлопотами. Иногда незнакомые хмурые мужики подводили к хутору обозы и сгружали в амбары наглухо запечатанные тюки... Наконец правда всплыла наружу. Странным ремеслом жили хуторяне: делали расписные коробки для «поддельных» сигар. На вид и вкус те сигары вовсе не казались поддельными, так их называли сами хуторяне. Где-то, в другой деревне, втайне искусно готовили капустный лист, крутили из него сигары и перевозили товар на Гнилой Хутор. Здесь kleили коробки, раскладывали по ним товар и перевозяли дальше, в Москву, самым известным табачным торговцам, которые выдавали тайный российский продукт за привозной, заморский.

В Старине хуторян не уважали, но частенько приходили к ним с поклоном: хуторяне наладили у себя самогонное дело. Сивуху они гнали жестокую и дешевую, так что покупателей всегда хватало.

В восемнадцатом опустела деревня Старино. Кто-то утек к Деникину, многих убедили в правоте новой власти красные комиссары, увели за собой. Гнилой Хутор и тут показал шалопутный свой нрав: жители его оказались среди мародерского отребья, у зеленых. Собрал тот мародерский отряд в сотню сабель явившийся из столицы студент-анархист Сташинский. Недолго погуляло его воинство по губернии, пропало вскоре — и прошли слухи, что отряд Сташинского не то порублен был в лесу в ночном бою белоказаками, не то в чистом поле среди бела дня расстрелян пулеметчиками с трех красных тачанок...

— Вот и вся история, — подвел итог Николай, вернувшись к Марине и закрыв за собой дверь комнаты Бориса Матвеевича Хоружего.

Он отпер кабинет Верходеевой и заглянул внутрь. Там никаких чудес не произошло: стол начальницы с двумя телефонами и декоративной вазочкой не уступил места заросшей крапивою пустоши...

— Все сходится, — едва ли не с радостью в голосе произнес Николай. — Минуло еще полвека, и Гнилым Хутором стал НИИФЗЕП... Топор, намагниченный разбоем... Вот и земля... тоже намагнилась. Понимаешь?

Марина хмуро посмотрела на Николая.

— Восемьсот лет сюда одних тунеядцев тянуло, что ж непонятного? Зарядилась земля... человеческой нечистой силой.

— Выходит, не виновны все вы — Хоружий, Твертынина, ты вот... — тихо проговорила Марина. — Раз гнилое место, раз намагнитилось тут все тунеядством и подлостью за восемьсот лет, значит, что же, вы все — чистенькие... наивные... без вины виноватые?.. Затянуло в водоворот — ничего не поделаешь... Не устояли бедные против гианоза?..

Николай оторопел:

— А я что, оправдываюсь? Кто не без греха? Нашлась слабина в душе — вот и поймали... А может, ты знаешь, как теперь справиться со «щучьим велением»?

— Не надо было подачки хватать...

— А вот вас-то, которые хоть не хватали... но помалкивали — вас-то что так мало оказалось?

Помолчали, невесело глядя друг на друга.

— Того бы старика спросить, — пришла к Николаю мысль. — Глаза у него... будто все понимал. Может, он знает... противоядие? Только бы пустили нас...

Николай толкнул дверь в первую комнату и радостно вздохнул: древняя пустошь оказалась на месте.

Старик не успел уйти далеко. Оставив Марину в дверях сарая, Николай кинулся его догонять.

— Дедушка, что делать теперь? — спросил он, переводя дух. — Этот Гнилой Хутор еще триста лет сто-

ять будет. Столько еще народу... испортит... Как с ним справиться? Может, знаете?

— «Испортит», говоришь, — усмехнулся старик. — Чистую душу, крепкую не испортишь. Только хищную да пугливую... А что, Коляя боишься?

Окурошев опустил взгляд.

— Из должников его? Поймал тебя силком?

— Поймал, — кивнул Николай.

— Поздно спохватился?

— Поздно...

Старик помолчал...

— Распахать бы место да хлеб посеять — вот и вылетела бы из него вся нечистая сила.

— А что ж в ваше-то время не засеяли?

— Да поди догадайся сперва... — махнул рукой старик. — Это уж ты мне глаза раскрыл... Эк, триста лет — срок какой немалый... НадоТЬ распахать. А кому нынче? Мор был в деревне... Да и на Гнилом Хуторе одни ямы да кочки нечистая намесила, чтоб не думали пахать... Куда ни кинь — всюду клин. Теперь уж при вас распахивать надо.

— Распашешь тут, — развел руками Николай. — В нашем времени на этом месте целый институт... ну, дом такой... величиной с крепость.

— Плохо дело, — качнул головой старик. — Вот бы детишек малых в твоем доме поселить. У них души ясные, с ними нечистой труднее справиться. Пусть ладят там что доброе, играют кто — в гончара, кто — в кузнеца. Надоумить их надо на такую игру...

III

Люди, пережившие несчастный случай, нередко совершенно забывают события, что предшествовали тяжелой травме. Иногда весь трагический день выскакивает из их памяти, а порой — даже более длительный фрагмент жизни... Нечто подобное произошло с большин-

ством сотрудников института, даже с теми, кто не оказался свидетелем его исчезновения.

План Николая Окурошева, родившийся после разговора со стариком, удался на славу. Ему удалось подбросить начальству идею «семейного воскресника».

Директор института всем на удивление появился на воскреснике с внуками-первоклашками. Его детям перевалило за тридцать, и у них в тот день хватало своих забот. Поколение старшего дошкольного и младшего школьного возраста собралось почти полностью.

Весело было на Гнилом Хуторе в то воскресное утро. Пестро и элегантно разодетая толпа скопилась у корпуса, недавно перенесшего тяжелый капитальный ремонт. Толпа бойко вдыхала легкий осенний парок, шевелилась по-праздничному, по-спортивному и в пустом, бесплодном возбуждении дожидалась инструмента. Вокруг толпы шумным роем клубилась детвора. Ей позволяли шалить, но к торосам и грудам металлолома не подпускали.

Дождались наконец инструмента. Разобрали его весьма решительно, однако на этом рабочий запал вдруг весь иссяк. И десятка минут не прошло, как, словно по замыслу загадочного вредителя, грабли и лопаты поотскакивали от своих черенков, а некоторые из черенков и вовсе переломились пополам, метлы порассыпались. Благоустройство территории института застопорилось и превратилось в праздное шатание вокруг строительной площадки и дымящихся железобетонных круч. Мужчины покуривали, придерживая под мышками кто черенок, кто металлическую основу своих инструментов, боязливо подступали к торосам, трогали их с краешку, но всерьез браться за них и не помышляли. Женщины присматривали за детьми.

А у тех трудовой задор только-только и разгорался: они принялись собирать в кучки листву. Осень выдалась очень ранняя, и растительного мусора по институтским аллеям накопилось уже достаточно. Малы-

ши сопели, потели, набирали непомерные охапки и едва не ссорились из-за самых густых пятаков листопада, старались изо всех сил друг перед другом. Занятие увлекло их удивительно, словно новая, самая интересная игра. Дважды налетал короткий и резкий порыв ветра, и не ветер даже, а смерч. Вихрем он разметывал уже собранные кучки листвы, но детвора не унималась, принималась за дело снова, с необыкновенным упорством.

Директор института даже покраснел от удовольствия, гордясь своими внуками. Они разгорячились, перемазались до ушей и на самой длинной аллее не остали ни одного листочка. Их дед застенчиво отошел в сторонку и трогательно косился на окружавших его сотрудников института.

Никто не приметил, как наступило странное, чересчур неподвижное затишье в воздухе... Даже терпкие осенние запахи вдруг как будто бы перестали ощущаться. Ни единого звука не доносилось со стороны — ни автомобильного движения, ни самолетного гула.

Весь мелкий мусор был собран и свален в старый мусорный ящик. Воскресник кончился. Инструмент на скорую руку починили: метелки связали, грабли и лопаты безо всякого капитального крепления надели на черенки — и сдали некоему мимолетному ответственно-му лицу.

Когда последний участник воскресника миновал проходную и вся толпа вытянулась по дорожке, что вела к автобусной остановке, в спины ударила теплая воздушная струя. Кто-то первым обернулся... Уверяют, что первым свидетелем оказалась женщина: именно женский пронзительный возглас заставил толпу разом вздрогнуть и колыхнуться в обратную сторону.

Института как не бывало... На месте здания остался лишь вахтерский стол, а за ним — сам вахтер, растерянно озирающийся по сторонам. На вахтера, на строй-

площадку, на заросли сухого бурьяна с ясного неба сыпались золотым дождем осенние листья...

Взрослые остолбенели... Дети же прыгали от радости и хлопали в ладоши — такого чудесного фокуса они ни в каком цирке не видали.

В те же самые мгновения исчезли со страниц многих научных журналов разнообразные статьи по физиологии земноводных и пресмыкающихся, оставив за собой загадочные белые пространства; исчезли многие фамилии из ссылок, приводимых в конце научных публикаций; в библиотеках бесследно пропали целые монографии и диссертации, притом вместе со своими карточками из каталогов; среди документов ВАКа обнаружилось большое количество пустых бланков и бумаг. Так развеялся призрак Гнилого Хутора...

Излишне, мне кажется, рассказывать о всех недоразумениях, пережитых сотрудниками института-призрака после его исчезновения. Случались, конечно, и неврозы, и мигрени, и кишечные язвы. О более трагических недугах, об инфарктах и инсультах слышать не приходилось.

Словно потерпевшие кораблекрушение невдалеке от заселенных берегов или оживленных морских путей, все специалисты по физиологии земноводных и пресмыкающихся были в скором времени подобраны разными научными учреждениями, а некоторым из них даже удалось без особого труда и ожидания восстановить свои утраченные чины и должности.

Так, повезло Борису Матвеевичу Хоружему: он сразу оказался старшим научным сотрудником одного из биологических институтов в академгородке... Надо заметить, что приход Хоружего в институт совпал с уходом на пенсию его директора, сокращением на треть штатов и переходом организации по исследованию организмов чувств насекомых на самофинансирование. Новый

директор, сорокалетний брюнет, отличался талантом, энергией и был, как говорят, в духе времени.

Однажды Борис Матвеевич, оказавшись, по своему обыкновению, на лестнице под табличкой «Место для курения», увидел, как тот стремительно спускается с верхнего этажа. Он мимоходом поздоровался с Хоружим, и Борис Матвеевич ответил на приветствие с радостным подобострастием нового подчиненного...

— А табачку у вас не найдется? — вдруг остановившись, с энергичной улыбкой спросил новый директор.

Борис Матвеевич как раз держал в руке пачку сигарет. Новый директор шагнул навстречу, и странный звук — скрип какой-то сапожный — заставил Хоружего насторожиться. Ничего не вспомнил Борис Матвеевич, лишь смутная тень скользнула в его памяти и пропала... но он невольно опустил глаза и уставился на ноги нового директора. Он видел новенькие импортные полуботинки — и удивлялся, отчего они его так пугают.

— Что-нибудь уронили? — вежливо спросил директор.

Хоружий с трудом поднял взгляд и увидел перед самыми глазами изящную золотую зажигалку с тонкой струйкой огня. «Весь импортный...» — невольно отметил про себя Хоружий.

Николай Окурошев и Марина Ермакова работают в другом НИИ. Оба — старшие лаборанты...

В прошлом году бурьян на месте Гнилого Хутора распахали. Пшеница на новом поле взошла дружно...

ОХОТНИК НА ЗЕРКАЛА

...Он сидел в «Жигуленке» цвета кофе с молоком. Холеный такой «Жигуленок», весь в наклейках и с колпаками от «мерседеса»... Знаете, когда-то я очень любил кофе с молоком, но теперь меня от него тошнит... от одного только запаха... Извините, я отвлекся. Сначала я стоял на переходе и ждал зеленого света... Хотя мне уже было все равно, что там, на этом светофоре, мелькает. В голове гудело. Я таращился на решетку водостока. Под ней было темно и жутко. Я силился что-то разглядеть в этой дыре... Пару зеленых я, наверно, пропустил.

Скверно мне было. Только что хлопнул дверью. Ума хватило: Разругался с любимой женщиной... Вы когда-нибудь падали лицом об лед? Холодно, очень твердо и очень больно... Вот так мы с ней и поговорили — ссоры никакой, в сущности, и не было...

В те времена... эх... в те самые времена я был очень уверен в себе. Пять лет подряд я заколачивал деньги по курортным эстрадкам, где пустые бутылки катаются по углам... Добрые дяди с толстыми мягкими пальцами, с толстыми перстнями заказывали меня к ужину, на десерт. И платили по прейскуранту меню. Хорошо платили. Я был уверен в себе. Я знал себе цену. Точную. В рублях. Как матерые головорезы прошлых веков, когда объявляли по всему царству-государству цены за их головы. Я гордился своей ценой. Я был наравне со знаменитыми бандитами, достойными салона, мадам Тюссо. Потом, когда я правдами и неправдами пробился на Всесоюзный конкурс и выскочил в звезды, моя цена разродилась еще одним ноликом, и я задрал нос еще выше. Про родные курортные пенаты я не забыл, а добрых дядей вокруг прибавилось. Они постоянно напоминали мне мою себестоимость. А мои дружки дура-

чились — они играли со мной в аукцион. Однажды — в каком-то сочинском кабаке — мы шутя подсчитали на салфетке цену всей нашей честной компании. Получилась веселенькая сумма.

Кто-то ухмыльнулся тогда:

— Этот капиталец — да на мирные бы цели: выстроили бы дюжину яслей.

— Три больницы, — добавил другой.

— Четыреста пивных, — кто-то пробормотал спросонок, и все заржали — хмельно, во всю глотку.

...Женщины, наши женщины, таращились на меня, как на золотую статую Шивы: «...Ах, как это обалденно модно! И фантастически дорого!»

...Ирина появлялась среди нас редко... *Нашим* был ее старший брат Алик, директор бара. Она жила в Москве и тогда училась в медицинском. К брату она приезжала на летние каникулы, и нашу компанию на дух не переносила. Бродила одна по горам, а по вечерам книжки читала... Брат любил ее по-своему, «по-барски», гордился ею и хвастался своим родством с «будущим министром здравоохранения»... На вечеринках у Алика она тем не менее не пряталась — наоборот: лихо вправляла мозги самым дорогим мальчикам, танцевала лучше всех и вообще держалась великолепно... Дело должно было кончиться раздором — им и кончилось: наша компания раскололась на две фракции. Одна, более многочисленная, потому что к ней сразу примкнули наши девочки, стала Ирину тихо ненавидеть. Тихо — из боязни перед Аликом: он такого отношения к своей сестре не потерпел бы и устроил бы всем недоброжелателям баню... Он у нас был скор на всякие расправы. Во второй фракции оказались мальчики, которые в нее безнадежно влюбились. Я дольше всех продержался равнодушным центристом... Потом некоторое время перегибался то к одним, то к другим — и, наконец, к ужасу наших девочек и своему собственному полному

недоумению, осел на дне, во фракции безнадежно потерянных для дела и общества...

Впрочем, что тут недоумевать: она была среди нас, точнее, как бы около нас, одна такая: вся из себя неприступная, непонятная, не ставившая меня ни в грош...

Этот чертов переход. Я все стою, будто к месту прирос. Кругом грохот невыносимый. Все суетятся, толкаются... А мне вдруг совсем невмоготу стало — того и гляди стошнит. И понять никак не могу, отчего ж мне так паршиво... Но догадываюсь наконец — от музыки. Дешевенькая, знаете ли, такая мелодия. Шлягерок какой-то модный, знакомый, осточертивший... а голосок слашавый, дебильный. Поднимаю глаза — и вижу этого типа. Его «Жигуленок» стоял перед «зебровой дорожкой», в первом ряду... Он только что подъехал и теперь тоже ждал зеленый...

У меня в мозгу эта картинка отпечаталась как фотография. Мне все еще снится иногда страшный сон: чудится, будто вся моя память превратилась в одну-единственную фотокарточку.

У типа было совершенно восковое, бесчувственное лицо. Лицо валютчика, матерого торгаша. Я эту публику узнаю сразу, насмотрелся когда-то. Его глаза не видел. Он прятал их под модными «спектрами». Модная причесочка, из-под фена, проборчик стрункой. Спортивные скулы. На пальце печаточка с золотой монограммкой — я разглядел. А пальцы на руле прямо так... нежно лежат. Ноготки пилкой обточены. От этих типов всегда зверски воняет французской туалетной водой, по четвертаку флакон... Я чувствовал этот запах, стоя в трех метрах от машины.

Я таращился на него и пытался понять, за что же я его так невзлюбил. Ведь повидал этого сброва по кабакам да по курортам ого-го сколько... Иммунитет нажил на эту братию. А тут меня всего выворачивало — я был готов ему в горло вцепиться.

И вдруг дошло до меня, как ледяной водой окатило:

тошнотворный шлягерок доносился из *его машины* — этот тип завел кассетку, поразвлечься в дороге. А шлягерок-то — *мой*, родной. И пел его я. Жизнерадостным, дебильным голоском. Это я, как бездарный трактирный паяц, холоп, служил сейчас сытому типу, ублажал его надущенную французским коньячком печенью. Как живой человек я для него не существовал вообще — только в виде бездарного шлягерка, штриха фирменного автомобильного комфорта.

Я стоял рядом — ненавидел его, а он и в ус не дул. Он невозмутимо дождался *своего* зеленого света, мягко газанул и исчез...

Я ненавидел себя. Я возненавидел в себе трактирного паяца, всегда готового дебильным голоском ублажать сытенькую, гулящую публику. Я впервые представил себе в лицах очередь за моими модными дисками и кассетками, и она вдруг напомнила мне скопище брейгелевских уродцев. Кому из них я бы спел от души?.. Уласи, боже.

Меня аж озnob пробрал. В душе — пустота полная. Я ощущал себя перегоревшей лампочкой с темным вакуумом внутри.

Подошел постовой. Узнал — заулышался угодливо, забеспокоился... И я наконец побрел на другую сторону. До дому уж не знаю как добрался. Еле дотерпел до вечера — и помчался к Максу.

Макс был моим лучшим другом. Он — дьявол во плоти. Раньше я его так в шутку называл, потом — уже почти всерьез. Спросите, зачем я выбрал себе такого дружка?.. Это — единственный человек, с которым можно было откровенно поговорить... Увы, в детстве друзей-то много было, а потом как-то растеклись все... Чем больше горланил на эстрадках, тем меньше их становилось... С моей-то тиражированной физиономией — какие друзья! Весь мир раскололся надвое: одни смотрели на меня со снисходительным презрением; для них я — модный, но дешевенький шансонье. Другие —

с подобострастием, и готовы были разорвать в клочья — на сувениры.

Макс — единственный, кто меня понимал и при том не сочувствовал. Он наблюдал за мной, как наблюдают за мотыльком, бьющимся об лампочку, с равнодушным любопытством: обгорит или нет... Мне с Максом было легко.

Когда мне было плохо, я шел к Максу. Он — пижон и циник. Он тоже круглые сутки носит модные «спектры». Его глаза можно увидеть, только когда он набычивается и смотрит на вас поверх оправы... Так он может сделать, когда вы соберетесь с ним поспорить, — и вы сразу будете сбиты с толку: глаза у Макса будто вырезаны из жести. Он — звукорежиссер вокально-инструментального ансамбля, с которым я проработал лет пять. Себя он любит называть «бывшим». «Бывший инженер-радиоэлектронщик», «бывший красный диплом», «бывший бард», «бывший отличник в школе», «бывший вундеркинд» и прочее-прочее...

Я прилетел к нему сломя голову. И даже не поздоровался. Забился на кухне в угол и закурил. Сигарету, чтоб не уронить, держал тремя пальцами. Другой дружок сердобольно бы засуетился, сделал бы заботливую мину, плеснул бы коньячку — тут уж хоть волком завой. А Макс — молодец; ему хоть бы хны: только ухмыльнулся и молча принялся крутить ручку кофемолки.

Я ему выложил все — и он опять ухмыльнулся. На меня он даже не взглянул.

— Ты зажрался, — равнодушно сказал он, кончив трещать кофемолкой. — У тебя синдром Мартина Идена. — У Макса в запасе полно всяких экзотических словечек и сведений; друзья зовут его за это «кунсткамерой-одиночкой».

— Это из психиатрии, — продолжил он. — Есть люди, точнее дебилы, которые, достигнув в жизни *всего*, теряют всякую цель существования и кончают с собой... Тебя еще не тянет утопиться?

Я отвернулся и не ответил. Я не знал, на что меня может потянуть.

Макс хмыкнул и сказал примирительно:

— Выпьем кофе... А потом можешь топиться... Ленин он ты наш недострелянный.

Я сорвался и зверски его обругал. Он заваривал кофе и будто не расслышал.

— Ты уже придумал *куда* уходить? — спокойно спросил он, чуть кривя губы, но не от обиды — нет — у него такая привычка: он кривит губы, когда разговор начинает его слабо интересовать. — В управдомы? В монастырь? Куда? — допытывался он.

И тут я расчувствовался и забормотал всякую ерунду: хочу, мол, оставаться самим собой. Только вот бы все мои записи, все диски — сгинули бы все разом, и пел бы я, мол, как древний бард какой-нибудь: только кому хотел и когда хотел.

— Разом не получится, — сказал Макс спокойно и уверенно. — Но устроить это можно.

Я перепугался до смерти. Даже дышать перестал. На минуту. Но ведь вы меня, наверно, легко поймете... Мы же современные люди. Старики Хоттабычи нам перестают сниться с первого класса... А тут вы... в шутку, в общем-то... заявляете, что продали бы душу черту за... дачу под Гурзуфом, к примеру. И вдруг — хлоп! — ваш лучший друг кривит на это губы и говорит тихо так и вежливо: — «Пожалуйста!» — И договорчик из кармана достает... на пергаменте, а кстати — скальпелек и гусиное перышко... ну и ватку со спиртом — как в процедурных — для дезинфекции пореза... А ведь с Максом-то так оно у меня и случилось!

— Успокойся, — сказал он, разливая кофе. — Будет тебе и белка, будет и свисток. Мы с ребятами тебе устроим. Но, смотри не прогадай... Да не таращься на меня так испуганно. Душа мне твоя и задаром не нужна. Что у тебя за душа? Что ты есть без своих концертиков, оваций, дисочек? Что-нибудь ты помнишь в

жизни, кроме этого? С душой ты, мужик, продешевил. Тебя надули. Давным-давно... А я тут ни при чем.

Такого серьезного философствования я от Макса сроду не слышал... Хотя внешне он оставался таким же спокойным и равнодушным, как всегда, — закуривал медленно, сыр резал очень тонко и аккуратно, кофе прихлебывал с ложечки.

Я знал, что когда-то Макс тоже был влюблен в Ирину, но своими кривыми губами и «спектрами» быстро ей опротивел... На меня же Макс в обиде не был. Обижаться он, по-моему, вообще не умеет — он слишком рационален для таких бесполезных чувств. И все же Ирину он, кажется, жалел... честно.

Я связал его философское настроение с моейссорой и не ошибся. Макс, устраивая покрасивее кусочек сыра на бутерброде с маслом, обозвал меня последней скотиной и объяснил, что души во мне нет, раз я мукаю Ирину, которой и ногтя не стою, своей дешевенькой гордостью, а сам тщусь не замарать свой талантник об какого-то холуя на «Жигулях». Не замарать! Вот потеха-то! Это после того, как в течение шести лет продавал себя по самым занюханным эстрадкам, где пустые бутылки по углам катаются... Да, кстати, про бутылки — это Макс придумал.

Макс еще много чего сказал, но у меня в одно ухо влетело, а в другое вылетело. Я привык относиться к Максу, как... к вентилятору: включил — расслабился — выключил... Ему я тоже служил какой-то занятной игрушкой. Мы друг друга стоили.

Про его предложение я уже успел забыть, а он кончил тем, что снова пообещал помочь мне избавиться от всех моих записей и дисков — только чтоб доказать мне, какое я ничтожество и что за душой... точнее, вместо души у меня ничего, кроме этого хлама, и нет. «Валютчик» в «Жигулях» и с золотой печаткой не выходил у меня из головы, и мы ударили по рукам.

Через неделю Макс явился ко мне со своими дьяволь-

скими изобретениями. Он показал мне блестящую штучку, величиной с абрикос и железную штуковину побольше, напоминающую фен.

— Тебе все равно не понять, как оно работает, — сказал Макс. — Объясняю популярно. Это глушители. Они настроены на спектр твоего голоса. Вот этот маленький — автоматический, для теле- и радиотрансляций и для всех магнитных записей. Мои друзья установят его на Останкинской башне. Работает универсально: напрямую, через спутники, через ретрансляторы. Стоит кому-нибудь сунуть кассетку с твоими записями в магнитофон и включить — сразу возникнет эффект стирания. Ну, с телевидением и радио — совсем просто... А вот это, — Макс протянул мне «фен», — для дисков. Дальнобойность — двести километров. Это очень хитрый виброизлучатель. Он уничтожает диски с твоими записями. С ним тебе придется покататься по Союзу... Неплохо бы и по загранице. Тебя ведь, кажется, куда-то экспортировали?..

Я верил и не верил. Но согласитесь: фантастика, да и только! Максу бы патент взять — по всему миру прогремел бы. А он вот безделушку смастерили, а насчет патента отмахнулся:

— Не твое дело.

Я вытащил из конверта свой последний диск-гигант. По спине холодок пробежал.

— Ты под него на стол газетку подложи, — посоветовал Макс. — А то придется пылесос доставать.

Газетку так газетку... Взял Максов «фен» — прямо как «маузер» какой-нибудь или «смит-вессон». Навел его на диск. Сердце запрыгало, в коленках — дрожь. Стою — не дышу.

— Валяй, — нажимай курок, — весело скомандовал Макс.

Я и нажал... Ничего как будто не случилось. Я, честно говоря, что-нибудь вроде выстрела ожидал... А звука никакого — от тишины даже в ушах зазвенело.

И диск будто бы так и остался лежать на газетке. Только Макс начал складывать ее, и он вдруг стал сужаться и весь ссыпался в складку мелкой крошкой.

— Вуала! — объявил Макс, комкая газету. — Вот тебе и «русская рулетка».

А я потом облился. И сразу словно легче мне стало дышать, словно вышел утром — зимой — подышать на морозец. Достал другой диск. Сборник. Там мой шлягерок — в серединке. Щелкнул в него — и кольцо моей песенки превратилось в порошок. Из диска получился бублик и маленький дисочек...

— Только к виску не приставляй, — деловито сопстрил Макс.

Я навел «фен» на соседний дом.

— Захватит всю стену, — сообщил Макс.

Что я чувствовал в эту минуту? Наслаждение охотника, высledившего наконец добычу?.. Не знаю. Что-то вроде этого.

Я снова спустил курок... Я упивался удивлением владельцев моих дисков — скоро они обнаружат в красочных конвертиках кучки черного порошка... То-то же! Как я от вас удрал! И от бабушки ушел, и от дедушки ушел... Веселился до ночи — щелкал во все стороны света.

Через три дня показал свою силу «адский абрикос». По телеку шла «Утренняя почта», а мы с дружками скучали перед ним и собирались поднять себе настроение после вчерашнего: дожидались Вадика из магазина, а с ним — пару бутылок коньяка. Вадик подоспел вовремя: только наше настроение поднялось, как объявили мой выход. Дружки важно перемигнулись и полезли ко мне — чокаться и обниматься. Я чокался машинально, тост не слушал и был себе на уме — ждал дьявольский фокус. Весь подобрался, напрягся и чувствую: холод внутри поднимается, как бывало перед самыми первыми моими выступлениями. Выпили. Дружки уставились в

телевизор, как карпы, — ухмыляются. Я сижу — не дышу...

Появляюсь на экране — весь из себя, улыбочка добильная тут как тут. Только разеваю рот — хлоп! — звука нет... Ну, хохма! Разевает рыба рот, а не слышно, что поет...

Там спохватились быстро — дали заставку. Тишина стоит мертвая, только дружки сопят — недоумевают... Потом с экрана посыпались извинения за «технические причины». Дружки рассердились, заклеймили позором телевизионщиков и разлили опять — за меня, живого и не телевизионного. А я ничего с собой поделать не могу: улыбаюсь хитро и со значением. И тянет заходить — жутко так, как из колодца, и чтобы с громом и молниями... Дружки стали поглядывать на меня подозрительно, улыбочка моя им не понравилась. Допили уже в темпе и разошлись...

Потом начались гастроли. Я рвался на них с одной целью — поскорее изъездить весь свет. Я вошел во вкус. Я был обладателем секрета, можно сказать, мирового значения — эдакого гиперболоида инженера Гарина. Я запирался в купе и прочесывал из «фена» просеку в двести километров. Мои диски исчезали сотнями, тысячами в день. В дороге я не спал ночами. Меня била лихорадка... На обратном пути я расширял просеку вдвое — по другую сторону полотна...

Я возил с собой карту страны. И аккуратно заштриховывал «разминированные» области. Карту я прятал глубоко в чемодан и наконец даже смастерили для нее «двойное дно». Я играл в конспирацию с удовольствием. К хитрой и тонкой улыбочке со значением так привык, что перед зеркалами иногда пугался сам себя... А Макс тем временем улыбался мне снисходительно, как мальчишке, который потерял голову из-за новой чудо-игрушки...

Однажды после концерта — это случилось в Хабаровске... или в Иркутске... нет, пока что точно не вспом-

нил где... ко мне пробилась за автографом девочка — и протянула конверт с диском.

Макс в тот момент оказался рядом со мной, но за спиной. И когда я взял конверт, чтобы расписаться на нем, голос Макса раздался прямо над головой — а Макс выше меня — голос совершенно равнодушный и в то же время вкрадчивый:

— Этот — последний...

Я оторопел.

— Чего-чего? — спрашиваю и оборачиваюсь к нему.

— Этот — последний твой диск, — говорит мне Макс тихо-тихо, на ухо. — Больше их в природе нету. Вообще. Понял?

Тут у меня душа в пятки ушла.

— Откуда ты знаешь? — спрашиваю.

Девочка растерялась, глядит на нас во все глаза — ничего не понимает.

— Знаю, — сказал Макс так уверенно и так... жестко, что никаких сомнений в его таинственной осведомленности у меня не осталось.

Минут десять я упрашивал девочонку отдать мне диск — из сил выбился. Стрелять ей вдогонку из «фена» не хотелось — совсем уж как-то подло... Это я даже тогда понимал...

Наконец за дело взялся Макс и предложил ей обменять диск на один из моих новых галстуков... ну, чтобы с автографом и пожеланиями, и любой дарственной надписью, какую она только захочет. Девочка уж и так была сбита с толку, а тут совсем обмерла и согласилась, кажется, только чтобы скорей от нас ноги унести...

Я оттягивал торжественный момент до самого утра... Никакой боязни я не чувствовал. Было только холодящее душу, приятное волнение... В пятнадцать лет я прыгнул с парашютной вышки. Перед прыжком я тянул время и волновался так же, как потом — в ту роковую ночь.

Когда стало светать, мы с Максом вышли на балкон. Я вытащил диск из конверта, а Макс приготовился стрельнуть пробкой и потряс бутылку шампанского. Проводы последнего диска ожидались помпезными: с тостом и битьем бокалов.

Сердце вдруг стукнуло нехорошо — с твердым и пустым звуком. И я тут же размахнулся и запустил диск ребром вниз, на асфальт. Однако он вывернулся на бреющий полет — спланировал через улицу и воткнулся в угол дома.

...Хрустнуло так, будто все небо раскололось... Только черные осколки по сторонам разлетелись...

Потом хлопнуло... Не помню — то ли это Макс стрельнул пробкой, то ли что-то лопнуло у меня в голове...

Да, доктор, я думаю, что был звук лопнувшей памяти... Нет, вы только, пожалуйста, не считайте, что я так всерьез думаю... Это просто красивый образ, фантазия...

На самом деле, вероятно, это был удар от падения. Ведь там, на балконе, в гостинице, я вдруг потерял сознание, верно?..

На этом кончилась история той моей жизни и началась история болезни...

Я думаю, Макс сам был поражен таким сногшибательным эффектом. Шутка ли: потеря сознания на целую неделю и выпадение из памяти последних семи лет жизни, как раз начиная с того дня, когда я впервые вышел на эстраду... И наконец — психбольница... Да уж... Кончились шутки...

Ну, о своем беспамятстве я рассказывать не буду. Противно. Да вы сами все знаете лучше меня — «кататонии», «амнезии», мало ли у вас там всяких умных словечек записано...

Помните про перегоревшую лампочку? Которая с вакуумом внутри?.. Это когда я на переходе топтался, перед «Жигулями»... Но тогда я придумал сравнение, а

здесь, у вас, я именно так себя и ощущал. Я не хочу больше об этом говорить, доктор.

Главное, что теперь я здоров и пригожусь, наверное, для вашей диссертации. Я помню про себя все... почти все. Можете проверить.

Только, поверьте, ваши таблетки и уколы, и всякие гипнозы тут ни при чем... Знаете, что нужно для лечения нашего беспамятного брата?.. Совсем немного... Шерше ля фам...

Она появилась здесь впервые два месяца назад. Как бы это сказать покрасивее... Как мимолетное виденье... и так далее. Старо, правда, но лучше все равно не скажешь.

Я ее не узнал. Вид у меня, наверно, был жалкий... Она присела на краешек стула, вся вытянулась в струнку, чуть вспугни — и упорхнет. И долго смотрела на меня, смотрела и молчала. У нее в глазах стояли слезы... Я к тому времени уже научился очень виновато улыбаться — перед всеми своими знакомыми, которых повыдуло у меня из памяти... Вот так мы и сидели друг перед другом с четверть часа — тихо-тихо... Я — с дурацкой улыбкой, а она — с дрожащими губами.

Потом мы познакомились, и она принялась кормить меня апельсинами. Апельсины мне нравились, и я сился вообразить, в каких отношениях мог я быть с этой девушкой в моей пропавшей жизни... Когда спустя полчаса я уже совсем приручился и начал хватать дольки прямо из ее пальцев, я, наконец, не выдержал и спросил ее об этом прямо...

Она замерла и вдруг крепко-крепко сжала мою руку и потянула ее к себе... к губам...

Должно быть, я на секунду потерял сознание. Вспышка была такой ослепительной... Я вздрогнул, и она испугалась. И мне стало очень жаль ее и захотелось скорее успокоить... Поверьте, это было первое живое чувство — в пустой, холодной темноте... И тут же я ощутил в себе нечто совсем странное... Моя пустая

память вдруг начала приобретать некий цвет... Нет, доктор, вы только, пожалуйста, не настораживайтесь... Пусть это будет только сравнением. Представьте себе небо, когда только-только начинает светать. Оно окрашивается тонким белесым оттенком, который кажется светящейся пленочкой, пенкой, затянувшей ночную тьму. Это будто бы еще и не свет, а только — предвестие света, печать света... яви... Такое свечение вдруг затянуло семилетний провал в моей памяти.

И в этом свечении простило неуловимым движением теней и неясных отголосков какое-то событие, в котором я и участвовал, и в то же время наблюдал себя со стороны... Это былассора с женщиной... Ни лиц, ни слов, ни места действия невозможно было различить. Но по мелодии интонаций и жестов ясно определяласьссора с женщиной... Да, это был театр теней — они скользили по предрассветному туману...

Воспоминание рождалось в муках... Наверно, у меня вся физиономия перекосилась, как от зубной боли, потому что... Ирина испугалась, встрепенулась и поспешила уйти.

Через два дня она вернулась... Я увидел ее издалека, в дверях рекреации — и прямо осталбенел. Доктор, я вспомнил ее! Я вспомнил, как ее зовут! Я вспомнил — до мелочей — нашу первую встречу! Я чуть было не разревелся, ей-богу.

Помните ведь, как встречал я тут своих дружков и подружек. Всех родных, всех, кого знал *до* начала моей роскошной семилетней карьеры, я не забыл и страшно радовался, когда они навещали тут меня... Моя память начала прилежно запоминать и все события *нового* времени — после провала сознания: моих *новых*, здешних знакомцев... вас вот... в белых халатах... Но мои приятели и подружки веселого времени, канувшего во тьму... Странное дело. Что такое с ними стряслось?.. Гляжу, и вашей науке эта загадочка не по зубам... Все они превратились в призраки, в бесплотные тени.

...Сколько их тут всяких перебывало. Валом валили — поглазеть на диковинку. Я у них теперь — в суперстарах хожу... Очень, знаете ли, модно и современно — попадать нашему брату в психушку. Девочки ахают и закатывают глазки: «Ах, Жоржик-то — шизанулся!..» Фирма...

Навещали... Ахали — восторженно. Дружки руку пожимали — опасливо, со значением — и уходили... И пропадали из памяти напрочь. Как закрывались за ними двери — так вылетали они из моего сознания, будто и не бывало их... Макс, оказывается, чуть ли не каждый день ко мне наведывался... Ирина говорит, каялся ей, что виноват, мол, затеял дурацкий розыгрыш, а вон какой бедой он кончился. Да... приходил едва не ежедневно... И каждый раз я знакомился с ним заново...

Все эти посещения в конце концов стали мне в тягость... Приходят — в глаза заглядывают осторожно... Я прикидывался, что ждал их, дождаться не мог, но всякий раз попадал впросак: беспамятство открывалось. Дружки таращили глаза и терялись... Начинались мучительные минуты участливых интонаций, и у меня едва хватало сил дотерпеть, пока они сгинут бесследно из моих странных снов наяву...

Только она одна — единственный персонаж моего семилетнего шансонетства, — она одна и сумела сломать заклятье... Я *вспомнил* ее... Я вцепился сознанием в свое первое кровное воспоминание, как в спасательный круг... Я собрался с духом и сказал ей — тихо, затаяв дыхание, будто настраиваясь взять высокую ноту:

— Здравствуй, Ира...

Она замерла и побледнела. Наверно, ее предупреждали, что всякий раз ей придется знакомиться со мной заново — и начинать отвлеченные разговоры, не упомянутая о прошлой встрече: чтобы не вышло идиотского конфузса.

— Здравствуй, Ира, — повторил я уже уверенно. Я чувствовал, как моя память набирает силу.

— Ира, я очень соскучился по тебе, — сказал я ей и понял, что смертельно соскучился по жизни.— Я помню тебя... А этих я просто дурачил. Они все мне ужасно надоели... Я буду помнить только тебя...

Пропавшие семь лет жизни начали возвращаться ко мне... В ту нашу, вторую встречу я наконец *довспомнил* нашуссору и понял, что был когда-то последней скотиной... Макс был прав... Его я теперь знать бы не знал, если б Ирина не рассказала мне о нем... Все мои бывшие дружки и подружки вернулись в мою память только с ее позволения, из ее рассказов. Но, по правде говоря, мне уже было все равно: помнить их или нет...

За неделю весь семилетний провал заполнился событиями в их законном порядке. Перед дружками я хотел-таки прикинуться непомнящим, но, как ни странно, посовестился... Однако многие события которые я теперь мог восстановить в полной их ясности, стали казаться мне... как бы поточнее определить... эпизодами из каких-то дрянных книжек, прочитанных кое-как, где-нибудь в метро... Напротив, мне было очень странно вспоминать другие сцены, в которых себя-то я толком и не помнил, но как раз они начинали вдруг всерьез волновать душу.

Например: в горы меня никогда не тянуло. Пару раз дружки затаскивали меня туда на пикники. Дело начиналось муторным подъемом, а кончалось бешеной, беспросветной пьянкой в каком-нибудь модно сколоченном бунгало... Потом катились вниз — в пыльной сизой дурноте. Вот и все впечатления.

И вдруг здесь, в больнице, целыми днями вспоминаются мне горы, одни только горы. Утренние горы, полуденные горы, закатные горы, горы после дождя — сиреневые, в тонкой, едва заметной дымке... Будто всю свою сознательную жизнь я прогулял по горам... В одиночестве.

Я ломал голову, откуда это могло взяться... А вы, доктор, догадаетесь — откуда?

...Угадали... Конечно, это пришло ко мне из ее памяти. Она делилась со мной самым дорогим своим достоянием... А события *моей* прошлой жизни вернулись ко мне от моих же давних хвастливых рассказов об этих событиях — и через ее впечатления от этих рассказов. По такой вот сложной цепи... Потому *мои* воспоминания о бывшей жизни и вернулись ко мне такими серыми и скучными.

...А я вот без подсказки догадаться не смог... В субботу мы гуляли с Ириной по аллейке, у самого забора. Вокруг ни души. Было пасмурно и тихо... И вдруг меня потянуло немного попеть... Впервые после возвращения из могильной тьмы... Мы брали молча. Нам было хорошо... Я не вытерпел и потянул почти про себя:

Утро туманное, утро седое...

Я удивился своему голосу... Это был не мой голос. Мне показалось, такой голос должен принадлежать человеку, который мог бы теперь стать моим лучшим другом...

Нехотя вспомнишь и время былое,
Вспомнишь и лица, давно позабытые...

Я дотянул до конца — и понял, что никогда раньше этот романс не пел и вообще не знал его наизусть.

...Я остановился... Ирина смотрела на меня во все глаза — будто я только что показал ей какой-то невероятный фокус... Она шевелила губами — кажется, повторяла слова романса. И наконец проговорила тихо:

— Я всегда мечтала, чтобы у тебя был *такой* голос... Это мой любимый романс. Я никогда не слышала, как ты поешь его.

И я прозрел. Я понял, что она любила меня всегда.

Целую вечность тому назад, гораздо раньше того вечера, когда Алик познакомил нас, она увидела меня перед одним из моих первых выступлений. Я сидел на оградке, позади эстрады, укрывшись от фонарей под акациями, и... мерз от волнения. Меня тянуло забиться

совсем — в темноту, чтобы никто меня не нашел... И как только она меня там разглядела...

И я опять удивился — своей *новой* памяти. Тому, как же это мне удалось разглядеть самого себя в этой тьме времен: жалкого, беспомощного — в сумраке под акациями. Себя, которого всегда так упорно старался забыть... Того себя, которого еще не попутал бес, себя, еще не отвернувшегося от друзей и от собственного детства.

Доктор, я выздоровел. Честное слово, выздоровел. Навсегда. У меня есть тому доказательство.

У Ирины чудом сохранился один из моих дисков... Конечно, чудом, ведь Москву я разминировал раз десять... Остальные диски, хранившиеся у нее на даче, километрах в пятидесяти от города, давным-давно все рассыпались... Обветшали и рассыпались.

Я уговорил ее принести мне этот — должно быть, и вправду, последний.

Позавчера ночью я не спал. Собирался с духом. Я боялся одного: снова потерять Ирину. К утру я все-таки пересилил себя: мне необходимо было убедиться, что я смогу наконец жить как живой обыкновенный человек, а не Кащей какой-нибудь, у которого смерть в иголке, а иголка в яйце... ну, и так далее.

Я вышел утром на *нашу* аллейку, достал из-за пазухи диск — и треснул его об асфальт.

И ничего не случилось. Ничего, доктор.

Меня навестила Ирина, и мы пошли гулять. Как ни в чем не бывало.

Я выздоровел. Я знаю: никогда больше моя память не расколется, как старая заезженная пластинка.

Никогда...

РАССКАЗЫ

КОЛЫБЕЛЬНАЯ НА РАССВЕТЕ

Впервые смерть показалась Щерину столь неотвратимой. Полыхнул в глазах ослепительный, холодный сполох — и приснилось вдруг: пронзительно-ясное небо и падающая из зенита на голову хромированная бомба. Она сверкала боками на солнце и сползала с неба, словно огромная капля липкой ртути.

Вода просачивалась к телу сквозь шинель и брюки, а Щерину чудилось, будто не вода это, а страх. Страх просачивался в душу стремительными зябкими струйками и не давал сдвинуться с места, укрыться, спастись...

— Товарищ капитан! Товарищ капитан!

Его толкали в плечо.

— Ложись! — хрюпко выдохнул Щерин — ртутная капля беззвучно неслась сверху. — Ложись!

— Товарищ капитан! Я думал, вы по нужде отошли... А вы упали...

Наступила явь. Щерин очнулся и сразу поднялся на ноги. Все вернуло на свои места — и уже не могло взорваться от одного неосторожного вздоха.

Перед ним стоял Заладский и растерянно улыбался, не понимая, то ли подбодрить командира шуткой, то ли пожалеть — опять тот заснул на ходу и, свернув с дороги, повалился в затопленный грязью кювет.

Щерин оглядел себя и брезгливо тряхнул руками:

— Весь... как свинья.

— Нате, возьмите.

Щерин вздрогнул даже и прищурился: лейтенант протягивал ему ослепительно белый, чистейший платок.

Среди земной слякоти под тяжелым серым небом платок этот казался чудом.

Щерин смущился:

— Не надо. Куда там... Спасибо. Свой есть... Руки вон какие, гляди.

Он стал отряхивать шинель — и не сводил взгляд с белого платка. Лейтенант все не прятал его, думая, что все же пригодится, а Щерина платок привел в такое смущение, точно его знакомили с очень красивой девушкой.

— Пусть подсохнет, — не выдержал он. — Потом лучше отойдет... А где рота?

— Вон, — кивнул Заладский. — Топают спящие красавцы... — а сам он из последних сил разлеплял опухшие веки.

Рота всползала на холм.

— Надо догнать. А то вроде меня... искупаются.

Бег немного взбодрил. Перегоняя строй, Щерин заглядывал в лица. Все спали. Все — до единого. Рядами. Повзводно. Закрытые глаза. Расслабленные истощенные лица. Шествие покойников...

Какие силы держат солдат на ногах? Заставляют вырывать сапоги из грязи и снова ступать в клейкую жижу, делать еще один шаг, потом второй, третий, миллионный? И притом — держаться вместе, строгими рядами? Какие силы, усыпив истощенное сознание, стали управлять сознательным движением?

Они выходили из окружения. Группами... Потом собирались в роту... Сколько суток выдержали без сна? Три, пять, десять? Черт с ними, с цифрами. Когда позабыт счет потерянным жизням, считать дни и ночи — постыдно.

Рота лунатиков. Рота слепцов... и он — их командир. Поводырь. Он теперь не командир, а поводырь... И дело уже не в звездочках на погонах — совесть неносит погон...

«Что они видят? — думал Щерин. — Все, что угод-

но, только не войну... Девушек, футбол, рыбалку... Не слишком богатая фантазия, — заметил он. — Какая еще фантазия после двух контузий».

И все придуманные сны про футбол и про девушек тут же грезились самому Щерину, нацатывались с волнами забытья, сопротивляясь которому не хватало сил.

Дорога заворачивала влево, ровно и полого, словно жалела спящую армию.

— Левее! — громко произнес Щерин. — Следи за правым флангом.

Сам он взялся присматривать за левым. Рота, словно по воле могущественного гипнотизера, стала забирать влево и на удивление точно вписалась в поворот. Может, кто-то из солдат и проснулся на несколько мгновений, подправил свой ряд, соседа по плечу или спереди — и снова заснул. Но со стороны весь маневр выглядел страшновато: никто не открывал глаз, никто не повернул головы. Только один солдат с правого фланга, сбившись с шага, чуть отошел от своих, но лейтенант был начеку и, взяв его за плечи, молча вернул в строй.

Новая мысль пришла к Щерину. Спят они, а команда слышатся. Крикни сейчас: «Рота! В атаку! За мной!» — и солдаты, продолжая спать, защелкают затворами — и ринутся с равнодушным криком «ура!» и не открывая глаз...

Так бы и проспать всю войну — и не пережить столько страха, столько боли и нечеловеческой ненависти... Проспать бы эти два года: бежать, стрелять, вжиматься в землю — все в равнодушном беспамятстве... Заснуть в тот самый миг, когда тронулся, тяжело заскользил эшелон по ртутным рельсам и ветер затрепетал платьями и платками женщин, а на солдатах не дрогнула, не шелохнулась ни единая нитка, и сами они, и Щерин вместе с ними, замерли в вагонах, как в одиночных, следующих друг за другом кадрах кинохроники. Они замерли, и души их замерли и память их

замерла — они вглядывались в родные лица, ускользавшие, словно вечерние тени, в заповедное довоенное прошлое. В тот миг и заснуть бы...

— А проснуться в день окончания войны... Тут и глянешь, сколько всего наворочала война... С ума сойдешь.

— Товарищ капитан! Поспали бы немного, — предложил Заладский. — Я-то вздрогнул на прошлом переходе... Давайте, я вас под руку возьму, как девушку. — Он улыбнулся. — Тогда ведь сможете спать.

По молчанию командира лейтенант решил, что тот не против, и робко взял его под локоть.

В ту же секунду Щерин заснул.

Вернулся он в явь, когда лейтенант остановился и придержал его. Рота шла рядом — глухо гудели по грязи сапоги.

— А? Сколько времени? — машинально спросил Щерин и осознал, что задал вопрос, только когда Заладский на него ответил.

— Восемь. Без пяти. Товарищ капитан, разбудим наших. Скоро город. Свои. Пусть хоть привыкнут, что живы.

У Заладского глаза были покрыты густой сетью багровых прожилок, смотрел он на мир напряженно и немного растерянно. Такой взгляд появился у него после ночного минометного обстрела: тогда их обоих, спящих, контузило близким разрывом и завалило досками рассыпавшегося сарая. С тех пор Заладский смотрел на мир растерянно, точно заснул он на Земле, а проснулся от взрыва на другой планете. Проклятая мина смешала виденный сон с явью.

Щерин огляделся. Дорога проходила через погибшую дубраву. С высоты облаков дубрава могла казаться россыпью обгоревших карандашей — обугленные, окаменевшие стволы с торчащими в разные стороны коряжистыми кульями. Щерин на миг усомнился, вправду ли дубрава росла здесь, но странное чутье, тихая ноющая боль в груди заставляла верить: была дубра-

ва. Это чутье — видеть в разрушенном и умершем потерянные формы и ушедшую жизнь — появилось у Щерина после той же ночной контузии.

Минутой позже Щерин заметил на дороге скоробившийся, изуродованный лист. Дубовый. Чутье не могло обмануть. Месяцем раньше Щерин видел жуткое, привычное зрелище: из подбитой и сгоревшей тридцатьчетверки извлекали обугленные трупы танкистов. От лиц у них ничего не осталось. Но Щерину почудились их улыбки и веснушки, и курчавая русая шевелюра механика-водителя. Через несколько часов где-то достали фотографию экипажа — и Щерин не удивился. Война лишает чувства удивления.

Что же произошло в этой дубраве? Вернее всего, среди деревьев спрятались фрицы — и по ним лупила батарея «катюш». Дубы полегли ни за грош.

— Нет, — покачал головой Щерин. — Тут будить ребят не стоит. Больно мрачная картинка... Поменяемся, что ли? Поспи теперь сам.

Потом потянулось пустое поле. А за ним — истлевшая деревушка. Полтора десятка дворов, сметенных огнем и танками. Единственная уцелевшая печная труба торчала из грязи, точно ствол утонувшей в болоте гаубицы. И снова Щерин заглянул в прошлое: оно промелькнуло по глазам, как солнечный зайчик от распахнувшегося вдали окна... Крыши из дранки, рябины вдоль улицы, скамейки у калиток... Когда-то друзья-археологи взяли Щерина с собой на раскопки какого-то древнего города. В то лето было много дождей — городище заносило грязью, и напоминало оно старое пожарище...

И снова Щерин не решился будить солдат.

А потом, спустя часа полтора, рота подошла к городку. Этого городка тоже не пощадил, не миновал огненный вихрь. Он пронесся струей, растопил и развеял камень и железо: остывая, они собирались каплями, текли

потоками и вздымались бесформенной, бессмысленной твердью.

Рота вступила на первую улицу, когда Щерин вдруг понял, что такое война. Даже невыносимая сонливость пропала от этого неожиданного открытия. Война — это страшное ускорение времени. Вот — дубрава. Если тщательно, годами, уничтожать в ней молодь, выводить всю траву, всю живность, то через тысячу лет дубрава, наверно, превратится в россыпь обугленных карандашей. Если отрезать деревеньку от мира и заказать новому поколению родиться в ней на свет, то через полвека опустеет деревенька, а потом истлеет и обратится в забытое пожарище. Проведи такой жестокий опыт над любым городом — и спустя тысячелетие его улицы не будут отличаться от этой. В пору войны время безжалостно ускоряется. В год минует полтысячелетия, в два — целое. И лишь два года отданы на возрождение жизни, а против них девятьсот девяносто восемь — на доживание, умирание, тление и гниение. Время, как и вода, бывает живым и мертвым. Война — это чудовищное ускорение мертвого времени.

Навстречу шла другая рота. Видно, из резерва: дышали бойко, шумно и живо бухали сапогами.

Заладский проснулся сам.

— Товарищ капитан. Будим. Засмеют ведь.

— Нет, — решил Щерин. — Останься здесь. Я договорюсь.

Он не хотел будить роту. Не хотел, чтобы она проснулась в разрушенном городе. Не хотел, чтобы она встретила наяву резервников, сытых, бодрых и отоспавшихся.

Щерин выбежал вперед, поговорил с капитаном, командиром той роты. К радости Щерина, он сразу понял его и отвел свою роту в сторону, с мостовой на тротуары, чтобы пропустить встречных.

Резервники, хоть их капитан ничего им толком не разъяснил, а только приказал «отойти и не шуметь»,

быстро смекнули, в чем дело, — наблюдали за спящей ротой с любопытством и с тревогой.

— Во, лунатики! — и весело, и уважительно сказал кто-то. — Навоевались хлопцы...

— Баюшки-баю!.. Они теперь, гляди, и девах тискать станут вот так — без просыпу...

И резервная рота загремела добрым раскатистым смехом.

— Тише, черти! — беззлобно рассмеялся Щерин. — Ребят разбудите.

— Паром небольшой и покорежен сильно, — сообщил командир резервников. — Переправляться станьте — больше взвода не сажайте... Хотя дело быстро пойдет — у вас и на пару взводов еле наберется...

Холмы обрывались у реки правым, крутым берегом. Дорога нашла между двумя высотами пологий спуск и вывела роту на узкий пляжик. Щерин вытянул ее по берегу и остановил.

Паром стоял рядом, приплясывал на мелких волнах. Перила на нем были разломаны, многих досок не хватало.

Щерин долго, непонимающе глядел на другой, низкий берег. Было до него метров пятьдесят, и просматривался он отлично: на нем Щерин не заметил ни единого следа войны.

Реку, видно, форсировали с боем: по их крутому берегу плотным слоем были рассыпаны остатки разбитой техники, лодок, понтонов, кое-где, будто вехи, торчали из воды стволы легких пушек. Зато на другом берегу стояла прозрачная березовая рощица, и глаз не находил в ней ни одного поломанного деревца... Сохранились мостки, около них лениво копошились гуси, а на досках сутилась дворняга — то тянулась к гусям, следя за каждым их движением, то пугливо принюхивалась к воде. Остались невредимыми и высохшие заросли тростника.

— Там будто и не воевали, — согласился вслух Заладский.

— Вот теперь пора будить, — сказал Щерин, и вдруг сердце его заколотилось.

И как будто впервые за два года ему удалось удивиться: что это с ним, почему вдруг сдавило дыхание?

Тот берег был его памятью...

Щерину вдруг захотелось устроить здесь, до переправы, что-то вроде маленькой торжественной линейки, но он тут же раздумал: они с Заладским еле держались на ногах, остальные взводные погибли, а выпачканная глиной шинель совсем не годилась для парадов.

— Направо! — приказал он.

Рота, колыхнувшись, повернулась лицом к реке, к тому берегу.

У Щерина холодок пробежал по спине: и вправду лунатики. Все — с закрытыми глазами. Чего доброго и не проснутся... И блеснула в памяти хромированным боком огромная ртутная капля. Она неслась на них, спящих... И Щерин понял, что только в грядущий миг, только он сам сможет остановить, оборвать это смертельное падение там — в пронзительно-ясном и ледяном небе...

Щерин вздохнул рывком — и отдал новую команду с таким чувством, будто признавался в любви:

— Рота! Подъем!

ПЕРЕКРЕСТОК НА ПУТИ К СОЛНЦУ

Накануне в нижнем углу обзорного экрана командир прикрепил фотографию. Теперь, когда взгляд его уставал от мрака и звезд, он мог опустить глаза — и ранним утром пойти по цветущему яблоневому саду, от калитки к дому...

До дома в саду теперь что-то около восьмидесяти миллионов миль. В сущности, пустяк — во времена, когда судьба может разбросать близких людей на три десятка световых лет.

В этот час в саду у командира гостили штурман. Его вахта только началась, и командир оставил его одного. Корабль Патрульной службы догонял первую планету Солнечной системы Меркурий.

«Это командир славно придумал...» — признал штурман, любясь яблоневым цветом.

Домашние сюжеты вешали на стены кают, носили в нагрудных карманах. Штурман не слышал, чтобы их kleili прямо на обзорные экраны... Он был совсем молод и ушел в первый длительный рейс. А в первый рейс по традиции ничего из дома не брали: «чтобы прочувствовать», говорили наставники и бывалые люди.

Штурман поднял глаза... не поверил им и, тряхнув головой, опустил веки. По спине пробежали мурашки.

Похоже было, что глаза не обманывают. Штурман тяжело вздохнул и, резко поднявшись из кресла, ощущил короткое головокружение. На экране ничего не изменилось.

«Вот так штука!» — только и подумал штурман и пошел за командиром. Тот сидел без света. Лампочка аварийного освещения отразилась в его глазах: два зеленых огонька загорелись в полумраке перед штурманом.

«Вот перепугает-то детей и жену, — вдруг пришло в голову штурману, — если заглянет такой в дом из сада».

— Олег, дорогой, — с тоской в голосе заговорил командир. — Извини. Я три месяца проторчал в городе. Сам понимаешь... Толпа. Суeta. Это не для нас.

— Одиночество придется отложить, — давя внезапно накатившую дрожь, вымолвил штурман. — Там... человек за бортом.

— Надо же, — поднимаясь на ноги, невозмутимо заметил командир. — И что он там делает?

— Ничего, — равнодушно ответил штурман, с трудом поддерживая странную игру. — Летит... Он без скафандра. И чувствует себя превосходно.

— Вот как, — без всякого чувства оценил командир новое сообщение. — Стоит взглянуть.

Штурман не ответил. Он проиграл.

На экране крохотная фигурка человека — там, на самом краю Солнца.

— Как водомерка, — растерянно пробормотал командир. — Расстояние?

— Девять тысяч миль.

— Увеличь еще.

Ослепительный край Солнца растекся по всему экрану. Теперь космический пловец был совсем рядом. Он лежал в пустоте, скрестив руки на груди, и пристально вглядывался в глубину огненного океана. Он не отличался от землянина: на вид лет двадцать, не больше, тонкое лицо, прямой нос, курчавые волосы.

— По одежде трудно определить, откуда такой, — заметил командир.

Все одеяние пловца: что-то вроде набедренной повязки. Мускулистое смуглое тело.

— Загорает, что ли? — без смеха предположил командир.

— Видно, ему совсем неплохо, — согласился штурман. — Что будем делать?

Командир пожал плечами:

— Попробуем познакомиться, Что еще остается?

Его глаза были обращены к Солнцу, но оно отражалось в них, словно в двух никелированных шариках. Он созерцал светило, заполнившее пол-Вселенной, с напря-

женной безучастностью и на появившихся рядом людей в скафандрах не обратил никакого внимания.

«Кукла, что ли... — подумал штурман. — Манекен».

Он захотел увидеть лицо командира, но его шлем был зеркальным и отражал лишь часть внешнего мира — звезды, Солнце и профиль «манекена».

— По-моему, чья-то дурацкая шутка... — раздался в наушниках голос командира.

Он протянул к «манекену» руку... а тот протянул свою навстречу. Рукопожатия не вышло — командир отдернул свою, точно ожегшись.

— Черт! — воскликнул он.

Неизвестный повернулся голову к землянам, но ни удивления, ни любопытства не появилось на его лице. Рука его вернулась в прежнее положение, а глаза... глаза, казалось, лишь автоматически усваивали какую-то новую информацию.

«Робот, — была следующая мысль штурмана, — Андроид».

— Может, поговорим с ним? — опомнившись, предложил командир.

— Каким образом? — изумился штурман. — Прикажешь снять шлем?

— Если есть необходимость, говорите, как это обычно делают люди, — раздался в наушниках незнакомый голос, хотя губы космического летуна остались неподвижными. — Этого будет достаточно.

— Ты слышал? — после паузы пробормотал командир.

— Да.

— Он что, мысли читает?

— Не читаю, — был ответ извне. — Вернее сказать — слышу. Мысли, готовые стать высказанными.

Командир пробормотал что-то нечленораздельное и покашлял в микрофон.

— Вы тут... э-э... давно? — вдруг задал он вопрос.

— Сматря с каким сроком сравнивать. Если с обычной человеческой жизнью, то давно.

«Дурацкий какой-то разговор», — только и подумал штурман.

— Вам не нужно помочь? — снова нашелся командр.

— Нет, не нужно. — Ровный, бесчувственный голос. — Благодарю.

— А мы подумали, что вы нуждаетесь в помощи, — будто настаивал командр.

— Нет. У меня все в порядке.

— Теперь давай ты соображай. У меня голова кругом идет... Эй, Олег, ты еще жив?

Штурман наконец догадался, что командр обращается к нему. Он с трудом собрался с мыслями, попытался сосредоточиться.

— Откуда вы?.. У вас есть имя? — Штурман обрадовался, что невзначай сообразил задать хоть один толковый вопрос.

— Я с острова Крит. Мое имя Икар.

— Икар? — Штурман поймал себя на том, что его уже ничто не удивляет, запас удивления кончился.

— Икар. Вы не ослышались.

Командир молчал и висел в пространстве без всякого движения. «Замаскировался», — пришла к штурману злая мысль, но он сразу отогнал ее, вспомнив, что мысли от этого сверхчеловека не утаишь.

— Вашего отца звали Дедалом?

— Вы не ошиблись. Вам известен мой отец? — Голос показался чуть удивленным, но лик Икара был непроницаем.

— Вы и ваш отец — людй из легенды. А легенду знают все двадцать миллиардов землян.

— Двадцать миллиардов. — Пауза. — Воистину, чем дальше бежишь от людей, тем больше о тебе вспоминают.

«И это вместо благодарности потомкам!» — с обидой подумал штурман.

Пауза длилась, штурман чувствовал, что Икар услышал его кричащую мысль, но молчит... очень тактично молчит — и от этого злости прибавилось.

— Вы не забыли Землю?

— Нет. Но моя память очищена от эмоций. Силы нужны для полета.

«Он видит нас насквозь... Холодный рентгеновский глаз».

— Память о вас, Икар, иного рода. Память о герое — память чувства, а не ума.

— Одно дополняет другое. В этом гармония мира. Противоположности составляют единство.

«Знает диалектику, подлец!»

— Эй, командир! — спохватившись, что мозг его открыт, крикнул штурман. — Что молчишь?

— Я слушаю, — хмуро констатировал командир. — Продолжай, у тебя это хорошо получается.

Еще одна пауза.

— Никто не знает, что вы достигли Солнца...

— Еще не достиг.

— Осталось немного.

— Согласен.

— Люди подумали, что вы утонули в море. Солнце растопило воск, и крылья рассыпались... Наверно, к берегу прибило перья.

— Перья упали, а я нет. Я обрел силу.

— Ради чего?.. — Штурман все не мог побороть обиду: рассудок подсказывал, что Икар лишь бесстрастно отвечает на вопросы, но чудилось, однако, что он с первого же слова язвит.

— В чем смысл жизни? — спросил Икар.

Штурман поколебался:

— В движении, должно быть...

«Демагогия какая-то», — последовала за фразой мысль.

— И каждый имеет право двигаться в своем направлении? — снова спросил Икар.

— Вероятно, имеет... Так же вероятно и то, что Дедал очень горевал о гибели сына.

— Через это проходит каждый. Но так же проходит и время — и чувства тускнеют. Путь берет свое.

— Да, тех, кто вас ждал, давно уже нет в живых. — Штурман тут же раскаялся, что дал этой мысли сорваться с языка.

— Верная интерпретация моих слов. Все моральные обязательства временны — вот суть. Если сумеешь их пережить — и не упасть в воду вместе с крыльями, то перед тобой откроется новая свобода.

— Олег, нас кто-то дурачит! — прорвался в наущники голос командира. — Эти словечки... «интерпретации», «обязательства»... Где он их понахватался? Не в Древней же Греции. Это же наш язык!

— Моя задача — четко сформулировать мысль. А в ваших мозгах она воплощается в наиболее адекватных для вас понятиях. Ваш язык не имеет для меня никакого значения или трудности.

Тишина... Штурман понял, что командир замолк навсегда.

— А что имеет для вас значение? — огрызнулся штурман.

— Путь.

— Достичь Солнца?

— Да.

— А что потом?

— Пока неизвестно. Путь подскажет сам.

— Быть может, стоит вернуться на Землю и научить людей вашим поразительным... божественным способностям?

— Дурной пример заразителен.

Ни тени улыбки в глазах. «Два лазерных луча», — подумал штурман. Он поймал себя на том, что старается не смотреть в глаза «собеседнику» и часто опускает

взгляд, как будто ища что-то... в углу пространства...
тихий дом в цветущем яблоневом саду...

«Для кого Икар, а для кого — и Медуза Горгона», —
подумал штурман.

— Да, Икар, мы слабы. Космос губителен для на-
ших тел. Мы не умеем летать без крыльев... Почему
бы вам не вернуться на Землю и не исправить легенду?

— Советы людей противоречивы. Другой ваш сопле-
менник советовал не исправлять легенду.

— Кто? — обомлел штурман.

— По вашим меркам это было давно. Что-то около
трех веков назад.

— Но этого не может быть! Тогда мы не летали
далше Луны.

— Он летел... вернее, падал в крылатой лодке. Она
была гораздо меньше вашей.

— Меньше?.. Его имя известно?

— Антуан де Сент-Экзюпери.

У штурмана перехватило дыхание:

— В это поверить еще труднее...

Икар понял мысль штурмана по-своему, он вложил
в нее лишь логический смысл, следовавший из диалога.

— Тем не менее он так и сказал: не нужно исправ-
лять легенду, люди не заслужили такого разочарования.

— Он долго падал... — подумал вслух штурман.

— По вашим меркам — долго. Однако он позже
меня оторвался от Земли и раньше достиг Солнца. Но я
не испытываю чувства зависти. У каждого своя цель.
Одно и то же расстояние преодолеваешь быстрее, если
падаешь, а не взлетаешь. Вот один из законов Мира.
На Пути встречаются ямы, обращенные дном к небу.
Тебе кажется, что взлетаешь, а на самом деле падаешь.
И берегись сломать себе шею. У меня был выбор, и я
не жалею, что выбрал более медленный путь.

— Вы думаете, эта *ваша* мерка годится для Экзю-
пери?.. А утверждаете, что не завидуете ему...

— Все мерки относительны, и я не собираюсь спо-

рить: Речь идет о выборе. Он сказал, что у него тоже был выбор: упасть или в море, или на Солнце. Вы сомневаетесь в моей беспристрастности. Тогда спросите, чем он мотивировал свой выбор. Он сказал: сгореть в небе полезней, чем утонуть в пучине, пусть потомкам будет чуть светлее.

Штурман обратил взгляд на Солнце и представил себе, как вспыхивает в протуберанцах крошечный самолет — словно кусочек бересты.

— Странно. Он должен был сгореть гораздо раньше. Температура...

— Тем не менее я видел: прежде, чем запылать, его лодка коснулась днищем огненного океана.

В глазах Икара солнечный жар обращался в ледниковый холод.

«Уж он-то не сгорит», — подумал штурман и добавил вслух:

— Когда вы ступите на Солнце, будет ли от вас светлей потомкам?

— Понимаю. Вы еще не перебрали все контрагументы. Когда я ступлю на Солнце, фактически я его частично загорожу от вас.

— В чем тогда смысл Пути?

— Вас обуревают эмоции, и поэтому порой вам хочется мыслить более прагматично, чем того требует логика. Понятие пользы весьма относительно. Где-то на Земле слишком холодно — и для людей, там живущих, пользы от меня мало, зато в иных местах слишком жарко, и для тех, кому невмоготу зной, моя тень в какой-то, хотя и малой степени, но полезна.

— Фактически верно, — согласился штурман. — И все же, согласитесь, ваше самосовершенствование могло бы принести людям гораздо больше пользы... или даже вреда... но большее... если бы вы не потеряли всякий интерес к людям.

— Когда человек, склонный к искусствам, привыкший к чистоте и порядку, увидит валяющегося на обочи-

че дороги пьяного и грязного бродягу, в глубине души он волей-неволей возблагодарит богов: благодарю вас, боги, в жизни легко так низко пасть, но вы помогли мне: я не склонен к выпивке, я достаточно утончен душой, люблю чистоту и порядок. Следовательно, я достиг в жизни некоторого духовного продвижения, и мой путь до неба чуть короче, чем у этого падшего существа. Такая встреча случается у каждого уважающего себя человека. И каждый старается подавить или хотя бы скрыть от себя удовлетворение чужим падением. Муки совести, скрывающей радость от чужого падения, — именно это называется самосовершенствованием. Понятие вреда или пользы не имеет к этому никакого отношения.

Штурман молчал, забыв, что рядом в пространстве есть еще третий, командир.

— Да, Экзюпери был прав: люди не заслужили разочарования в прекрасной легенде, — наконец сказал он.

Штурман был не в силах подавить нестерпимое желание хоть как-то задеть Икара, хотя понимал, что обидеть его не легче, чем робота.

— Прекрасная легенда о юноше, взлетевшем к Солнцу...

— Вынужден вас огорчить. Сменилось много поколений, и смысл легенды исказился. Уверяю вас, во времена моего отца это имя служило не кличем боевым, а предостережением: не возгордись. Он, Икар, возгордился, дерзнул подняться выше богов — и заслужил справедливую кару. Но у меня — у меня — не было цели доказать кому-либо свое превосходство. Именно поэтому я здесь, а не в море.

Штурман вдруг почувствовал страшную усталость. Все чудеса разом осточертели, и захотелось, чтобы все кончилось и, главное, замолк навсегда этот монотонный безжалостный голос: Но повернуться и уйти... что же

это значит? Поражение? Штурман снова собрался с силами.

И вдруг он увидел всю картину как бы со стороны. Именно со стороны: как посетитель художественной галереи. Ослепительный лик Солнца, и над ним холодная фигурка человека, фигурка из воска, который нельзя растопить.

«Как инородное тело в глазу, — пришло в голову штурману. — Он и Солнце — несовместимы».

— Истина в другом. В том, что ты не Икар. — Рассудок уже не мог сдержать чувства. — Ты не Икар... Икара оплакали на берегу моря. По легенде его тело нашел Геракл и похоронил.

Пауза.

— Люди остаются людьми, — пришел из пустоты ответ. — Они лгут до тех пор, пока их не упрекнут правдой, которую они сами от себя скрывают.

— Слишком сложная мысль.

— Снова ложь. Да, я — не Икар. И вы это знали с самого начала.

Штурмана бросило в жар.

— Не Икар... А кто?

— Этот мальчишка был моим младшим братом. Они с отцом решили лететь — им нужна была свобода. Что для них свобода: все, что не дворец царя Миноса. Глупцы. Я остался, и отец сказал, что у него нет старшего сына. Нет, как видите? Кто ныне помнит меня? Никто. Значит, нет меня и моего имени. Но я благодарен брату: его выходка заставила меня доказать самому себе, что такое свобода.

— Это подло, — собравшись с мыслями, вымолвил штурман.

— Слишком сложная мысль.

— Подло присваивать себе чужое имя.

— Мне его присвоили вы. Когда вы решили познакомиться со мной, оно было у вас в мыслях. А что вы

слышите сейчас, кроме собственных мыслей? Вы привыкли к традиционным логическим схемам.

Штурман поднял глаза и встретил неживой, спокойный взгляд.

— Да, мы, люди, слабы и смертны, — сказал он, не отводя взгляда. — И помним мы слабых и смертных, которые не устрашились ни слабости, ни смерти. Слабость одного и есть наш Путь. В слабости мы держимся друг за друга и...

— Довольно тебе! — окрик командира напугал штурмана. — Кончай проповедь. Кислорода не хватит.

...Штурман опомнился только через полмили и обернулся.

— Мы даже не попрощались, — пробормотал он.

— Что, очень неловко? — зло усмехнулся командир.

— Ну, не по-людски как-то...

— Для него это не имеет никакого значения.

— А для нас? — Штурман почувствовал, что его злость перекинулась на командира. — Для нас имеет?

Патрульный корабль вернулся на курс.

Четверть часа оба сидели перед обзорным экраном, не глядя друг на друга.

— Все, — наконец со вздохом произнес штурман. — Будем считать, что померещилось?..

— Да, будем считать, — кивнул командир. — Экзюпери был прав... Да и не поверит никто... Координаты у него какие?

— Координаты? — растерянно переспросил штурман. Еще пару минут длилось молчание.

— Значит, будем считать, что мы *ему* померещились, — тихо проговорил штурман.

Командир медленно провел рукой по лицу.

— Подонок, — вдруг резко произнес он.

— Что? — опешил штурман. — Ты о ком?

— Ну и подонок, — словно не слыша штурмана,

повторил командир и, потянувшись к пульту, включил канал связи с Центром Патрульной службы.

— Вызов принят, — услышал штурман знакомый женский голос. — Сектор Меркурия, слушаю вас.

— Стаси, это я, Котов.

— Здравствуй, Борис. Какие новости?

— Все спокойно. Есть просьба. — Командир чуть помедлил, и штурман затаил дыхание: голос командира выдавал душевную борьбу. — К нашему возвращению подготовь мои документы. На увольнение.

— ...Что за шутки, Борис?

— Схожу на берег. Решено... Сейчас не надо вопросов, Стаси. Вернусь, поговорим.

Командир отключил связь.

— Слушай, командир, — решился заговорить штурман. — Если бы все капитаны бросали вот так свое занятие, Америки не открыли бы... Сидели бы по домам в семейном кругу.

Командир повернул голову, взгляд его был тяжел, как скала.

— Сейчас я отвечаю за себя сам, — мрачно проговорил он.

Штурман отвел глаза в сторону и наткнулся взглядом на фотографию в углу экрана.

— Послушай, Борис, — решил он немного разрядить обстановку. — Почему ты прилепил фото только вчера, а не в первый день полета?

Командир пожал плечами:

— Ну... это уж как на душу придет, — нетвердо ответил он.

Тропинка под яблонями ведет к дому, огибает крыльцо и теряется в кустах, но штурман по рассказу команда уже знал, что дальше, за пределами сада, она тянется к сосновому бору и, пронизав его, поднимается на чистый холм. Там, на вершине, в назначенный час капитана всегда встречает его семейство: жена и двое светловолосых близнецов, мальчик и девочка.

ЦВЕТОК В ДОРОЖНОЙ СУМКЕ

После привычных блекло-серых и нагоняющих смертельную тоску холмов Безликой земная зелень вызывала резь в глазах. Я стоял неподвижно на краю шоссе и щурился с такой силой, что начала болеть голова.

Вдруг будто смерчем меня подбросило в воздух. Я сорвался с места, зашвырнул далеко свою дорожную сумку и тут же ринулся сам вслед за ней в гущу травы. Но, сделав несколько яростных рывков, я выдохся. Ноги опутала упругая паутина из стебельков и листиков — я растянулся во весь рост и, должно быть, отшиб бы себе грудь и разбил лицо, если бы не тысячи маленьких пружинок, мягко сжавшихся подо мною.

И от этого чувствительного падения мне вдруг стало хорошо-хорошо.

Про своего нового знакомого, Алексея, я совсем забыл, а когда вспомнил и, сев, высунулся из травяных зарослей, оказалось, что он все еще стоит на шоссе, переминаясь с ноги на ногу.

— Чего ты дожидаешься? — спросил я решительно, удивляясь, как может человек, пробыв год в космосе, не прийти в телячий восторг от земной красоты.

Алексей только посмотрел на меня так, как смотрят не умеющий плавать на реку, через которую ему придется перебираться вброд.

— Ты там до конца отпуска проторчишь, — почувствовав какой-то подвох, сказал я уже как-то неуверенно.

Алексей наконец тронул с места. Он повесил на плечо свою сумку, сошел с дороги и двинулся в мою сторону, переступая таким образом, будто боялся наступить на спрятавшуюся в траве змею. Я смотрел на него во все глаза. Видно было, Алексей чувствовал себя очень неловко: лицо его покрылось красными пят-

нами. Он подошел ко мне и осторожно положил сумку на землю.

— Должно быть, я немного свихнулся, — с огорчением сказал он, словно оправдывая свои странности.

Я пожал плечами.

— Это там бывает... — Я тоже вдруг почувствовал неловкость, словно перешедшую от него ко мне.

— Хм, — Алексей слабо улыбнулся. — Но у меня уж слишком оригинальный случай...

— Лучше поговорим о чем-нибудь другом, — предложил я, давая понять Алексею, что не люблю обсуждать чужие недуги.

...Мы познакомились два дня назад на пассажирском космолете: у нас была каюта на двоих, и хотя — не знаю почему — мы очень мало разговаривали между собой, на следующее после знакомства утро мне уже казалось, что мы давние и очень хорошие друзья. Нас сближало непреодолимое желание вновь послушать шелест листьев на ветру и побродить по вечернему городу, с огнями которого не может сравниться блеск самых ярких звезд. Нужны ли слова? И тем более не рассказывали мы друг другу о своей работе. Но теперь я вдруг почувствовал, что Алексей не успокоится, пока не расскажет о своих злоключениях. Я понял, что ему долгое время пришлось пробыть в одиночестве. Такие люди в космосе очень молчаливы, но стоит им вернуться на Землю и они несколько дней ведут себя так, будто им больно молчать. Я счел своим долгом выслушать человека, который, может быть, ждал этой возможности целый год.

Я чуть приподнял брови и вопросительно глянул на Алексея. Он снова слабо улыбнулся: видно, понял ход моих мыслей и, на миг задумавшись, неторопливо спросил:

— Два месяца назад в третьем секторе Урана беспилотный грузовик врезался в звездолет, на котором был только штурман. Ты случайно не слышал об этом?

— Конечно, слышал, — ответил я. — Этот звездолет потом больше недели искали.

— Вот-вот. Немудрено. Его на куски разнесло. В одном из этих кусков я и загорал полторы недели. — Алексей немного помолчал. — А столкнулись мы эффектно, ничего не скажешь. Космолет, на котором я летел, перегонялся с одной базы на другую, с которой на первую летел этот злополучный грузовик — так дело было, и пути эти настолько совпали, словно корабли летели навстречу друг другу по одной ниточке. В общем, совпадение сказочное, остается только руками развести... За полчаса до столкновения я пошел в оранжерею проверить систему автополива.

Вдруг страшный удар, будто кто-то огромной кувалдой трахнул по обшивке, — и тишина. Но мне показалось, что корабль бесшумно прокатился по гигантской каменной лестнице, а потом началась страшная карусель. Меня дернуло в сторону, магнитные ботинки оторвались от пола, перед глазами все завертелось. Вначале я даже не успел испугаться, а когда меня провезло по цветам и стало безжалостно шлепать об стены, мне уже было не до страха. Ко мне пришло спокойствие и равнодушие обреченного, и еще минут пять я заботился только о том, чтобы не врезаться в стену головой. Я даже не пытался прилипнуть к опоре ботинками. Только когда уже случайно я коснулся ногами пола, тогда и кончилась эта карусель. Я был вымазан в мокрой земле и размятой зелени, которая отдавала резким и неприятным запахом. Я сразу рванулся к выходу, но люк оказался закрытым наглухо, а над ним горел транспарант: «Общая разгерметизация!» Выйти из оранжереи было нельзя; что произошло, я не знал. Я решил, что, должно быть, корабль с чем-то столкнулся и получил большую пробоину где-то в районе грузовых отсеков. На самом деле это была уже не пробоина, а полный разгром. Грузовик имел на борту десять тысяч тонн полезного груза и прорвал корпус корабля, словно бу-

мажный кулек. Рубку управления разорвало в клочья, часть отсеков оторвало вовсе, только оранжерея целой и осталась. Вот, что называется, в рубашке родился.

Я побродил несколько минут перед люком и осознал, что дела мои плохи. Даже зябко стало. Оставалось только ждать. На вегетарианской пище с уцелевшего огорода я смог бы протянуть около месяца; питья было сколько угодно: запасной резервуар полива и резервуар с питьевой водой были полны. Но вот дышать мне можно было от силы дней семь-восемь, а потом хоть открывай люк и дыши вакуумом.

...И вдруг я прозрел. Вокруг меня росли сотни всяких растений: тюльпаны, бегонии, кактусы, помидоры, лимонные деревца, березки. Все они вырабатывали кислород. Тихо и незаметно. Я вспомнил картинку из старого школьного учебника по ботанике: две мыши, закрытые стеклянными колпаками; одна уже мертва, а другая живет как ни в чем не бывало: вместе с ней под колпаком стоит горшок с цветком. Мое положение было аналогичным; я только не знал, смогут ли растения оранжереи обеспечить меня кислородом на достаточно долгий срок. Но все равно надежда появилась, а это главное.

На Земле дышится вольно — мы и не осознаем ценности всех этих травинок и былинок, поскольку банка, в которой мы живем вместе с ними, такая большая; а там, в космосе, когда каждый кубический сантиметр воздуха на вес золота, то каждая травинка, может быть, — даже сорняк в цветочном горшке — превращается в волшебное дерево.

Я посмотрел вокруг себя другими глазами. Цветы перестали быть для меня неодушевленными предметами. Это была толпа добрых и отзывчивых друзей, которые тихо и искренне заботились обо мне, которые, в сущности, были еще более беспомощны, чем я, в чуждой для них обстановке.

Я проникся к ним глубочайшим уважением, и это

было не просто уважение — я благоговел перед ними. Я наделил каждый цветок душою, выдумал, смотря по внешнему виду, характер и даже, самому теперь смешно, биографию. Так перестал чувствовать себя одиноким: со мной было много друзей. Друзей и знакомых. Да-да, некоторые из них стали для меня хорошими друзьями, некоторые просто знакомыми. Почему? Ну, например, когда становилось тоскливо на душе и мне начинало казаться, что помочь ждать бессмысленно, что на Земле меня уже похоронили, я подходил к желтым тюльпанам. Их цветы — как насмешка над всеми трудностями, над всеми нелепостями судьбы. Чинное спокойствие агав подбадривало меня, а маленькие хрупкие фиалки смотрели на меня широко раскрытыми синими глазками, удивлялись и сокрушались: «Мы такие маленькие — и ничего не боимся, а этот, такой большой и сильный, дрожит от страха». Смешно? Возможно. С точки зрения человека, живущего на Земле и гуляющего со своим песиком где-нибудь в городском парке.

Я тоже старался что-то сделать для них. Собрал все цветы, поврежденные в результате моих падений, и занялся их лечением: пересаживал, подрезал и был ужасно расстроен, когда несколько цветов все же не удалось спасти. Но это уже не по моей вине: эти цветы росли в ящике, который перед отлетом с базы плохо принайтовали к полу оранжереи, и во время аварии он кувыркался в воздухе вместе со мной.

Освещение я не выключал вовсе. Вообще мне здорово повезло и в том, что не вышла из строя энергосистема корабля, иначе бы я превратился в ледышку. Уцелили и холодильные резервуары с углекислотой для «подкормки» растений.

В общем, жил — не тужил, только вот победы всегда доставляли мне волнение, ведь питался я тоже только растительностью. Такой вот психологический настрой: а вдруг вот этот листик, который я сейчас съем, не выдаст ровно столько кислорода, сколько нужно, чтобы

прожить последнюю минуту до спасения. Я уж старался питаться лишь морковкой, редиской, огурцами; капусту вообще не ел — ее было навалом, но ведь у нее такие огромные листья...

В последние дни все-таки стало не хватать воды для цветов, и я подключил к системе автополива резервуар с питьевой водой, так что до самого конца мне пришлось слегка терпеть жажду, чего раньше я никак не предполагал. За два дня до спасения я открыл последний аварийный баллон с кислородом и после этого окончательно положился на свои цветы: от них теперь уже полностью зависела моя судьба.

Спасение пришло неожиданно. Я спал, когда подошел спасательный корабль. Целый час обследовали развороченные отсеки и наконец обнаружили закрытую и неповрежденную оранжерею. С корабля выдвинули тамбур, приварили его к стене оранжереи с внешней стороны и вырезали в борту дыру. Спасатели забрались внутрь, увидели меня лежащим на полу, решили, что дело плохо, и, отстегнув костюмные присоски от пола, стали осторожно переворачивать меня на спину. Я дернулся, спросонок не разобрал, что к чему, чуть отбиваться не стал, потом разглядел смеющиеся лица... Когда стал влезать в тамбур, опомнился, рванулся назад, выкопал первую попавшуюся фиалку, мою фиалку, и вернулся обратно. Спасатели только плечами пожимали.

Я видел, как отделяли выдвижной тамбур от оранжереи. На экране мелькнуло светлое пятно вырезанной в борту дыры: там, внутри, продолжали еще гореть лампы дневного света. Это как прощальный жест друга, с которым я расставался навсегда. В тот момент в оранжерее уже царила пустота и адский холод, которые, наверное, быстро расправились с моим зеленым братством. У меня сжалось сердце, и я ушел из рубки управления. На Ганимеде меня осмотрели врачи, покачали головами и отправили на Землю.

Алексей замолчал.

— Да, — вдруг спохватился он, — та фиалка, которую я успел забрать с собой... Вот она.

Он расстегнул «молнию» на своей дорожной сумке и осторожно достал цветочный горшочек, накрытый пластиковым колпаком.

...Когда мы возвращались на шоссе, я поймал себя на том, что иду след в след за Алексеем. Я вроде бы усмехнулся про себя, но тем не менее продолжал идти так же.

Машина пришла за нами точно в указанное время. Закрывая за собой дверцу, я взглянул на луг и на миг замер, ужаснувшись: откуда это там такой огромный участок поваленной и жестоко смятой травы? Вот ведь, весь луг испортили! Тут до меня дошло: это же я сам... Я как-то опасливо осмотрелся — как убийца, подумалось вдруг — захлопнул дверцу и почувствовал, что мне стыдно до корней волос. Не знаю, перед кем больше: перед Алексеем или... перед лугом. Кажется, я что-то начинал понимать... Земля ведь тоже космический корабль, только очень большой.

ПРОЕКТ „ЭВОЛЮЦИЯ-2”

Бурый, неподвижный силуэт посреди ледника. Его нельзя было не заметить: день был ясен, солнце стояло в зените, ледник сиял матовой белизной — и бурая фигура посреди его русла казалась каким-то болезненно-иностранным предметом...

Две недели я бродил кругами по горам, зная, что он должен появиться... Снежный человек... гоминойд... йети... Вот он, передо мной — и впервые я не удивился встрече. Я лишь почувствовал страшную усталость и не смог пересилить себя — присел на гранитный выступ.

Который раз я ухожу на поиски... и возвращаюсь ни с чем. Когда-то я мог бы похвастаться тем, что видел,

Теперь поздно. И раньше вряд ли бы мне поверили, а теперь и подавно: слишком уж много чудес я повидал. Да, теперь я наверняка единственный в своем роде очевидец: я видел лох-несское чудище, снежного человека, мокеле-мбембе...

Трижды передо мной над водами Лох-Несс появлялась горбатая спина и змеиная головка на длинной шее... Я терпеливо дожидался урочного часа, и, когда озерная гладь начинала колыхаться, расходясь кругами от темной живой массы, я замирал, затаив дыхание, и сердце билось часто и гулко... Я не бегал по берегу, ища новых очевидцев, свидетелей моего открытия. Я даже не брал с собой фотоаппарат — мне он не был нужен... У меня была иная цель, и хотя я заведомо знал, что там, в Шотландии, вряд ли сумею ее достичь, все равно я не жалел времени и средств, чтобы организовать поездку. Тогда мне было достаточно *увидеть и удивиться*.

То же стремление толкало меня в тропическую Африку. Мне удалось вычислить час и место — и я увидел мокеле-мбембе, динозавра из африканских сказаний... Когда затрещали кусты, будто сквозь чащу ломился бегемот или слон, я попросил проводников отойти и оставить меня одного. Они вытаращились на меня, как на самоубийцу:

— Мокеле! — махнул рукой старший, пригибаясь и делая страшные глаза. — Если мы вернемся без вас, нам не миновать окон с решетками.

Я протянул ему заранее написанное письмо.

— Скоро вернусь, — заверил я проводника. — А если что со мной случится, эта бумага гарантирует вам спокойную жизнь.

Медлить было нельзя, и я ринулся сквозь кусты в направлении треска. Я был уверен, что если к реке пробирается именно оно, а не бегемот или какая-нибудь действительно уцелевшая с мезозоя нечисть, то это чудовище меня не тронет. Мокеле, живущее на родине

своего легендарного прототипа с середины тридцатых годов двадцатого столетия, для людей неопасно... Уже у самого берега я увидел его громадную тушу. Неуклюже переваливаясь с боку на бок, оно добралось до воды и не сошло, а сразу целиком, как валун, завалилось в реку с шумным всплеском — и мигом исчезло в мутной глубине... или растаяло...

Я стоял, завороженно глядя на расходящиеся в стороны волны... «Это оно! — пришла ко мне запоздалая мысль. — Конечно, оно!» Тут только я вспомнил о рассованных по карманам пробирках и кинулся к берегу... Поздно. Я вернулся домой в Москву с пустыми руками.

За четверть века я облазил весь Памир, бывал в Гималаях. Дюжину раз мне везло: я настигал существо, зовущееся «снежным человеком», — и всякая новая встреча заставляла меня замирать с раскрытым ртом. Я ни разу не снял его на пленку: у меня никогда не было желания кого-либо убеждать в его существовании или хвастаться званием очевидца. Я искал *иное*, но тайна всегда ускользала от меня.

В наследство мне досталось завидное здоровье: сейчас я еще способен кое-как карабкаться по скалам, лазить по непроходимым чащобам. Еще на десяток лет меня хватит — и кого-нибудь из своих «старых знакомых» я успею повидать еще раз... Но кому нужен очевидец, который молчит, ибо доказательств того, о чем его долг рассказывать людям, у него до сих пор нет... Вот что гнетет меня. Пока я не раскрою секрета, пока мои коллеги не перестанут утверждать, что в привезенных мною с гор образцах «нет ничего особенного», — до того дня нечего завидовать мне, очевидцу, единственному, быть может, ныне человеку, посвященному в тайну всех этих странных созданий.

...Маттео Гизе. Так звали их создателя... Специалисту в области микробиологии это имя должно быть зна-

комо... Выходец с юга Италии. Низкорослый, коренастый. Густая черная шевелюра со спадающей на лоб тонкой, чуть завивающейся прядкой. Карие, очень живые глаза. Таким я его запомнил. Он часто заразительно хохотал и жестикулировал, как дирижер джазового оркестра. Ему бы побольше солидности, заносчивый, холодный взгляд — и он, пожалуй, стал бы необыкновенно схож с Бонапартом.

Я познакомился с ним летом двадцать девятого года, когда учился в Московском университете и только-только начинал постигать тайны микробиологии. Маттео Гизе был старше меня лет на пятнадцать, то есть довольно молод, но о нем уже во всеуслышание уважительно отзывались корифеи.

Он приехал в Москву с группой европейских специалистов по приглашению Академии наук и побывал в нашей лаборатории. Он вошел к нам в кремовом пиджаке, светлых клетчатых брюках и белоснежных ботинках. Лицо его было бронзовым от загара, а улыбка — столь ослепительна и артистична, словно его представляли на сцене огромного зала, до отказа заполненного поклонниками его таланта.

Я подумал, что этот человек шагнул в лабораторию прямо с набережной Неаполя или Рио-де-Жанейро.

Вновь я встретился с профессором Гизе в конце тридцать четвертого года в Лондоне, на международном конгрессе. До этого я прочел полтора десятка его статей: он занимался влиянием радиоактивности на культуры бактерий.

Он первым заметил меня и подлетел с такой быстрой, будто боялся, что я успею провалиться сквозь землю.

— Здравствуй, дорогой большевистский коллега! — выпалил он так, что все, кто оказался в тот момент в

холле гостиницы, замерли и изумленно посмотрели в нашу сторону.

Крепко пожав мне руку, он отошел на шаг, оглядел меня всего с головы до ног и потрогал лацкан моего пиджака.

— О! Костюм человека, умеющего произвести впечатление. Галстук... туфли... Все с большим вкусом. — Он подмигнул мне и громко расхохотался. — Ты еще совсем молод, но, вижу, рано пошел в гору... Это самое верное начало. В гору надо идти смолоду и сразу, пока хватает дыхания, отдавать все силы на подъем... надо сразу подняться как можно выше... И не оглядываясь, дорогой мой красный синьор, ни в коем случае не оглядываясь. Иначе собьется дыхание или потеряешь запал... или, того хуже, испугаешься высоты... Потом, после сорока, уже можно позволять себе привалы, выбирать тропы полегче, чтобы вели в обход отвесных скал... А в шестьдесят, даже если не успел добраться до самой высокой вершины, уже имеешь полное право повернуться к ней спиной, сесть на краю и поболтать ножками, бог простит.

Он снова расхохотался, а когда успокоился, спросил меня о моих успехах. Я раскрыл было рот, но он не дал мне сказать и слова.

— Я читал, читал. Очень хорошо для начала! — быстро проговорил он и, увидев, что я не понял его, назвал две статьи, написанные мною в соавторстве с учителем.

Я, конечно, был польщен и в ответ рискнул высказать свое мнение о работах профессора Гизе, которые довелось прочесть. Он слушал меня очень внимательно, кивал, но вдруг стал загадочно улыбаться... Наконец он поднял руку, вежливым жестом останавливая мой панегирик.

— Вы нравитесь мне, синьор Булаев, — сказал он с неожиданной серьезностью, перейдя вдруг на «вы». — Я завистлив и не люблю никаких мнений. Но вы мне нра-

витесь. Многие люди честны, но мне не нравится самолюбивая, заносчивая честность. Я — за простую честность... Я вижу ее в вас... Простите меня за идиотский вопрос: вы случайно не агент ЧК? — Он так и произнес эти две буквы, аккуратно, с расстановкой, с мягким итальянским «ч».

Я опешил.

Он улыбнулся и махнул рукой:

— Не берите себе в голову... эту мою выходку... Вы уедете домой в свою Россию... канете в свою тайгу, и никто не узнает о том, что я вам скажу... Я рос в бесхитростной семье, а теперь мне слишком многое приходится скрывать... Я порядком устал.

Он подвинулся ко мне и зашептал, стараясь не жестикулировать:

— Я предупреждаю вас, коллега, не читайте больше моих статей. Тех, которые будут... Все эти статейки... хм... как бы это лучше сказать?.. Камуфляж... маскарад...

Я смотрел на него с недоумением, и он грустно вздохнул.

— Вы не бывали в Шотландии?

Я покачал головой.

— Появится возможность, обязательно посетите эти прекрасные ландшафты. Особенно озеро Лох-Несс. Запомните: Лох-Несс.

Он замолчал и долго смотрел мне в глаза, словно призывая догадаться о чем-то...

Желая поскорее отделаться от роли ничего не понимающего собеседника, я улыбнулся, — вероятно, весьма принужденно, — и сказал:

— Вы говорите загадками, синьор Гизе, но я надеюсь, вы не намекаете мне на то, что вот-вот бросите микробиологию и станете шотландским рыболовом. Странно было бы встретить вас в клетчатой юбочке.

Маттео Гизе взорвался хохотом, но быстро осекся и снова посеръезнел.

— Нет, — ответил он, — этого не случится. Я люблю свою науку. Скажу вам по секрету, передо мной открываются колоссальные перспективы. Мне дают такие огромные средства и штат, как если бы я не с про-бирками возился, а строил «Титаник». Меня приглашают в Берлин и предлагают лабораторию, где все будут меня слушаться беспрекословно.

Весть эта меня не обрадовала. Я хотел было смолчать из такта, но Гизе так располагал к откровенному разговору, что я не сдержался:

— Вы хорошо представляете себе, на кого вам придется работать?

Он долго пристально смотрел мне в глаза, словно пытаясь найти в них осуждение... или презрение.

— У вас, красных, с пеленок на уме одна политика, — сказал он беззлобно. — Между прочим, законы наследственности, теория относительности... и всемирное тяготение тоже — все они и при капитализме, и при вашем архизамечательном социализме остаются таковыми, какие они есть.

Во мне вскипела обида, и я добавил, плохо скрывая сарказм:

— И при фашизме тоже?..

Гизе помолчал, но обиды в его глазах я не заметил. Он лишь снисходительно улыбнулся и кивнул:

— И при фашизме. Тоже... Я выбрал из двух зол то, на котором можно больше заработать. Я имею в виду знание, а отнюдь не деньги, коллега.

Я немного растерялся и не нашел ничего лучшего, как привести еще один довод, не самый сильный из тех, какие можно было бы найти, если хорошо подумать:

— Я с трудом представляю себе, что нацистам нужна какая-нибудь иная микробиология, кроме военной... Как насчет выведения смертоносных бацилл, синьор Гизе?..

— Это — совсем не то, что вы думаете, — усмехнулся Гизе. — Повторяю, коллега, я не политик, и пер-

спектива наконец поработать в свое удовольствие меня вполне устраивает... Судить же станем по плодам... Впрочем, что вам цитировать: Евангелие вы тоже не уважаете.

Третья и последняя наша встреча состоялась четыре с половиной года спустя, тоже в Европе. Это был Париж, начало февраля тридцать девятого года.

В один из вечеров ко мне в номер постучался мальчик-посыльный и передал мне небольшой, хорошо запечатанный конверт. Вскрыв его, я обнаружил в нем две рождественские открытки, исписанные беглым угловатым почерком.

«Синьор Булаев! Простите меня за то, что доставляю Вам беспокойство. Но Вы — тот самый человек, который волею небес избран моим душеприказчиком. Молю Вас, не откажите! Я долго думал прежде, чем решиться на это, понимая, что в наше мрачное время уже одним знакомством с Вами рискую роковым образом изменить Вашу судьбу.

Я молю Вас завтра в пять пополудни быть в кафе «Все цветы». Как войдете, садитесь справа за ближайший к выходу столик, причем — лицом к двери. (За этот столик редко кто садится, но будет все же лучше, если Вы явитесь загодя.) Надолго я Вас не задержу. Ради всего святого, когда увидите меня, сделайте вид, что мы не знакомы и Вы меня не замечаете. Храни Вас Мадонна! Искренне Ваш Г.».

Я долго колебался, боясь, что могу стать жертвой некой хитроумной провокации. Тучи над Европой сгущались, все были насторожены, и никаких безобидных объяснений столь странному приглашению мне в голову не приходило.

Однако я все же решился пойти в условленное место... Я предупредил своего коллегу, с которым приехал в Париж в Пастеровский институт, сказав, что собираюсь уйти на пару часов в кафе «Все цветы», куда меня

пригласил один старый парижский знакомый, сотрудник института, но к ужину *обязательно* вернусь.

Я взял такси, высадился за квартал до кафе, прошелся по всем близлежащим магазинам и за десять минут до встречи уселся за указанный в открытке столик.

Я волновался и не нашел ничего лучшего, как только замаскироваться с помощью газеты и большой чашки черного кофе. Второй, соседний стул я намеренно загромоздил какими-то покупками.

В семнадцать ноль-ноль на матовом стекле двери обрисовалась тень в широкополой шляпе, дверь распахнулась, и на порог ступил Маттео Гизе.

Я едва узнал его. Он страшно похудел и осунулся. Я вспомнил, что раньше он всегда был с легкой улыбкой на губах. Теперь губы его были совершенно неподвижны и плотно сжаты. Поля шляпы были отогнуты вниз и почти полностью скрывали глаза. Одет он был, как всегда, шикарно, но на этот раз весьма небрежно.

Поначалу я даже не сообразил, заметил он меня или нет... Я вообще пребывал в полнейшем неведении, и сердце мое бешено колотилось.

На пороге кафе Гизе замешкался, словно бы пытаясь понять, туда ли попал, и, расстегнув плащ, достал из кармана пиджака футляр для очков.

В этот миг что-то звякнуло... Доставая футляр, Гизе как бы невзначай вынул из кармана связку ключей и уронил их прямо у ножки моего столика. Я едва успел сообразить, что не должен нагибаться за его ключами.

Гизе засуетился, надевая очки, — в очках я видел его впервые, — затем долго разглядывал пол вокруг и наконец заметил потерю. В левой руке он держал свернутую трубкой газету — и как только он нагнулся за ключами, из нее выскоцилзнул круглый сигаретный футляр... Профессор тут же откатил его краем газеты мне под ноги.

Я все это видел, на миг ужаснулся тому, что итальянец и вправду впутал меня в какую-то темную историю,

но отступать было некуда — и я прижал футляр носком ботинка.

Гизе между тем поспешил к стойке и, пробыв в кафе всего несколько минут, вышел без оглядки.

До гостиницы я добрался без приключений. Впрочем, в дороге меня не оставляло ощущение, что за мной следят. Я пытался успокоить себя мыслью, что если явка была раскрыта, то разумнее всего было брать нас обоих на месте, с поличным...

В сигарном футляре я нашел плотно свернутый лист бумаги с машинописным текстом через один интервал, несколько фотографий и еще одну рождественскую открытку, испанную тем же почерком, что и те, что были присланы мне накануне.

Невольно первым делом я перебрал фотографии. Одна из них была групповой: посреди какого-то лабораторного помещения были сняты пятеро, трое в белых халатах, остальные — в черной форме офицеров СС. Среди «белых халатов» был и Маттео Гизе. Все непринужденно, с оттенком делового довольства, улыбались... Остальные фотографии были портретами незнакомых штатских личностей с нордическими чертами лица.

Открытка содержала следующую надпись: «Я думал послать Вам эти фотографии и свое письмо прямо в гостиницу и не устраивать Вам все эти шпионские трюки, которые, несомненно, произвели на Вас угнетающее впечатление. *НО НЕ РЕШИЛСЯ*. Быть может, я оказался не прав, но мне трудно убедить себя, что я хитрее *их*».

Я могу похвастать хорошей памятью: прошло больше тридцати лет с того вечера, а я помню текст письма, которое прочел всего дважды, почти наизусть:

«Уважаемый синьор Булаев!

Однажды я осознал, что одного лишь Вас, красного атеиста, я могу сделать своим исповедником — и я страшно удивился своему открытию. Я пришел к выводу, что только вы, русские, не подавленные фрейдизмом, не угнетенные мелочностью, благополучием и риторикой, —

только вы будете способны изгнать из Европы вселившегося в нее дьявола. Вы сделаете то, что уже не под силу всем католикам, праведным и грешным, прочитай они хором хоть тысячу молитв.

Я случайно узнал, что Вы приехали в Париж, и понял, что это — мой последний шанс.

Последнее десятилетие объектом моих интересов были не бактерии, а простейшие, особенно колониальные формы. Главная тема моих трудов и размышлений осталась незыблемой: наследственность и радиоактивность.

Сразу перейду к существу дела, ибо пишу не мемуары нобелевского лауреата, а скорее отстукиваю короткий сигнал «SOS» (хотя спасти мою душу сможет теперь, по-видимому, только та служба, что некогда унесла из лап Мефистофеля душу старика Фауста).

Итак мне *страшно* повезло. Волею *чистого случая* я сделал *открытие...* С помощью направленного воздействия мне удалось вывести формы Простейших, которые были способны очень быстро размножаться и при определенных, *заданных*, условиях образовывать самые невероятные виды и объемы колоний. Когда формирование колонии завершилось, размножение обычно сходило на нет.

Если Вас уже охватило сладостное предвкушение, вынужден Вас разочаровать: я не предлагаю Вам быть своим наследником, синьор Булаев. Я не сообщу Вам ни вида Простейших, ни способа воздействия. Ныне я ни на миг не сомневаюсь, что мое открытие может принести человечеству только зло. Я унесу свою тайну в могилу, чтобы не делить ни с кем вину и честно предстать с ней на Страшном Суде.

Итак, передо мной открылась фантастическая перспектива: за кратчайший срок повторить, смоделировать появление на планете многоклеточных организмов. Я чувствовал себя демиургом, запускающим на Земле новый виток эволюции.

Мне не хватало новейшего оборудования и кое-каких

средств. Меценат нашелся на удивление скоро. Сдается мне, что приборы и штат покладистых подчиненных я получил прямо из рук Сатаны... У меня оставался еще шанс опомниться, но этот тип, как ни странно, предложил обыкновенные чернила, и я подписал контракт. Он был представителем некоего германского концерна. Это произошло в конце двадцать девятого года. Мне было предложено еще некоторое время гастролировать по Европе и писать статьи на любые темы, кроме главной.

Мое предприятие получило в секретных документах наименование Проект «ЭВОЛЮЦИЯ-2», что, признаюсь, подстегнуло мое честолюбие.

Спустя два года после начала разработок я уже был готов к проведению натурных испытаний. Я сообщил своему начальству, что, хотя колонию «первого поколения сборки» легко дестабилизировать или уничтожить, полной гарантии контроля и изоляции быть не может, поэтому эксперименты целесообразно вести за пределами Европы: например, в глухих районах Африки или Латинской Америки. «Представитель концерна» в ответ на мои предостережения вкрадчиво улыбнулся и заговорил со мной эпическим тоном, весьма свойственным современным германским нibelунгам.

В стороне от материка, начал он, в горах Шотландии, есть озеро Лох-Несс, весьма глубокое и таинственное. Ходят легенды, что в нем живет и прячется некое чудовище. Я предлагаю Вам (предложение прозвучало как приказ) сделать старые слухи достоверными.

Так была проведена операция под кодовым названием «Гидра-1». Вскоре в европейских газетах появилась фотография «озерного змея». Вслед за первой «Гидрой» родилась вторая: в африканских дебрях, в тех самых краях, где, по преданию, живет существо, похожее на динозавра, мокеле-мбембе.

Легко догадаться, что моих «чудовищ» можно увидеть, сфотографировать, наконец попросту испугаться. Но поймать их, не зная секрета, не легче, чем поймать



солнечный зайчик. Колония собирается и распадается сама собой, а команда «сборки» известна только мне. Я не завидую энтузиастам, которые уже ринулись на поимку моих драконов.

Последним этапом работы с Простейшими «первого поколения сборки» было моделирование устойчивой человекоподобной формы. Я не хотел спешить, но такое условие диктовал контракт.

Передо мной оставалось одно серьезное препятствие: необходимость наличия большого водоема. «Гидра-1» может существовать только в воде, «Гидра-2» способна выбираться на сушу, но на очень короткий промежуток времени. Удача, дьявольская удача продолжала сопутствовать мне, и вскоре я сумел получить вид, способный жить и «собираться» на льду или на снегу.

Узнав об этом, «представитель концерна» пришел в восторг. «О, это феноменально! — воскликнул он. — Волин, встающий из толщи льда. Вот он, истинно арийский символ! Ваше исследование, герр профессор, — лучшее доказательство теории «вечного льда» и «происхождения разума». Все они, наци, теперь помешаны на бреде этого «рейхсмистика» Горбигера.

Итак, была разработана новая операция: «Зубы дракона». Надеюсь, Вам известна эта древняя легенда об армии бесстрашных смертников-головорезов, вырастающих из посевенных в землю драконьих зубов. Однако даже это название (какой намек, какое предостережение!) не образумило меня.

Операция началась. Место действия: Гималаи, Тибет.

Для меня остается загадкой, с какой стати практическому немецкому уму понадобилась вся эта азиатская оккультная мишура.

Меня включили в состав одной из тибетских экспедиций, курируемых самим фюрером. Когда посреди белого ледника медленно поднялась в рост буряя фигура, двое моих спутников (на групповой фотографии они в

форме), откинув меховые капюшоны, зааплодировали.

— Шлем! — засмеялся один из них. — Ему не хватает стального шлема и арийского меча.

— Лучше, если вместо меча у него вырастет «шмайссер», — добавил второй нивелунг.

Все это время, вплоть до прошлой осени, я работал не покладая рук. Я был одержим. Я не замечал, что на площадях горят библиотеки, и не обращал внимания на хриплый, истошный лай, доносившийся из всех радиоточек. Я работал, синьор Булаев. Я просто работал.

Но небеса были милостивы, ниспослав мне, правнuku ослепшего Фауста, еще один, последний шанс.

Это случилось в сентябре прошлого года в Нюрнберге. Волею случая (случая?), то есть не имея на то никакого желания, я попал на почетные трибуны стадиона, где проходило массовое нацистское торжество. К каждому почетному месту бесплатно прилагался отличный цейсовский бинокль. Когда пять тысяч светловолосых мальчиков и девочек, выстроившихся на арене, дружно крикнули «хайль!» и выбросили вперед руки, меня потянуло вдруг поднести к глазам бинокль — и я разглядел их лица!

Синьор Булаев! Меня прошило током! Рубашка прилипла к моей спине, а язык — к небу, и галстук показался мне затянувшейся удавкой. «Боже!» — прошептал я и прикрыл веки. Когда я вновь поднял их, то в линзах с перекрестиями узрел то же самое. Это не было страшным сном, это я видел наяву. Их глаза, синьор Булаев! Я не в силах описать их.

Когда строй на арене смешался и спустя всего несколько мгновений из бесформенной человеческой массы стала образовываться тысячеголовая свастика, быстро принимая строгий геометрический вид, я чуть не застонал и выронил бинокль.

Вот он — плод моей работы! Вот она — моя идея в ее законченном мировом воплощении. Я оказался тлей перед кастой «микробиологов», оперировавших не куль-

турой клеток, но несравненно большим — культурой нации... Превратить нацию в бесформенную массу одноклеточных и, воздействуя на человеческое сознание *радиацией* идеи мирового расового господства, объединить всех в одно колоссальное безмозглое чудовище!

Меня трясло.

Не стану рассказывать Вам о перерождении моей души и моих целей, ведь я пишу не дневник пааноика, предназначенный для личного психиатра, а письмо коллеге. Мне осталось выполнить одну задачу: сокрушить монстра, которого сам же и создал. (Как видите, я вполне укладываюсь в рамки литературного образа, что будоражил умы европейских романтиков начала прошлого века). Главного секрета воздействия на аппарат наследственности, я подчеркиваю, не знает до сих пор никто, кроме меня. Я, сын сицилийского кузнеца, крепко державшего под языком секреты своего дела, невольно замаскировал и свой секрет, кормивший и мое тело, и мое честолюбие. Сицилийцы умеют скрывать от хозяев свои мысли, синьор Булаев, за это я могу поручиться.

Скоро проект «ЭВОЛЮЦИЯ-2» рухнет, как глиняный истукан. Этим, быть может, я заслужу себе прощение на небесах. В конце концов один раскаявшийся грешник дороже десяти праведников, не так ли, синьор Булаев?

Моя последняя затея будет стоить мне головы, в этом я не сомневаюсь ни на миг. Вас я оставляю на Земле среди живых единственным честным человеком, знающим правду о Маттео Гизе и способным, я надеюсь, замолить его грехи добрыми делами на ниве микробиологии (не смейтесь над этим приступом сентиментальности и патетики: помните, что, по сути дела, я прощаюсь с жизнью). Я отнюдь не прошу Вас уничтожить обеих «Гидр» и «Зубы дракона». Они вполне безобидны: без специфического воздействия извне эти Простейшие не способны эволюционировать. Полагаю,

что за несколько десятилетий они исчерпают «потенциал наведенной изменчивости» и вымрут или вернутся к состоянию «дикого вида».

Если у Вас все же появится желание взглянуть на моих «детишек», убедиться, что все это — не бред сумасшедшего, могу дать Вам совет: ищите их в периоды активного солнца. Что же касается адресов, то они Вам известны.

В заключение небольшой комментарий к фотографиям. Эти люди — великие злодеи. С ними я «имею честь» обсуждать едва ли не ежедневно научные проблемы рейха. В их руках огромные возможности, они хотят превратить человечество в стадо кроликов. Запомните их лица и имена, написанные на оборотах карточек. Если День Возмездия случится еще на Вашем веку, то военным и политикам вряд ли удастся скрыться, ведь они были на виду. Этим типам гораздо легче уйти в тень. Запомните их и помогите каре господней настичь их.

Прощаюсь с Вами коротко, ибо не люблю слезных лобзаний и напутственных речей.

Будьте счастливы!

Ваш Маттео Гизе».

Сон не шел ко мне ночью. Я много думал над этим письмом. Утром я одним из первых постояльцев спустился в ресторан позавтракать, а вернувшись в номер, замер на его пороге в оцепенении. Пока я отсутствовал, здесь был учинен тайный обыск. Он был произведен умело, однако своим вниманием я имею право хвастать так же нескромно, как и памятью.

Я кинулся к своему плащу, висевшему в прихожей,— и похолодел. Сигаретный футляр, куда я вновь упрятал фотографии и письмо, исчезли из его кармана.

Увы, я не был готов к хранению разведданных и, вернувшись вечером в гостиницу, забыл об осторожности... Вероятнее всего, именно мой просчет стоил про-

фессору Гизе жизни. Моя вина мучит меня до сего дня с той же силой, что и в то безрадостное утро.

Мой поезд отходил в тот же день, вечером, и мне в голову не пришло ничего лучшего, как только найти повод и отсидеться до самого отъезда на территории советского посольства. Я понимал, что этот ход не сможет спасти меня от роковых «неприятностей», и на вокзале у меня подкашивались ноги... Однако мне было позволено тихо сесть на поезд и уехать в Москву.

Вероятно, парижские агенты абвера, забрав письмо и фотографии, решили, что без документов и технологических секретов мне никто не поверит, и незачем устраивать на вокзале какой-либо серьезный инцидент.

Спустя пару месяцев я наткнулся в одном западном микробиологическом журнале на имя профессора Гизе, обведенное черной рамкой. Сообщалось, что Маттео Гизе скоропостижно скончался во Фридрихсхафене в результате сердечного приступа...

После войны я встречал имена, сообщенные мне профессором, в списках нацистских преступников. Один из них заслужил виселицу. Еще трое отделались длительными тюремными заключениями. Остальные, в том числе и те, что были на фотографиях в эсэсовской форме, исчезли в глубинах Латинской Америки и по сей день столь же неуловимы, сколь и «детишки» Маттео Гизе.

Я вновь невольно переворошил свою память, пока спускался по уступам на ледник, стараясь не терять из вида неуклюжую человекоподобную фигуру. Она медленно, грузно переваливаясь с боку на бок, двинулась вверх по склону, но это не обеспокоило меня: «идти» быстрее черепахи «гоминойд» не сможет... если только этот «гоминойд» не настоящий... Впрочем, из всех «снежных людей», которых мне удалось разыскать в периоды активного солнца, не попался ни один настоящий, с хребтом, мышцами и видящими свет глазами.

Я разуверился в том, что прототип колонии существует в действительности.

Я предвидел, что вновь не успею взять пробу из оформленвшейся колонии: как случалось и раньше, я пропустил момент «сборки» и начал преследовать «форму» за считанные мгновения до распада.

Когда я сократил расстояние до двухсот метров, «форма» уже по колено «провалилась» в лед. Движение ее прекратилось. «Снежный человек» словно тонул в зыбучих песках.

Бежать по леднику возраст уже не позволял... Когда я настиг колонию, она уже успела раствориться во льду. Я разозлился и отшвырнул прочь вынутые из карманов пробирки. Распавшаяся «форма» ничем не отличалась от скопления широко распространенных жгутиковых.

Я перевел дыхание. Передо мной на леднике осталось только коричневое пятно, след тупиковой «второй эволюции» человеческого естества.

ДЕНЬ СЛЕПОГО ВОЖАКА

Свиязи — птице, дважды в год преодолевающей без отдыха путь между Индией и полярной Сибирью

Завтра — последний день месяца Верности, День Слепого Вожака. На рассвете, когда солнечный луч коснется вершины Большой Ели, самая старая птица, Мать Стая, развернет крылья и, потянувшись клювом к небу, возьмет высокий и горький напев великой Песни Поминовения. И тогда вся Стая, заплескав у земли крыльями, поднимется ввысь и, дружно откликаясь на зов птицы, оставшейся на земле, замкнет в небесах один круг — круг памяти о тех, кто не вернулся на родные гнездовья, кого сломили в Пути болезни и ветра. И, опу-

скаясь вниз, навстречу Матери Стai, все мы на одном ударе крыльев запоем Песнь о Героях, спасавших Стai ценой своей жизни.

А к полудню к нашим гнездовьям прилетят старики из Стай, вернувшихся раньше нас. Они споют молодым о своих Героях. Они расскажут о Ледяном Пере, который вел свою Стai в великий небесный холод. Выстроив птиц узким клином, он защитил их крыльями и, промерзая каждым перышком, дотянул Стai до родного озера. Он первым ударили воду крыльями — и в тот же миг рассыпался весь на тысячу сверкающих льдинок. Они расскажут о Победителе, который вывел Стai из урагана на сломанных крыльях, и о других прекрасных и отважных птицах, забывавших в день испытания о боли и смерти.

Я вновь спою молодым о Слепом Вожаке.

Он передал мне перед смертью зов Вожака Стai, и с того дня я сам — Вожак и хранитель песни о его славе.

Мое имя — Кольцо. В молодости я попал к вам, людям, и вы оставили на мне свою отметину, по которой меня когда-то начали окликать в Стae.

Теперь нас немало таких на свете, Колец. Но вы, люди, даже если всех нас пометите железными кольцами, никогда не раскроете великой тайны полета. Как ни вглядывайтесь в небеса, нам впослед, — вам не разгадать ни единого знака, что вычертит в вышине Стai: осенью — исполняя Долг, а весною — Верность. Вы, люди — полуслепые, вы видите лишь половину света. И дана вам природой лишь половина жизни, в другой же половине, над землей, — и не в утробах железных рыб, а на собственных крыльях, — вам при жизни отказано.

Когда, замерев на земле и подняв головы, глядите вы нам впослед, что видите вы в нашем полете? Ничего, кроме взмаха крыльев.

Но нет, не одни холода поднимают нас в небо и

гонят далеко к теплу и не одно весеннее солнце и новая пища возвращают нас на старые гнездовья. Нет — и солнце, и земля готовят тепло и новую пищу только к нашему прилету: вот в чем правда. И не звезды, не метки внизу, на земле, указывают нам верный путь. Ведет нас свет Белых Ключей, вам, людям, недоступный.

Он, свет Белых Ключей, заставляет наши сердца биться в один удар и подниматься на крыло силой единого строя.

Вам, людям, чуждо это осенне томление и счастье великого Пути. Когда наступает месяц Долга, у разных птиц он — свой, мы начинаем томиться внутренним огнем, и радостная тоска собирает нас в один, льющийся неодолимой силой, готовый взвиться до самого солнца вихрь. Мы ждем тайного дня. Он придет — и с первым лучом солнца от земли, от каждого гнезда потянутся ввысь струи света, свиваясь на верхних ветрах в Белый Ключ, в тропу, уводящую нас от дома к месту зимовья.

Сама земля призывает нас подняться в небеса. Два месяца в году весь небосвод мерцает и переливается радужным сплетением Белых Ключей, указующих Стаям исполнение Долга и Верности. Два месяца в году биение наших сердец и крыльев так же необходимы земле, как биение наших сердец нашей собственной жизни. Мы, птицы, — малые капли великого океана бытия, но в наших перелетах кроется тайная животворная сила земли. Без перелетов замолкнут на ней живые голоса и не станут прорастать семена. И вот, чтобы не перестала земля родить живое, чтобы красота не перестала быть красотой и, быть может, само Солнце не перестало светить, в День Перелета должны мы подняться на крыло и, следя по Белому Ключу, любой ценой достичь другого конца светлой тропы.

...В дальнем краю, за страною Крылатых Гор, в долине есть озеро. На его берега привел нас в ту осень Белый Ключ. Мы провели положенный срок на южной воде, слишком пахучей и слишком сладкой, чтобы ею

много было радостно утолить жажду, особенно после долгой дороги.

Мы дождались месяца Верности и стали собираться в обратный путь... Уже схватывал сердце огненный трепет; уже вздрагивали по ночам крылья, наливаясь перелетной силой. Но дни проходили за днями, а Белый Ключ все не появлялся.

И вот однажды утром у нас на глазах с соседних озер поднялись две Стая.

Первую мы невольно проводили глазами, даже не ответив на клич прощания, и лишь когда скрылась она из виду, тогда вдруг охватило нас смятение: нет, не готовились соседи к перелету, делая пробные круги, но уже уходили в Путь по своему Белому Ключу. В страхе замерли мы, пристально, до боли вглядываясь в небо: мы *не видели* Белого Ключа, что увел Стая Весельчака, так звали Вожака соседей.

Часом позже поднялась на крыло другая Стая... И вновь Белый Ключ остался невидим для наших глаз.

Наш Вожак — в ту пору им был Остроклюв — крикнул, когда Стая пролетала над озером:

— Где ваш Белый Ключ? Мы не видим его!

Вожак улетавших, казалось, не понял Остроклюва, он был удивлен другим событием и сам ответил вопросом:

— Почему медлите? Ваш Белый Ключ поднялся первым среди озер.

Известие так поразило нас, что даже лишило сил поддаться панике.

Мы сбились в растерянную толпу у берега и лишь испуганно озирались по сторонам, с трудом осознавая, что ужасней беды, случившейся с нами, уже не придумать. Мы ослепли! Мы не видим Белый Ключ!

Но страх потерять дорогу домой — не самый великий страх: мы добрались бы, пристроившись к собратьям. Мы испугались больше смерти иного: наш Белый Ключ останется пустым, он не будет согрет нашим ды-

ханием... И померкнет свет дня... и реки остановятся, и не распустятся цветы на земле... если не будет исполнена Верность Стai — перелет по небесной тропе.

Случается, гибнут Стai в Пути — в ураганах, холодах и над вашими ружьями — и не меркнет свет: земля крепка всеми летящими над ней птицами. И даже гибущие Стai на одну лишь крупицу, но все же исполняют Долг или Верность, ибо одного лишь вдохновения взлета на Белый Ключ уже достаточно, чтобы потекла по нему сквозь небеса живительная сила светоносной крови. Но Стая, что не поднялась на Белый Ключ, подобна Изгоям, ослепленным силой больших городов и забывшим о перелетах, она несет земле боль, губит леса и воду — хотя и не вашей силой холодного разума, но черной силой ослепленного сердца.

Нашей Стae не было больше места на земле. Кто предал ее страшному проклятию?

— Вода, — сказал Остроклюв. — Мы были ротозеями. Вода стала другой, и мы не ушли в тот же день. Нас погубила беспечность.

Это была правда. В месяц Долга Белый Ключ привел нас на чистую воду. Но вскоре вы, люди, построили на дальнем берегу новое мертвое гнездовье, пустившее в небо темные дымы, а в воду озера — тихую отраву. Она ослепила нас.

Страх и отчаяние охватили Стaю. Но в тот миг, когда мы уже потеряли всякую надежду, послышался голос Слепого.

Среди нас он был самым молчаливым. От рождения он не видел света и поднимался в небо в середине Стai. Однако мы оставляли ему лучшую пищу, и сам Вожак чтил его: он во сто крат лучше остальных чуял опасность, особенно вас, людей, слухом — шепот и дыхание, и по запаху — ваш пот, табачный дым и масляный дух ружей.

Слепой говорил тихо, и не было в его голосе уверенности. Он боялся, что ему не поверят... Он поведал нам,

что всю жизнь узнавал Белые Ключи по запаху, подобному тонкому аромату молодой сосновой смолы, и всю жизнь это скрывал, заметив, что остальным, зрячим, это чувство неведомо.

Остроклюв первым прозрел наше спасение и радостно взмахнул крыльями:

— Отдаю тебе зов Вожака! — воскликнул он. — Слепой! Поднимай Стую немедля, пока Белый Ключ не закрылся.

У нас не осталось времени раздумывать и тратить силы на пробные круги.

Слепой, нежданно став Вожаком, несколько мгновений растерянно шевелил крыльями и кружился по воде. Но Остроклюв подбодрил его:

— Смелее, Слепой Вожак! Веди Стую по запаху. В небе об дерево не ударишься.

Собравшись с духом, новый Вожак тронулся вперед по прямой, забил крыльями, вода отпустила его, последние брызги, мерцая, разлетелись в стороны — и он устремился ввысь. За ним, спешно выстроившись в крыло, взмыла в пустой воздух вся Стая.

Странный это был перелет. Мы не видели перед собой протянувшейся вдаль светлой тропы, и казалось нам порой, что новый Вожак и есть среди нас единственный зрячий, а мы, остальные, с покрытыми мраком глазами, летим за ним следом в неведомую бездну.

Крылья Слепого Вожака бились с ровным и спокойным свистом. Мы с тревогой вслушивались едва ли не в каждый их взмах: что, если Слепой устанет лететь Ведущим... Сбейся он хоть на миг с Белого Ключа — и мы пропали.

Остроклюв, летевший по правое крыло от Вожака, порой окликал его, подбадривая. И мы слышали от него в ответ неизменное:

— Свет на крыле! — и голос его не терял силы и бодрости.

Какой свет видел он, слепой?

Миновал день, а следом — ночь. Навстречу потянул хлесткий, порывистый ветер, и тогда Остроклюв и Прыгун вытянулись впереди Слепого на два взмаха и прикрыли его. Белый Ключ тек точно на север, не опускаясь и не дыбясь волнами, и двое Ведущих, следя за Вожаком, почти не сбивались с его лёта.

Ни о какой передышке нам нельзя было и подумать...

Внизу проплыла страна Крылатых Гор, мерцая голубыми и прозрачными, как лед, вершинами. По ночам мерцали во тьме над нами снега далеких небесных вершин, и, осыпаясь с них, крохотные льдинки, никогда не долетавшие до земли, касались наших крыльев и тихо звенели, ломаясь и сверкая радужнымиискрами. Потом на востоке, по правое крыло, растекались кольцами по краю земли огненные родники, поднималось Солнце, следя по своему Белому Ключу и, перелетев через вершину Горы Мира, опускалось вниз, блистая ослепительно золотыми перьями.

Так миновали еще одна ночь и еще один день...

На исходе третьего заката мы услышали впереди гул: крохотная вдали, как черная дробинка, навстречу Стасе неслась крылатая железная рыба.

В небесах, в пору перелетов, нет опасности страшнее ваших железных рыб. Они губят Стаси силой своего утробного огня разрывают течение Белых Ключей — и от того они, летя над землею, ранят саму землю, отравляют ее кровь губительней, чем мертвые гнездовья.

С ревом четырех огромных глоток на крыльях железная рыба стремительно приближалась. Настал роковой миг, когда мы поняли, что она не минует стороной: ее крыло перекрывало наш путь.

Уступить ей дорогу означало потерять Белый Ключ!

Крылья еще сами собой несли нас вслед за Слепым, но страх уже гнал наши души прочь, и казалось, что они, словно птицы, поднятые с гнезд внезапным выст-

релом, суматошно и бесцельно хлопают крыльями где-то далеко в стороне.

— Слепой! — крикнул Остроклюв. — Она летит прямо на нас! Сворачивай влево! Делать нечего, будем добираться на ощупь... Иначе гибель.

— Свет на моих крыльях! — вновь ответил Слепой странными словами, и в голосе его не послышалось ни единой ноты страха. — Я отдаю зов тому, кто увидит свет. Свет поведет вас по Белому Ключу. Улетайте в сторону и следите за мной. Остроклюв, уводи Стая!

Паники не было. Твердый голос Слепого вдруг успокоил всех. Остроклюв повел нас в сторону и вверх, и спустя несколько мгновений мы увидели этот неравный, по великий поединок. Мы видели в бескрайнем небе над бескрайней землею маленькую слепую птицу, не уступившую ни взмаха на своей дороге огромной, как скала, ревущей огненными пастьями железной рыбе.

Уже не страх, а горечь перехватывала дыхание.

Мы видели, как одна из огненных пастей поглотила Слепого и позади нее вылетал стремительный фонтан пылающих перьев. Мерцая и вспыхивая, они летели вперед по Белому Ключу. Они должны были гаснуть, но, казалось, не гасли... И чудилось: эти легкие искорки вытягиваются вдаль светлыми струями и далеко, у горизонта, свиваются с тающим сиянием северного края заката.

— Я вижу! — вскрикнул я невольно, не сдержавшись. — Я вижу Белый Ключ! — и сам испугался своих слов.

— Ты — Вожак! — услышал я крик Остроклюва. — Веди Стая!

И так повел я птиц по следу тех призрачных огней, страшась, что мерещатся мне они от страха и отчаяния: Но пылающие перья Слепого, чудясь ли, вправду ли не погаснув, привели Стая на родные гнездовья.

Родная вода очистила наши глаза: спустя лето, в новый месяц Долга, мы, ликуя, увидели Белый Ключ

Стаи, но отныне мне, Вожаку, и всей моей Стаде Белый Ключ кажется тропой, выстланной из пылающих перьев Слепого...

Завтра — последний день Месяца Верности, День Слепого Вожака. Этот день придет в миг, когда первый луч Солнца, подобный огненному перу, пронзит небо от края и до края. Завтра Солнце озарит землю в честь Слепого Вожака, никогда не видевшего его золотого света...

...ДЕЛО РУК УТОПАЮЩЕГО

Сначала были только тьма и теплое пульсирующее течение где-то далеко внизу... Внизу... Наверно, в ногах... Да ведь это же я жив!.. Шипов судорожно вздохнул — и замер, испугавшись вздоха. Не почувствовав боли, он успокоился и, осторожно выдохнув, прислушался к себе: кажется, внутри все цело. Он приподнял веки, и тьма сменилась пасмурной, но одновременно же и яркой, даже режущей глаза, белизной.

Шипов раскрыл глаза пошире и догадался, что видит перед собой склон соседней сопки. Он рискнул приподняться на руке, но в кисти вспыхнула резкая боль, и он, вскрикнув, снова опрокинулся на спину... Боль медленно затихала, словно потревоженный зверь, рыча, пятался обратно в свою нору... Так... Веселиться рано... Шипов осторожно вынул руку из снега и поднес к глазам. Пальцы уже начали распухать. Большой уцелел. Остальные сломаны... Он рискнул шевельнуть левой рукой и по трем вспышкам боли определил, что на левой целы безымянный и мизинец... А что ноги? Им вроде бы досталось покрепче... Шипов согнул руки в локтях и попробовал сесть... Хребет не перешиблен — и на том спасибо. Теперь согнуть бы ноги в коленях...

Страшная боль перехватила дыхание, Шипов не вытерпел и со стоном завалился навзничь. С минуту он ле-

жал так, приходя в себя... Ниже колен — переломы. Хоть бы уж не открытые... Шипов присмотрелся — оглядел штанины, снег у ног. Крови не заметил... Значит, переломы закрыты — можно жить...

Приподнявшись на локтях, Шипов оглянулся на вершину сопки. Самолет остался позади, метрах в сорока. Зацепив брюхом за вершину, он кувырнулся вниз, повалил пару жидких елок, но две другие, ниже, стояли богатырями, они приняли удар и, обломав самолету оба крыла, заставили его ткнуться носом в небольшую щель. От носа самолета по склону вниз тянулась глубокая борозда — и здесь, на ее конце, лежал он, Шипов... Значит, при ударе о стволы крупных елей его вышвырнуло из кабины и он кубарем прокатился вниз. Глубокий снег смягчил вынужденное катапультирование. Если бы удар был посильнее и самолет, обломав крылья, соскользнул вниз, следом, то...

Шипову показалось, что в глазах поплыли какие-то белые пятна. Он прилег и, когда снова взглянул на свет, понял, что ошибся: с глазами было все в порядке. Просто тихо пошел крупный снег... Засыпет. И так-то черта с два найдут. А через пару часов — и подавно. Припорошит — и поминай как звали.

Шипов снова оглянулся, еще раз прикинул расстояние: да, сорок метров, не больше. Ползти придется на локтях, лежа на спине. Иначе пальцы не убережешь, да и носом снег пахать не велико удовольствие...

Первый метр дался труднее всего. Боль в ногах была невыносимой. Наконец удалось приороваться, найти удобный «шаг» — и движение ускорилось... Любишь кататься — люби и саночки возить... Только бы рация осталась цела, а так хоть за сутки, но добраться до нее можно... Когда пересыхало горло, Шипов останавливался, закрывал глаза и с минуту ловил языком снежинки. От их холодных легких прикосновений становилось спокойно, порой даже безмятежно... Шипов вспомнил, что любил заниматься этим в детстве: съехав с горы на сан-

ках, он, бывало, опрокидывался на спину, зажмуривался и ловил языком снежинки, считая их про себя...

Подъем занял около двух часов — как раз до сумерек. Еще полчаса понадобилось, чтобы изыскать способ, как залезть в кабину. От боли Шипов дважды терял сознание. Первый раз — уже перегибаясь через борт кабину... Очнулся внизу, на снегу, в самом неудобном месте, какое только можно было тут, под самолетом, найти... Наконец удалось забраться на свое... рабочее место.

Рация оказалась не целее самолета.

Верная смерть... Снег сыпал внутрь сквозь разбитое стекло...

А ведь придется чинить, иначе и в самом деле — крышка. И никаких шуток, теперь все поблажки кончились...

Шипов внимательно осмотрел все наличные «инструменты»: один большой — на правой, два — мизинец и безымянный — на левой. Не густо. Потом он осмотрел радицию... Ну и задачка: все равно, что слону фокстрот сыграть... на саксофоне... Черт возьми, откуда еще шуточки лезут... Умом-то раскинуть: ясно, что дело — труба... А вот душа еще хорохорится...

Шипов стиснул зубы, поковырялся уцелевшими пальцами в рации, попробовал приспособить к делу указательные; они едва слушались, боль была такая, что в глазах мутилось и выступали слезы.

Время шло, темнота сгущалась... Собрать радицию вслепую и без рук — вот задачка на засыпку. Отвечаю до утра — жить останусь...

Шипов повозился еще с полчаса и, хоть на холода, но весь взмок... Все, парень, ты больше ни на что не сгодишься... Он едва сдержался, чтобы не ударить радицию локтем.

Закрыв глаза, он прислонился к креслу... Выжить-то неплохо бы... Надо... А то стыд один: упал, не разбился, а потом взял да и замерз, как цуцик, — не смерть,

а свинство... Шипов раскрыл глаза, рывком подался вперед... Хоть бы один еще целый — на правой, хоть бы один.

Скрипя зубами, Шипов снова стал ковыряться в рации, пока не почувствовал, что от боли и напряжения вот-вот потеряет сознание. Он склонил голову и решил минуту передохнуть...

— Дядь Саш, а дядь Саш!

Шипов открыл глаза, приподнял голову.

Перед ним стояли двое мальчишек, лет по десять каждому, оба — в рубашонках и черных сатиновых штанах со вздутыми коленками, один — босой, другой — в сандалетах.

Шипов тряхнул головой, поморгал... Сплю, что ли?..

— Дядь Саш! — снова позвал его ясный мальчишеский голос.

Ребята стояли в двух шагах от него, на траве, но дальше за ними все было как в тумане и света не хватало: не то раннее утро, не то сумерки. Однако по правую руку, поодаль, тенью выступал из тумана деревенский дом, отчетливо были видны резные наличники... знакомые... Сколько раз видел их Шипов в детстве... Это был дом садовника Афанасьича, что научил Шипова, когда тот не был старше своих неожиданных гостей, искусству плести из ивовых прутьев корзины...

Мерещится, решил Шипов, но не двигался — хотелось отдохнуть от боли.

— Дядь Саш, сделай корзину, а?.. Очень надо.

— Какую еще корзину? — пробормотал Шипов. — Потом, пацаны... Мне некогда. Рацию починить надо.

— Ну, дядь Саш, — запросил и другой. — Позарез нужно...

— Да что заладили... нужно им, — стал сердиться Шипов. — Вам забава, а я тут замерзну к чертям... Шли бы вы...

— Ну, дядь Саш, что вам стоит. Нам кутят нести не в чем... Тайка позавчера оценилась... Шестеро у нее.

В Прилуках обещали взять, да говорят, несите сюда сами... и чтоб с корзиной... Дядь Саш, отец вернется — так утопит всех, и не успеем. Ну, дядь Саш, вам же это — раз плонуть. Афанасьевич же сказал: мастер вы, к нему и идите, а у меня уже руки не те...

Был он, Шипов, мастером по корзинам и туескам... когда-то... Афанасьевич научил — и настоящий талант раскрыл в мальчишке: тот за лето своего учителя обогнал — корзинку такую, что хоть теленка в нее сажай, за полчаса успевал сплести. Всю деревню обеспечил вперед лет на десять, из соседних просить стали... Кабы в летчики не идти, так и корзинным делом смог бы прожить...

Шипов усмехнулся, зажмурился... раскрыл глаза по шире. Нет, стоят пацаны и на Шипова смотрят — не уйдут без корзины... Что за чертовщина!

— Ладно, не канючьте, — сдался Шипов. — Сделаю... Прутья есть?

— Есть! Есть! — обрадовались мальчишки. — Вот, дядь Саш. — И протягивают Шипову ворох добротных иловых прутьев.

И сам Шипов вдруг вздохнул с облегчением... Если уж помирать, так хоть перед смертью любимым делом заняться, душу отвести... И так-то уж года два не было досуга, да и материала под рукой...

Шипов взялся за работу, и спустя минут десять, не больше, как показалось ему, отличная корзина была готова. Шипов не пожалел времени, чтоб с удовольствием и гордостью рассмотреть ее со всех сторон: не ушел на вык, помнят руки, что умели с детства.

— Вот вам, — сказал Шипов, поставив корзину перед собой на траву. — Годится?

— Годится, дядь Саш. Во — корзина! — Оба показали большие пальцы.

— Влезет ваша команда?

— Влезет. Спасибо.

— Ну, берите и дуйте отсюда. Мне пора своим делом заняться...

Спустя мгновение он, спохватившись, едва нашел в себе силы крикнуть им вдогонку:

— Эй, пацаны! Вы там... сообщите, что я у Черных Сопок.

— Где, дядь Саш? — донеслось до него.

— У Черных Сопок! — повторил Шипов.

И вдруг он осознал, что плел корзину обеими руками, да так лихо, будто никаких переломов и не было... Он с испугом поднес руки к глазам: опухшие, побагровевшие пальцы... Он попробовал шевельнуть ими и тут же вскрикнул от сильнейшей боли: словно кипятком ошпарило руки по самые плечи. В глазах потемнело. Шипов собрал последние силы и, медленно опустив руки на колени, подался вперед. Лишь только коснулся он спиной твердой опоры, как сознание померкло...

— Сашка! Сашка! Живой ведь, бродяга!

Опять это... Шипов открыл глаза, но кроме мелькания какого-то пушистого комка, не различил перед собой ничего... Кто-то осторожно теребил его за руку, задирая вверх рукав... Потом по руке скользнуло холодом, потянуло спиртом — и мгновение спустя Шипов ощутил укол...

Нашли ведь!.. Шипов очнулся. В висках застучало — и отдалось тупой болью в затылке... Шипов тяжело вздохнул и попытался оторваться спиной от опоры.

— Погоди, погоди, старик! — услышал он горячий шепот. — Не суетись. Теперь твое дело одно — не трепыхаться... Сейчас мы тебя откачаем...

Пушистый комок оказался рыжей шапкой-ушанкой. Шипов увидел перед собой Федюшина, своего сменщика по рейсу.

— Ну, Сашка, — развел тот руками, — не то, что в рубашке, а так прямо как есть в меховом комбезе и

унтах — так ты у мамки и родился... Не угробился, не замерз, рация цела...

— Там.... ноги, — пробормотал Шипов.

— Что ноги — ну, поломался малость... Подумаешь. И со стула можно упасть — поломаться. Тут ребята знающие, врачи... Вынесем аккуратно... Вперед головой.

— Стой, Аркадий, — спохватился Шипов. — Ты что про рацию сказал?

— Как что? Цела, говорю. Повезло.

«Так это ж я ее починил», — хотел было ответить Шипов, но осекся. Как «починил»? А руки?.. Что же это такое?.. Значит... значит, рация и была той корзиной... Корзину-то я и одним пальцем сумел бы сплести... Вот чудеса. Не руки спасли, а память... Не было, значит, никакого бреда и никаких галлюцинаций — была как бы... подмена. Память *сама* нашла спасение, подчинив себе сознание.. Как еще это понять?.. Попробуй рассказать — разве поверит кто?

«Спасение утопающего — дело рук...»

— Ты что бормочешь там? — спросил Федюшин.

— Да так, — улыбнулся Шипов. — Хороший сон приснился.

КРИВОЕ ЗЕРКАЛО

Когда Андрею Северину сказали, что набрана новая группа для работы на Горгоне и что подготовка этой группы проводится по особой программе, он только усмехнулся и махнул рукой. Так или иначе на пятый, от силы на восьмой день станция превратится в сумасшедший дом. Потом прилетит беспилотный космолет и увезет всех на Землю. К тому времени геройские лица новых удальцов, как и тех, которые были до них, изрядно потускнеют. Горгона — это Горгона. Здесь в самом деле от нервной перегрузки можно окаменеть.

По сути дела, на Горгоне только и занимались исследованием непонятных эффектов и искали причину их

воздействия на человека. Точнее, искали то, НЕЧТО, что вызывает кошмары и каким образом ОНО это делает. Про сами кошмары уже известно практически все. Это были галлюцинации, сновидения наяву. Поначалу даже решили, что все эти чудеса реальны, но их не «засекали» никакие приборы, значит, они — обман, иллюзия. Но какой обман! Обман всех чувств — вплоть до осязания и мышечного чувства. Рука, протянутая к «призраку», не проходила сквозь него, но наталкивалась на предмет, и вдобавок нужно было приложить усилие, чтобы сдвинуть его с места. Трагических исходов, правда, никогда не случалось, и, видимо, не могло случиться.

Тем не менее это ненамного облегчало жизнь людей на Горгоне. Попробуйте встретить с улыбкой какое-нибудь фантастическое чудище, словно лишь затем и материализовавшееся, чтобы перепугать до смерти. Более девяти дней не выдерживал никто. Никто, кроме Андрея Северина. Это тоже была одна из тайн Горгона — «феномен Северина», загадка для всех, в том числе и для него самого. Никто не понимал, как мог он проработать на Горгоне уже больше года и просто-напросто ни разу не испугаться, когда все остальные, а их побывало на Горгоне с полусотни, почти моментально выходили из строя: нервы не выдерживали.

Подготовка новой группы несколько затянулась. Отпуск Андрея продлился почти на неделю. Это его не удивило. Но когда его отправили на Горгону одного и сказали, что остальные прилетят следом, на другой день, тут уж он был и вправду заинтригован. И потому при встрече с группой изучал лица ребят гораздо внимательней, чем раньше. Однако никаких особых впечатлений у него не осталось. Лица как лица — немного напряженнее, чем у других. Потом он заметил: они старались как-то избегать его, отводили взгляды при встрече. Словно им было неудобно жить рядом с ним, словно в чем-то они виноваты перед ним и теперь стес-

нялись извиниться, словно знали и боялись сообщить ему какую-то неприятную новость, касающуюся только его...

...На следующий день утром командир группы Сергей Бортников принял «боевое крещение». Андрей работал с ним в операторской, когда появился искрящийся шар с огромным выпуклым глазом. Шар подлетел сначала к Андрею и долго, не мигая, глядел на него. Он отодвинул шар в сторону, и тот поплыл к Сергею. Андрей отложил дело и стал наблюдать. Шар свалился командиру прямо на руки, и он — вот это да! — даже не вздрогнул, а только брезгливо шлепнул шар ладонью, так что он отлетел под стол и исчез.

Андрей был поражен: новичок даже не вспомнил о таблетках антигала.

...Вечером они сидели в «гостиной». Вдруг локоть одного из ребят, Виктора, соскочил со стола, и на пол брызнул кофе. Виктор побледнел, испуганно взглянул на Андрея.

— Андрей Владимирович, извините, случайно.

Андрей вздрогнул. Что за абсурд...

Но все смотрели на него, вся группа. Совершенно серьезные лица. Они словно опасливо ожидали, что он скажет. Андрей натянуто засмеялся:

— Да вы просто с ума посходили!

Прошло несколько дней. Ребята работали неплохо. Андрей радовался, но странное беспокойство не покидало его.

Однажды он долго не мог заснуть, выпил антигал... Все думал о причинах завидной храбрости ребят из нового отряда, о разных мелочах, странных мелочах, которые нет-нет да и проскальзывали в их поведении. Наконец он понял, что где-то в глубине души начинает бояться этих парней. Может быть, он действительно изменился здесь, на Горгоне, приспособился к ней... но перестал понимать людей?

...День третий. Щупальце осьминога висело в воздухе у выхода из операторской и сворачивалось в кольца.

— Недурно, — усмехнулся Андрей.

Щупальце словно сообразило, что с Андреем ему не справиться, и поплыло к Сергею. Тот, не отрываясь от дела, дважды отодвинул его в сторону, но это не помогло. Тогда Сергей ловко поймал его и, не выпуская, продолжал работать.

— Здорово ты его, — проговорил Андрей медленно, с расстановкой, еще сомневаясь, стоит ли начинать разговор.

— А что? — Сергей продолжал писать в журнале.

— Да ничего. Так... Не противно?

Бортников пожал плечами.

— А тебе? Ты ведь с этой ерундой целый год возишься...

И Андрей где-то в глубине души почувствовал, как это в самом деле должно быть неприятно и жутко.

Он хотел было вновь заняться своим делом, как вдруг кровь ударила в голову, и он в ужасе отшатнулся.

То была крыса, обычная крыса, не различишь, живая или «призрак», — она прошмыгнула по пульту, задев руку Андрея.

Через десять минут Андрей был в радиорубке. Он дождался момента, когда его никто не мог услышать, и включил передатчик.

— Голованов слушает, — раздался из динамика привычный голос.

— Игорь, — Андрей придинулся ближе, чтобы говорить потише, — присылай корабль, и чем скорее, тем лучше.

— Что-то случилось с группой? — тревожно спросил Игорь.

— Нет. Ребята молодцы, им все напочем, откуда их только таких достали... Зато я готов. Дня больше не выдержу. Все. Кончено.

— Да брось ты! — Игорь, кажется, вздохнул. — Вот уж никогда не поверю.

— Я серьезно говорю. Если не пришлете корабль, мне уже никто и ничто не поможет. Ясно?

— Ясно, — послышалось из динамика после короткой паузы. — Будет корабль.

Одной ночи хватило Андрею, чтобы наверстать все за год. Он проглотил полпачки антигала и к утру измотался совершенно. Ему помогли добраться до трапа. Славные ребята. Они были удивлены. Глядя на них, Андрей начал смутно понимать источник своего былого бесстрашения. Год назад что-то сработало в его сознании, и он перестал бояться кошмаров Горгоны... пока страшно было другим. Чем больше беспокоились другие, тем безразличнее относился он ко всем этим призракам. Такая вот странная форма самоутверждения... А может быть, потому что просто понимал: кому-то ведь нужно держаться.

Секрет Горгоны наконец открылся. Причиной галлюцинаций оказалось не таинственное излучение — полтора года искали не там, где надо, а летучие масла, выделяемые невесомыми спорами мхов, которых здесь было полным-полно. Несколько молекул достаточно, чтобы оказать заметное воздействие.

...Андрей вырвался в Центр раньше срока выписки из санатория: к прилету на Землю ребят с Горгоны. Чтобы узнать подробности. Однако сначала ему пришлось рассказать Симагину, руководителю исследований на Горгоне, о своих злоключениях: его срыв произвел в Центре впечатление не меньшее, чем разгадка тайны Горгоны.

За два месяца Андрей успел хорошо отдохнуть и сейчас выглядел так, как будто снова собрался слетать на планету.

— Похоже, мы и вправду кое-что не учли. Не дума-

ли, что поведение ребят выбьет тебя из колеи, — признался Симагин. — Решали, что стоит скрыть от тебя на время то состояние, в котором они пребывали. Чтоб ты их вовсе за роботов каких-нибудь не принимал... Да, подготовку они прошли действительно необычную: полгода сурового аутотренинга, практически самогипноза. Перед отправкой на Горгону они как бы усыпили сами себя, предварительно внушив себе, что все эти «призраки» необходимая принадлежность жизни, быта... Вот и все.

— И они не помнят теперь, что творилось с ними на Горгоне? — спросил Андрей.

— Воспоминания самые отрывочные, — ответил Симагин. — Обидно вроде, но ничего не поделаешь. Нужно было войти в чужой мир, не оглядываясь.

— Чтобы на время свой собственный мир стал чужим... — Андрей усмехнулся. — Победить врага, приняв его личину?.. Нет, честное слово, я не сорвался бы, если б они начали ломать стулья или сказали, что не могут со мной работать и лучше бы мне убраться с планеты, оставив их в покое.

В этот момент дверь открылась и вошел Сергей Бортников, руководитель группы, работавшей на Горгоне.

— А, Сережа, — Симагин улыбнулся. — Знакомься со знаменитым Севериным.

Андрей глянул на своего шефа... и принял игру.

— Андрей. — Он протянул руку.

— Сергей, — представился Бортников. — У меня такое ощущение, будто я когда-то с вами сталкивался.

— Вряд ли, — усмехнулся Андрей. — Я-то точно впервые вас вижу.

БОЛЬШАЯ ОХОТА

В шесть часов вечера Ролл Дагон выключил экран, на котором весь день бесчисленными роями проносились

цифры, словно тонкие извивающиеся черви, проползали графики, а в перерывах между этапами этой сумасшедшей гонки появлялось каменное лицо старшего клерка, дававшего новые указания.

Теперь экран был выключен, но в глазах у Ролла все еще метались точки и полосы, призрачные тени экрана.

«Рабочий день кончился», — сказал Ролл самому себе. Вот уже десять лет каждый вечер он произносил эти слова. Они как тумблер: стоит нажать — и Ролл перестает быть придатком экрана, превращается в человека, имеющего право думать о чем-то своем и заниматься какими-то своими делами. Ролл встал, выключил кондиционер и вышел в коридор. Его тут же увлек людской поток, который быстро двигался по коридорам и площадке лестничной клетки, где были лифты.

В коридоре монотонно шуршали трущиеся друг о друга рукава пиджаков, резко шаркали по пластиковому полу ботинки. Часть толпы вместе с Роллом была отсечена от коридора тяжелыми дверьми лифта, и кабина — глухой короб с вогнутыми, грязно-серого цвета стенами — полетела вниз.

Ролл спешил. Его ждала Игра.

Игра... Она была единственным утешением, единственным отдыхом для рабов, подобных Роллу. То, что раньше применялось только по отношению к уголовникам и политическим преступникам, теперь, как прививки, было обязательным для всех. Крохотный зонд, установленный в коре головного мозга каждого человека, в течение всей жизни был строгим цензором его мыслей. Стоило появиться «крамольным» идеям, как зонд настороживался, а когда идеи превращались в действие, зонд окончательно просыпался, начиная беспощадно рвать мысли, ломал волю и заставлял человека прекратить всякие попытки посягательства на установленные законы.

В семь часов вечера Ролл уже стоял у подножия

гигантской пирамиды из металла и бетона, которая была перевалочным пунктом из этого кошмарного мира в мир иной, зачарованный и спокойный, в мир Игры. Кажется, это был и в самом деле иной мир — совсем другая планета, приспособленная для Игры, но об этом толком никто ничего не знал. Иногда до Ролла доходили обрывки слухов, что существует совсем другой мир, где люди живут без зондов в мозгу, свободно работают и отдыхают как хотят, но в это верилось не больше, чем в потустороннюю жизнь.

Назвав в проходной автомату свое имя и номер пропуска, Ролл поднялся на двадцатый этаж и, миновав несколько коридоров, нашел наконец зал обслуживающего участка, номер которого ему был сообщен внизу. За дверью Ролла вновь встретил сухой голос робота:

— Что вам угодно?

— Охотиться, как всегда. Оружие: карабин-автомат «Лахонда» серии 12.

— Хорошо. Пятьдесят алонов.

Ролл достал из бокового кармана куртки монету и бросил ее в щель рядом с проемом в стене. Из стены выдвинулась панель с лежащим на ней карабином.

— Кабина номер семь, — раздалось сверху.

Войдя в тесное и низкое помещение кабины, Ролл закрыл дверь, разделся до пояса и прижался лицом к холодному пластику двери, вытянув руки над головой.

Справа из стены выдвинулся круглый блестящий стержень с кубической формы предметом на конце. Прошло несколько секунд, послышалось короткое шипение, раздался звук, словно из бутылки вылетела пробка, и темный жесткий коробок детектора безопасности намертво присосался к боку Ролла.

Когда Ролл обернулся, противоположная стена уже исчезла. Там, где кончался гладкий серый пол кабины, начиналась бугристая земля, покрытая взъерошенной травой, которую то там, то здесь рассекали изогнутые корни могучих зеленых великанов. Сквозь их со-

мкнувшиеся в вышине кроны пробивались лучи ласкового солнца, усеивая сухую дорогу светлыми пятнами. Ветви и листья шевелились, и блики на дороге метались, точно затевали веселую и отчаянную игру, приглашая всякого, кто пожелает присоединиться к ним. Это и был сказочный мир охоты, или мир Игры.

Ролл быстро оделся и шагнул с дороги в лес. Пройдя несколько метров, оглянулся. Вокруг был лес и только лес.

Роллу казалось, и он чувствовал это каждый раз, когда попадал сюда, что этот нереальный мир был для него гораздо реальнее мира жмуящихся друг к другу небоскребов, просверленных трубами-туннелями. Ему казалось, что он всегда жил в этой доброй сказке и что на самом деле не существует именно той злой сказки, в которой он проводил большую часть дня и откуда всегда спешил уйти, чтобы возвратиться сюда, в этот лес, в эти горы.

В конце концов, только здесь Ролл мог на время забыть все свои дела и думать о чем угодно и сколько угодно. В этом мире не действовало психозондирование, и даже просто знать об этом было приятно. Единственным предметом, который связывал Ролла с миром, казавшимся теперь таким далеким, был детектор безопасности.

Функции его были несложными. Во-первых, он тихим жужжанием напоминал человеку о конце его пятичасового пребывания в мире Игры, и после третьего напоминания охотник оказывался в кабине, откуда он начал свое путешествие. Второе и главное — детектор гарантировал жизнь человеку, отправлявшемуся в мир Игры. Если подстреленный разъяренный хищник бросался на охотника, то в последний момент, когда когти уже касались одежды, детектор срабатывал. Охотник мгновенно переносился в кабину, а обманутый зверь падал на пустое место.

На таком принципе действия этого аппарата был ос-

нован еще один «вид охоты». Когда в мире Игры встречались два охотника, между ними всегда завязывалась перестрелка. Победивший в такой дуэли премировался одноразовым бесплатным прокатом оружия, а побежденный, когда между ним и пулей противника оставалось расстояние в какой-нибудь десяток сантиметров, переносился в кабину.

В этот вечер Роллу не повезло. Он проходил все пять часов, не встретив ни одного крупного животного или хотя бы птицу. Даже мелочь попадалась всего два раза, мелочь, которая для охотника не представляет никакого интереса.

Домой Ролл вернулся в половине первого. Настроение было скверное, и он, не став смотреть, как обычно, по телевизору вечернюю эстрадную программу, наскоро поужинал, намереваясь тут же лечь спать. Встав из-за стола, Ролл бросил тарелку в поглотитель, машинально посмотрел в ящик пневмопочты и увидел какую-то карточку. «Странно, — подумал Ролл. — Вся почта приходит с утра... Странно». Он осторожно вытащил карточку и поднес ее к глазам.

«Уважаемый господин Ролл Дагон,
настоящим уведомляем Вас о том, что с первого числа следующего месяца предполагается расторжение с Вами трудового контракта.

Намечаем в скором времени обсудить с Вами вопрос о предоставлении Вам пособия

С уважением к Вам

дирекция фирмы «Сайл-Бишер».

У Ролла захватило дух. Он уволен. Почему?! В эту ночь Ролл не сомкнул глаз.

Рано утром он съездил в финансовый отдел компании, чтобы получить деньги, а на обратном пути зашел

в блок по трудоустройству. Когда автомат, проглотив анкету с данными Ролла, сухо прогудел: «Ждите. Как только вы понадобитесь, вас вызовут», Ролл понял, что положение его безнадежно. Он вернулся в свою квартиру на восемьдесят второй этаж круглого, словно незаточенный карандаш, небоскреба, сел в кресло и закрыл глаза. «Что теперь?» — задавал он себе один и тот же вопрос.

Сидеть и ждать, и пользоваться сервисом для безработных? Так долго не протянешь. Требовать? Протестовать? Бессмысленно.

«Куда же деваться? Что еще можно предпринять?.. А что, если просто-напросто... — Ролл вскочил. Неожиданная идея поразила его. — Что, если сбежать из этого мира? Сбежать в мир Игры. Может быть, он так же реален, как и наш? Во всяком случае, таким кажется. А если я не прав?.. А что, собственно, я теряю, если даже вся эта охота просто обман чувств? Ничего не теряю. Конечно, ничего. Так можно и рискнуть? Из этого мира меня выбросили, так зачем же оставаться в нем? Странно, что за всю жизнь ни разу об этом не подумал».

«О господи! О чём я думаю?! — вдруг спохватился он. — Об этом же нельзя думать! Сейчас сработает этот проклятый зонд! Пронюхает Служба безопасности, и тогда... Нет, нет. Нельзя об этом думать ТАК ОТКРОВЕННО. Нужно переключиться на что-то другое. На что-то другое... Ну вот, скажем, вытереть пыль со стола. Тыфу, какую пыль? Что за вздор! ВКЛЮЧИТЬ ТЕЛЕВИЗОР. Вот это еще туда-сюда. Так. Я ВКЛЮЧАЮ ТЕЛЕВИЗОР, ВКЛЮЧАЮ ТЕЛЕВИЗОР».

Ролл включил телевизор: на экране что-то горело багровым пламенем, колыхалась стена черного дыма, кто-то бежал, трещали выстрелы. Он посидел несколько минут перед экраном, отрешенно глядя на огонь и беготню, не слыша ни криков, ни стрельбы.

Вдруг снова обожгла сознание внезапно возникшая мысль: «Нет, так тоже нельзя! Надо решать сразу, ина-

че потом все равно не сможешь думать ни о чем другом. Итак, решено... Ну... Чего бояться?.. Решено! — Он рывком выключил телевизор и встал. — Теперь нужно только выиграть время и сбить с толку зонд. И надо подготовиться как следует, ведь обратной дороги уже не будет».

В одном из шкафов Ролл нашел большую сумку, вытащил ее и бросил в кресло.

«Для чего мне сумка? — думал Ролл. — Для чего? Я ХОЧУ СХОДИТЬ В МАГАЗИН, КУПИТЬ ЧТО-НИБУДЬ, ВЕДЬ Я СЕГОДНЯ ПОЛУЧИЛ ЗАРПЛАТУ».

Потом он достал несколько рубашек и пару брюк и засунул одежду в сумку. Надел куртку, схватил сумку и выбежал из квартиры.

«СКОРО Я ВЕРНУСЬ... ВЕРНУСЬ... ВЕРНУСЬ, — пытался он убедить своего вечного шпика, подслушивавшего все его мысли. — КОНЕЧНО, ВЕРНУСЬ... Черта с два... Однако времени у меня совсем мало. Надо спешить... Что лифта так долго нет?!»

Ролл обежал магазины, набил сумку доверху. Руки ныли от тяжести двухсот электрозажигалок, пистолета и полутора тысяч патронов к нему. Ролл то и дело посматривал на часы. Прошел уже целый час, а он был еще далеко от Дома Игры. Роллу уже казалось, что он чувствует, как включается зонд в его мозгу — вот он начинает вибрировать, нарастают, учащаются колющие импульсы, парализуя нервные клетки; острые безжалостные иглы пронзают каждую мысль, не давая ей превратиться в ясный образ.

В ушах шумело от адского напряжения. Ролл страшно устал от того, что каждому своему шагу он должен был находить бессмысленное и нелепое объяснение и повторять его мысленно, повторять про себя одно и то же десятки раз, чтобы замаскировать, спрятать свои истинные намерения. Но разве можно за барьером нелепиц скрыть, убрать в дальний угол сознания те мысли, которым подчинено все твое существо?

И чем ближе подходил Ролл к своей цели, тем явственнее представляла перед ним перспектива провала, тем сильнее стучало его сердце, тем слабее становилась психологическая защита против еще дремавшего зонда.

...Когда детектор впился ему в бок, он вздрогнул и облился холодным потом...

...Упал Ролл уже на берегу небольшой речушки. Он растянулся во весь рост на песке и долго лежал неподвижно, чувствуя, что ему никогда не подняться на ноги — так отяжелело все его тело.

«Неужели я победил?! — первое, что пришло ему в голову. — Неужели все это правда?!» Ролл никак не мог поверить в то, что еще два часа назад он считал невозможным, — что разум его прорвал наконец блокаду и ему не страшны теперь никакие зонды, никакие электронные вампиры, которые только того и ждут, чтобы высосать из человека его интеллект. У Ролла было такое чувство, будто он вышел из раскаленной печи и окунулся в холодную воду. Он пытался собраться с мыслями, но это у него не получалось: в голове еще бурлили и мешались какие-то бессмысленные образы фраз и воспоминаний.

«Стоп! Нужно отделаться от детектора. Иначе Служба безопасности сможет найти меня».

Ролл перевернулся на спину и сел, проведя ладонями по брюкам, чтобы стряхнуть прилипший к пальцам песок. Теперь детектор безопасности представлялся ему чудовищным паразитом, сосущим его кровь, выгрызающим внутренности. Ролл осторожно подцепил детектор пальцами и потянул в сторону. Коробок не поддавался. Ролл плотно скжал зубы и потянул сильнее. Побелели пальцы, побелела оттянутая на боку кожа, но детектор не хотел отпускать Ролла. Тогда он, вздохнув, задержал дыхание, напрягся и дернул изо всех сил. Раздался чмокающий звук, и детектор упал на песок, а Ролл застонал от боли. Он посмотрел на свой бок и ужаснулся:

на боку зияла малиновая ссадина. Но Ролл поначалу не придал этому большого значения. Он понял, что последний мост за его спиной сожжен; последнее сомнение в реальности окружающего исчезло.

Через пять часов после побега детектор безопасности и карабин, оставленные Роллом на берегу реки, исчезли, а сам Ролл в тот момент был уже далеко. Он шел куда глаза глядят, минуя овраги, холмы и низины. Единственная цель, которую он теперь преследовал, заключалась в том, чтобы отойти подальше от того района, где он оказался после выхода из кабины, чтобы Служба безопасности не смогла напасть на его след. Ролл еще не представлял себе, как он станет устраивать свою дальнейшую жизнь, но это его сейчас не волновало. Теперь, после того, как он избавился от детектора и время, отведенное для охоты, уже прошло, а с ним ничего не случилось, Ролл окончательно уверился в том, что мир Игры существует на самом деле так же, как и тот мир, откуда он сбежал. И этой уверенности Роллу было пока более чем достаточно.

На третий день Ролл наткнулся на труп. Он лежал на вершине пологого холма лицом вниз, широко раскинув руки в стороны, словно пытался обхватить ими весь холм.

Ролл стоял около тела, распростертого на земле, и как завороженный глядел на него, не веря своим глазам.

Светлые волосы на затылке мертвеца шевелились под порывами ветра, а ближе ко лбу они были слеплены какой-то темной высохшей массой; на земле, у самого лица, виднелось ровное бурое пятно.

Страшная догадка осенила Ролла.

Он нагнулся и осторожно приподнял край незастегнутой рубашки, надетой навыпуск.

— Боже милостивый! — прошептал Ролл.

На правом боку убитого, где должен был находиться детектор безопасности, зияла точно такая же ссадина, как и у него самого.

— Боже милостивый! — повторил Ролл. Земля уходила у него из-под ног.

Роллу ясно представилась простая и кошмарная истина. Все, что окружало его, было плоской, раскрашенной в разные цвета декорацией, и мир этих декораций, мир Игры, оказался таким же жестоким и бесчеловечным, как тот, о котором Ролл вспоминал с содроганием, уже не веря, что он когда-то мог в нем жить. И этот безоблачный мир оказался просто продолжением или даже частью того, он был коварной ловушкой для человека: сначала он отвлекал от главного зла и вместе с зондами и Службой безопасности сковывал мысль, а потом, когда человек становился опасен, он завлекал его в свои сети и убивал. Те, кто создал это, точно рассчитывали: человеку, если он всерьез вздумал бежать, был, в сущности, открыт «путь к спасению».

Ролл понял, что он далеко не единственный беглец, решивший порвать с миром, который все еще управлялся людьми, но в котором Человеку не было места. Он догадался, почему «не сработал» зонд в его голове, пока он лихорадочно готовился к бегству: его победа на самом деле была поражением, хитро замаскированным под победу. Он понял, почему премировался удачливый охотник в охотничьей перестрелке, вспомнил, с каким азартом сам палил в противника, и ужаснулся, сообразив, что, быть может, стрелял в ничем не защищенного человека и мог убить его.

Роллу стало дурно. Он с трудом отвел взгляд от трупа, повернулся и, подхватив сумку, сначала пошел, а потом побежал прочь, прочь от этого жуткого места...

...В тот день ссадина на боку загноилась. Он обмыл рану водой и двинулся дальше, прижимая рукой к боку найденный в одном из карманов носовой платок. К вечеру Ролл почувствовал, что начинает слабеть. Сна-

чала нервное потрясение, а потом разболевшаяся рана доконали его совсем. Еще хуже стало после встречи с охотником, который, к счастью, его не заметил и прошел мимо. С этого момента Ролл больше не ставил пистолет на предохранитель...

Когда Ролл спустился в широкую ложбину, прорезавшую ровной линией весь лес, и прилег за маленьким холмиком на самом ее дне, а потом, приподнявшись, вдруг увидел, что по направлению к нему по ложбине идет человек, то понял, что на этот раз встречи ему не миновать.

Ролл снова опустился на землю и внимательно осмотрелся, окончательно удостоверившись в том, что, покинув свое укрытие, никак не сможет остаться незамеченным. Рассчитывать на быстроту действий он не мог. Отступать по дну ложбины, которое было размыто дождями, не имело смысла, поскольку укрыться нигде не было никакой возможности, а штурмовать довольно крутой склон Роллу было уже не под силу.

«Кажется, начинается самое мерзкое», — подумал Ролл, достав пистолет и вставив в него новую обойму. После этого он перевернулся на живот и осторожно высунулся из-за холма. До идущего человека оставалось около семидесяти метров.

«А что, если это такой же беглец?! — Ролл даже испугался этой мысли. — А если нет? Но как отличить его от простого охотника? Ошибка в любом случае будет стоить жизни одному из нас. Как же быть?»

Ролл до боли напрягал глаза, пытаясь по походке, по самой фигуре как-то определить, кто перед ним: такой же беглец, как и он сам, или охотник, приученный только убивать.

Между тем расстояние между ними сокращалось.

И тут ему в голову пришла новая мысль. Ролл чуть-чуть подался назад, продолжая выглядывать из-за холма, повернулся на бок, держась на локте, и, резко вы-

тянув руку с зажатым в ней пистолетом, выстрелил вверх.

Человек, шедший по дну ложбины, замер на миг, затем прыжком бросился за камень, выставил перед собой ствол карабина.

«Если это охотник, то сейчас он начнет палить не переставая», — подумал Ролл. Охотники патронов не жалеют. Это он знал по собственному опыту.

Прошла еще бесконечная минута. Потом вторая. Тишина.

«Неужели беглец?! — Ролл еще больше развелся. — Нет, это немыслимо. Слишком нереальный случай, чтобы в таком просторном мире на такой узкой дороге встретились два беглеца...»

Ролл еще раз резко поднял руку и выстрелил.

Раскатистое эхо унеслось вдаль, и в этот момент Ролл услышал человеческий голос. Он словно разбудил что-то в душе Ролла, включил какую-то переставшую работать часть сложного механизма сознания. Ролл встрепенулся и весь напрягся, всем телом ощущая обращенные к нему слова.

— Эй, дружище! Ты что-то там мудришь. И стреляешь, если мне не изменяет слух, из пистолета. А у всех охотников бывают только карабины-автоматы. Ты что... беглец? — Последнее слово было произнесено так, что это был вопрос и одновременно ясный ответ на него.

— Да! Да! — заорал изо всех сил Ролл. Он даже задохнулся: горячая волна прокатилась по его телу.

— Ну тогда все в порядке, черт побери! — Незнакомец весело рассмеялся, встал с земли, отряхнулся, повесил карабин на плечо и уверенным шагом двинулся к Роллу, одной рукой почему-то касаясь края жесткой широкополой шляпы, на которую Ролл поначалу не обратил внимания. — Рад тебя приветствовать, коллега.

Ролл приподнялся и молча глядел на «своего коллегу», который, улыбаясь, приближался к нему.

Вскоре Ролл мог уже рассмотреть его лицо. Оно

представляло собой сплошную сеть морщин и складок. Из-под шляпы выбивались начинаящие седеть волосы. Мелкие тонкие морщинки расходились веером из уголков добрых смеющихся глаз. Передние зубы у незнакомца были испорчены, но это только еще больше подчеркивало добродушные и искренность его улыбки. Но особенно поразили Ролла глаза незнакомца. В них было что-то хорошее и живое, успокаивающее.

Незнакомец остановился в двух шагах от Ролла и внимательно осмотрел его.

— Беглец, значит... Ну это здорово, — это было сказано так, что Ролл почувствовал, как это действительно здорово. — Ну и перепугал же ты меня вначале. Думал, уж конец приходит... Знаешь, приятель, я ведь весь в броню закован. И куртка пуленепробиваемая, и брюки, и шляпа даже... Вот ведь брошу, как танк этакий. Да толку от всего этого чуть, когда чувствуешь себя рыбой, выброшенной на берег, и ждешь пуль. А будут они сыпаться, когда друг-охотничек не убедится, что я — пшик! — исчез, а я это, увы, без детектора делать не умею. А это означает, что пятьдесят пуль наставят мне синяки, а пятьдесят первая, глядишь, и найдет лазейку... Ну ладно. Главное, нам с тобой повезло... Беглец... Это хорошо... А меня, собственно, зовут Граун.

— А я Ролл. — Он еще не пришел в себя и только слабо улыбался.

Он хотел встать, но, поднимаясь с земли, задел больным местом сумку и, закусив губу от резкой обжигающей боли, в изнеможении вновь сел, прислонившись к сумке спиной.

— Эге, дружище! Что с тобой? — всполошился Граун.

Ролл расстегнул рубашку и отвел ее край от правого бока.

— Хм... — Граун поморщился. — Понятно... Ну ничего. И я с этого начинал. Пойдем ко мне. Я тут недалеко обитаю. Сможешь идти?

Ролл покачал головой.

— Тогда, если не возражаешь, я тебя перетащу как мешок.

— Мне все равно. — У Ролла шумело в ушах, на глаза наплывал туман.

Граун подошел и осторожно взвалил Ролла на плечо.

— Ничего?

— Сойдет, — ответил Ролл, упервшись лицом в мускулистую спину, покрытую жесткой бронированной тканью.

Граун чуть присел и, повесив на плечо свой видавший виды карабин, поднял с земли сумку Ролла.

— Фью! Ну и тяжеленная же! У тебя что там, камни?

— Патроны. И электрозажигалки еще, — сказал Ролл.

— Патроны?! — обрадовался Граун. — Это здорово! Это ты молодец! А у меня теперь с патронами туговато. Да, тухо, ничего не скажешь. Подумываю уже переходить на копье и лук со стрелами.

Всю дорогу, пока Граун шел по дну ложбины, а потом по лесу, Ролл молчал. Зато Граун говорил без умолку. Рассказывал, как он жил раньше, как работал в системе техобслуживания автотуннелей, как его ни с того ни с сего вышвырнули за дверь, как после этого все его родственники словно забыли о его существовании, а жена от него ушла, и как, в конце концов, он плюнул на все, сбежал сюда, и вот уже четырнадцатый месяц живет в свое удовольствие.

Наконец они дошли до жилища Грауна. Это была небольшая землянка, сверху прикрытая сухими ветками и высохшей травой.

Когда Граун уложил его на постель, сплетенную из веток, Ролл внимательно осмотрелся. В землянке было

опрятно и уютно. Всю «мебель» составляли кровать и плетеный стул. Стол заменяла неглубокая полукруглая ниша, вырубленная в стене. Сбоку, у лестницы, виднелась еще одна ниша, которая находилась у самого пола. На дне этой ниши были разбросаны потухшие угли, на которых стояло нечто вроде котелка. Стены были аккуратно обтесаны и орнаментированы светлой калькой.

— Да, брат, чего только не придумаешь, сидя в одиночестве, — вздохнул Граун, увидев, как Ролл с улыбкой рассматривает стены землянки, продолжая копошиться в углу среди каких-то склянок. — Ага, — вдруг сказал он, наливая из банки в деревянную плошку немного густой зеленоватой жидкости. — Ну теперь держись. Я этой травой один раз случайно от загноившейся царапины вылечился, а теперь всегда лечусь: все раны, ссадины как рукой снимает. Поворачивайся на бок... Так, подними рубашку... Готово! — Граун поднес плошку к ране и выплеснул на нее все содержимое.

Роллу показалось, что ему на бок положили раскаленную металлическую чушку. Он до крови закусил нижнюю губу и, согнув ноги в коленях, прижал их к животу.

— Ничего, ничего, потерпишь, — говорил Граун. — Зато через два дня будешь здоровее меня.

Ролл прижался плечом к стене, чтобы было удобно лежать, и почувствовал, что засыпает.

— Все-таки как это замечательно, что мы с тобой встретились, — сказал, помолчав, Граун. — Я ведь уже говорил, что ни разу не встречал здесь беглецов... живых, во всяком случае.

— Я видел труп, — тихо, сквозь дремоту, сказал Ролл.

— Да? — Граун вскинул голову. — Значит, ты уже об этом знаешь... Что ж, тем лучше... Это тот самый труп, который у ручья, рядом с обрывом? Я его сегодня утром закопал.

— Нет, — сказал Ролл. — Этот далеко отсюда.

Очень далеко. Километров шестьдесят или даже семьдесят.

— Сволочи! — с чувством сказал Граун.

— Охотники не виноваты.

— Да я не об охотниках. Наш брат, конечно, не виноват... Он ведь ничего не знает, пока сам не попадет на наше с тобой место... Это дело тех, кто сидит за рулем. Тех, кто наживается на таких, как мы. Хитро придумали: обманом привязали всех пассажиров к сиденьям, чтобы, чего доброго, не взбунтовались и не разделялись со своими хозяевами, а потом намалевали на стекле занимательные картинки, чтобы все сидели смирино, только любовались, ничего не понимая. Эх, если бы мы что-то могли!..

— Я тоже думал об этом, — согласился Ролл. — Но не кажется ли тебе, что создатели Игры все-таки просчитались? Например, в том, что на Игру не распространяется действие психозондирования?

— Да как сказать? Мы тут, вдалеке от Таулы, ничего не можем. Живем как дикие звери, ожидая охотников.

— Ты говоришь, что мы находимся далеко от нашей планеты?!

— Ну да. Потому и не работают здесь зонды.

— Я что-то не соображу...

— Да и не надо соображать. Все очень просто. Нашли планету подальше от Таулы, где и жить можно, и места для всех хватит, и переоборудовали ее в такое охотничье угодье. Потом наладили сюда мгновенное и бесперебойное передвижение через пространство. И весь секрет.

— Откуда ты знаешь?

— Однажды слышал разговор на эту тему. Да и сам кое-что замечал. Солнце здесь не такое, как у нас... А где на Тауле ты видел столько зелени и зверья? Нигде. Все вытравили.

— М-да, — Ролл все еще никак не мог примирить-

ся с мыслью, что каждый день он перешагивал чудовищные бездны кромешной тьмы и пустоты:

— И ведь надо же придумать: превращать беглецов в дичь. Хорошо, что я догадался облачиться в броню. Теперь попробуй меня просто так взять... Кстати, у меня осталось несколько кусков ткани, из которой скроен этот панцирь. Нашьем тебе на куртку и на брюки бронированные заплатки.

Прошел месяц. Ролл постепенно привык к новой жизни, и ему начинало казаться, что он так жил всегда, а прошлое было скучным и серым сном. Каждое утро он охотился вместе с Грауном, а в остальное время расширял землянку или плел нехитрую мебель. Как-то Граун предложил всерьез заняться земледелием, и они изобрели деревянный плуг. Всерьез подумывали о присущении диких животных. Между тем патроны кончились. Оставили неприкосновенный запас специально для защиты от охотников. И вскоре эти патроны понадобились.

Однажды после очередной перестрелки, во время которой удалось «подстрелять» охотника и отправить его в Дом Игры, Ролл сказал Грауну:

— Послушай, а что, если попробовать переманивать охотников на нашу сторону?

— То есть как это? — У Грауна приподнялись брови.

— Договориться с ними. Убедить, чтобы они поступили так же, как и мы, и остались здесь.

— Но как это ты с ними договоришься? Миленькие-хорошенькие? А они тебе пулю в лоб. Тебя это устраивает? — Граун усмехнулся. — И потом не забывай, что таких, как мы, бобылей и бедолаг, на свете не так уж много. Мало кто захочет просто отмахнуться от того мира. Да и Служба безопасности может докопаться, тогда достанется всем. И нам тоже.

— Так ведь и голова нам, надеюсь, не зря дана.

Можно при встрече представиться агентами той же Службы и начинать прямо с расспросов. Что говорить дальше, мы решим потом, когда узнаем о человеке достаточно. Я верю: найдется немало людей, которые могут примкнуть к нам. Это уж точно... Сейчас нас только двое, а представь себе то время, когда нас будет много.

...Случай представился через две недели. Было тихое и пасмурное утро. Ролл и Граун бродили по лесу и, увидев просвет между деревьями, вышли из чащи.

Лес кончался на краю пологого склона, на котором то там, то здесь лежали, вдавившись в землю, огромные валуны. Внизу росло еще несколько деревьев, а дальше расстилались бескрайние изумрудные луга.

— Красивое место, — сказал Граун, окидывая взглядом величественный простор. — Вот где бы нам поселяться... Ложись! — вдруг воскликнул он.

— В чем дело? — спросил Ролл, припав к земле.

— Ох и везет же нам, — Граун многозначительно показал головой. — Погляди вниз повнимательнее.

Ролл посмотрел в сторону, куда показывал Граун: внизу, у подножия холма, шел человек.

— И как это мы его сразу не заметили? — удивился Ролл.

— Главное — он нас не заметил. — Граун немногом помолчал, наблюдая за незнакомцем. — Охотник. Карабин-автомат за плечом, и бок распух от детектора... Что же. Начнем большую охоту?

У Ролла по спине пробежали мурашки.

— Начнем, — сказал он. — На этот раз рискну я. На мне достаточно бронированных заплаток. Только дай свою шляпу. Голова у меня не защищена.

— Держи! — Граун отдал Роллу шляпу.

— А теперь, — Ролл показал на лежавший неподалеку громадный валун высотой в полтора человеческих роста, — я переберусь за эту машину, а ты займи по-

зицию где-нибудь в стороне так, чтобы охотник был всегда в поле твоего зрения. Стреляй в самом крайнем случае. В общем, я надеюсь, ты сможешь правильно оценить обстановку.

...Ролл дополз до валуна и поднялся посмотреть, как дела у Грауна. Тот все еще полз, одной рукой держа карабин за ремень. Трава вокруг Грауна колыхалась из стороны в сторону. «Как бы он себя не выдал этим», — с тревогой подумал Ролл. Наконец Граун остановился, выглянул из-за кочек и, убедившись, что он не замечен, положил карабин перед собой. Ролл, увидев, что его напарник уже приготовился, помахал ему из-за валуна рукой. Граун кивнул.

Охотник медленно приближался.

Ролл вспомнил, как впервые обратился к нему Граун в тот день, когда они встретились, и крикнул:

— Послушай, дружище!

Охотник дернулся, мгновенно вскинул карабин, даже не глядя на Ролла, выстрелил в его сторону и бросился за ближайшее дерево.

— Дьявол! — прошептал Ролл, осторожно выглядывая из-за валуна. — Эй, приятель, подожди! Не стреляй!

В ответ еще две пули. Над головой брызнули фонтанчики раздробленного камня.

— Чтоб тебя!.. — Ролл повернулся и посмотрел на Грауна. Тот лежал, не двигаясь, положив цевье карабина на кочку и плотно прижав приклад к плечу.

— Не стреляй! — снова крикнул Ролл.

Снова выстрелы.

— Кончай палить, тебе говорят! — Ролл начал выходить из себя. — Это принесет тебе только пользу! Если не хочешь потерять право пользования Играй, прекрати стрельбу. Прекра-ти стрельбу!

На этот раз воцарилась тишина, но это была тревожная тишина.

— Сейчас я выйду из-за валуна! — Ролл чувство-

вал, что голос его стал тверже. — Ты увидишь: я безоружен!

Ролл переложил пистолет из кармана брюк во внутренний карман куртки, потом набрал в легкие побольше воздуха и решительно вышел из-за своего укрытия, левую руку высоко подняв над головой, а правой касаясь шляпы, чтобы в крайнем случае попытаться защищить лицо.

Он прошел два десятка шагов прежде, чем охотник вышел из-за дерева, держа в руках оружие.

Ролл продолжал идти на негнущихся ногах прямо на охотника, не видя перед собой ничего, кроме нацеленного на него карабина. И вздохнул вновь, лишь когда качнулся и нехотя отвернулся в сторону темный зрачок ствола.

„НАТЮРМОРТ С ВИЗАНТИЙСКОЙ ЧАШЕЙ“

Николай вспомнил вдруг, что ему не удаются натюрморты — и настроение его безнадежно испортилось...

Среди своих друзей, художников, он считался неплохим портретистом, но вот уже полгода писал одни натюрморты и свою комнату в квартире облепил репродукциями. Друзья пожимали плечами и стали называть его дом «наглядным пособием по кулинарии».

...Николай остановился посреди улицы и огляделся по сторонам. Было пасмурно и сырое. Люди шли, горбясь и пряча лица от колючей мороси.

Дома было так же пасмурно. Коридор провонял не то уксусом, не то мокрым бельем. При хорошем настроении этот вечный квартирный запах совсем не раздражал.

Николай зашел к себе, откинулся на диван и закурил.

Когда очертания предметов стали сливаться с сизой наволочью, он услышал проворот ключа во входной двери, а минутой позже, всколыхнув волны слоистого

тумана, в комнату заскочила сестра. Она часто заморгала и скривила губки:

— Тут угореть можно! С ума сойти! Наркоман. Псих.

Она открыла форточку и уничтожающе взиралась на брата.

Николай и бровью не повел. Он смял пустую пачку и стал потрошить новую.

— Кури, кури, скотина, помрешь от никотина, — продекламировала сестра в тысячный раз и потому без всякого чувства.

В коридоре дряхло затарахтел телефон.

Сестра безнадежно махнула рукой и пошла к двери. Выходя, она приостановилась и спросила, не оборачиваясь:

— Ты где?

— На том свете.

— Ясно... Непризнанный маэстро петербургской ночной лежки. — Хлопнула дверь.

Николай положил сигарету на край пепельницы и подождал, пока сестра ответит на звонок... По счастью, звонили ей.

Николай тяжело поднялся и вытянул из-за спинки дивана свое последнее приобретение. Он всегда на первых порах прятал купленные картины подальше от глаз, такую уж имел привычку.

В углу рамки был прикреплен ценник: «Е. КЛЕСОВСКИЙ. «Натюрморт с византийской чашей».

Фамилия художника не производила впечатления — такого Николай не знал, зато цена...

На фоне выпукло-буровой, с легким отливом, словно чуть обгоревшей, стены лежали: большая свежая рыбина, две вареные и очищенные картофелины и основательный ломоть черного хлеба, кажется, изрядно черствого. Все съестное располагалось у основания массивной чаши, покрытой белой эмалью, поверх которой черной эмалью легли изображения цветов-бутонов со

стебельками и силуэты не то воинов, не то священнослужителей.

Николай с трудом оторвался от картины и огляделся по сторонам... «Натюрморт с византийской чашей» чем-то разительно отличался от всех примеров сервировки из «наглядного пособия по кулинарии».

— Ужинать будешь? — донеслось до Николая из кухни.

Он очнулся.

Ел он машинально, иногда подолгу не поднимая вилки. Сестра не приставала к нему, почувствовав, что на брата нашло и, значит, лучше его не трогать. Только решив, что раз нашло и теперь брат, наверно, спать уже не ляжет, попросила разбудить наутро в половине седьмого: в школе спозаранку какая-то линейка.

После ужина Николай снова погрузился в созерцание «Натюрморта с византийской чашей». Он потушил свет и зажег перед картиной — чуть сбоку — свечу. Трепещущий огонек оживлял полотно.

И вдруг Николай прозрел. Он вскочил с места и лихорадочным взглядом скользнул по стенам...

Он нашел. Все эти развешанные по стенам картины — они были заражены... *сытостью*... Верное ли слово?..

Он вновь сел и просидел неподвижно минут пять...

Спустя четверть часа с домашним «наглядным пособием по кулинарии» было покончено.

Тихо заглянула сестра. Ей было скучно и, видно, захотелось поболтать, но при виде жуткого разгрома она изумленно поморгала и беззвучно исчезла. Тишина в квартире больше не нарушалась ни единым шорохом.

Николай немного опомнился, и ему стало жаль сестру.

— Маша, — позвал он.

— Ты что? — робко отозвалась сестра из коридора.

— Заходи.

Дверь осторожно приотворилась, сестра зашла в комнату и замерла у вороха макулатуры.

— Да-а... Дела-а... — тихо протянула она, неуверенно переминаясь с ноги на ногу. — Может, ты и курить бросишь?

— Может... — обнадежил ее Николай.

Глаза у сестры стали совсем круглыми.

— Ты тут... это... твори, — пробормотала она. — А я пойду... позанимаюсь.

Николай снова сел перед картиной и забыл про сестру.

Та вышла и прикрыла за собой дверь, тихо-тихо.

Долго Николай сидел в неподвижности... потом наклонился вперед и, прекрасно сознавая нелепость жеста, протянул руку к полотну. Пальцы свободно проникли в несуществующее пространство и ощутили прохладное прикосновение к эмали.

Обожгло затылок.

Николай отдернулся назад... Рука завязла там, как в паутине. Он снова судорожно дернулся, и ему удалось освободить руку. Картина повалилась вперед, столкнула свечу на пол. Обрушилась темнота. На полу что-то звонко загремело.

В глазах растекались разноцветные круги.

Николай вскочил. Он долго не мог нашупать на стене выключатель, наконец добрался до него, зажег свет — и весь похолодел.

На полу вместе с холстом и погасшей свечой валялись: ломть черствого хлеба, две вареные и очищенные картофелины, одна из них развалилась от падения, большая свежая рыбина и... византийская чаша с отколившимся краем.

Чувствуя себя словно во сне, словно со стороны, Николай присел на корточки, поднял картину: перед ним был пустой холст, без единого мазка... Совершенно пустой, плоский холст. Николай, придерживая рамку одной рукой, другой потрогал упавшие на пол предметы. Все

были вполне реальными — рыба скользила в пальцах, картошка рассыпалась.

Николай бездумно поднял рыбину, ткнул ее в холст, потом — одну из картофелин, потом — отколотый край чаши... Иное пространство уже не принимало назад потерянные вещи.

Николай тяжело вздохнул — в горле будто застрял комок сухой ваты.

— Коль, к тебе можно? — едва расслышал он.

— Сейчас! — вскрикнул он.

Он нескованно обрадовался тому, что сестра позвала его: голос ее был нужен, как пощечина для теряющего сознание.

Он быстро собрал все с пола и перенес на стол. Холст засунул обратно за диван.

— Что расколотил-то? — спросила сестра, входя в комнату. — Ого, рыбку купил! Чего не отдал, я бы сейчас на ужин и состряпала... Слушай, отличная рыба. Карп. Где достал?

— Не трожь! — завопил Николай и сам испугался своего голоса.

Сестра вздрогнула, но не обиделась — она привыкла ко всяkim выходкам брата и гордилась своим самообладанием.

— Псих, — сочувственно вздохнула она. — Ладно... Картошку вареную разбросал... Сумасшедший. Я сейчас подмету.

— Не трогай, — каменно прошептал Николай.

Сестра снова вздохнула — теперь уже со снисходительной усмешкой.

— А это где раздобыл? — Она ткнула пальцем в чашу. — Красивая... Опять кучу денег угробил... И уже расколотил. До чего же балда! Сам подметешь?

Она не дождалась ответа — и снова безнадежно махнула рукой.

— Сиди — твори, — милостиво разрешила она. — Больше не зайду — хоть по потолку бегай.

Николай машинально проводил сестру взглядом до двери.

В висках стучало.

Кто такой Е. Клесовский? Кто он?

Где узнать?

Николай вспомнил о Плашевиче, бывшем своем наставнике и меценате, искусствоведе по профессии. И бросился к телефону.

— ...Ефим? Здравствуйте, это Николай.

— Хм... А, Коля! Добрый вечер. Здравствуй, дорогой мой. Давно уже не слышал твоего голоса.

— Ефим, тут... Нет... лучше я к вам забегу. Всего на минуту... Можно?

— Хм... Ну, разумеется, Коля, забегай, пожалуйста. Мы с Дорой целых сто лет, как тебя не видели.

Сестра настороженно следила за лихорадочными сбоями брата. Наконец она не вытерпела:

— Ты петлю перепутал.

У Николая вырвался нервный смешок.

Он расстегнул плащ совсем и выскочил из квартиры.

— А вот и Коля. Заходи, родной мой. — Плашевич отступил, освобождая место в прихожей. — Ты бежал как будто? Не надо было так спешить. Ты такой же бледный. Все куришь. Нет, родной мой, такую дрянь бросать надо, бросать пора, давно пора... Ну вот, раздевайся... Ты не промок?.. Вот тапочки. Прошу... Сейчас Дора угостит нас кофе. Дора! Как нехорошо. Хозяйка не встречает гостя.

— Добрый вечер, Николай! Простите. Не могу отойти от плиты.

— Добрый вечер, Дора Михайловна!.. Ефим, спасибо вам большое, но я всего на одну секунду.

Николай вдруг ощутил облегчение, но у него тут же разболелась голова, даже слегка затошило.

— Ну-ну, Коля, не перескромничайте, пожалуйста. Выпить чашку кофе — не более двух секунд.

Плашевич чуть не силой затащил Николая в свой кабинет.

— Ефим, вы не знаете такого Клесовского? Е. Клесовский...

Сердце у Николая заколотилось.

— Хм... Клесовский?.. Хм... Увы, Коля, по-видимому, не имею о нем представления.

— Художник Клесовский, — настаивал Николай.

— Хм... А, ну разумеется! Так бы, Коля, сразу и говорил, что художник... Ежи Клесовский.

Николая бросило в жар.

— Да-а, жил такой... Поляк. Ничем особо, видишь ли, Коля, не примечательный... Пейзажи, натюрморты. Он умер в девятьсот одиннадцатом году, родной мой.

— Это все? Все, что вы о нем знаете?

— Пожалуй, родной мой... Он был очень беден, практически нищий. Его картины никогда особо не ценились. Он умер от голода в двадцать два года... Что ты, дорогой? Что ты так странно смотришь на меня?

САМОБРАНКА

Почти сказка

Язычок пламени вздрогнул, порывисто затанцевал на тоненькой ножке фитиля — тени от пальцев, от иглы, от нитки заметались по полотну.

Только это бескрайнее движение света и пробудило Николая Петровича от того полусонного и тревожного забытья, в какое погружается человек, слишком увлекшись монотонной, но ответственной работой. Пока старик с трудом поднимал голову — часа три просидел он

над вышивкой, — пальцы его еще успели пропустить вслепую полдюжины точных стежков.

— Лена?

— Вы бы свет зажгли — совсем глаза испортите, — вздохнула невестка.

Она потянулась было к выключателю, но старик испуганно приподнялся и взмахнул рукой.

— Нет, нет, не надо! — заволновался он. — Нужно... это нужно вышивать обязательно со свечой.., Только со свечой.

Лена совсем растерялась, и Николаю Петровичу стало неловко за свою странную прихоть.

— Так очень нужно, Лена, — постарался он произнести как можно мягче. — А то ничего не выйдет... Спасибо. Идите спать. Устали, наверно.

— Со свечой, говоришь. — Рядом с женой в дверях появился Алексей и еще больше смущил старика — своим деловым, докторским видом. — И чтоб луна была полная? И сова вдобавок ухала? А? Давно это ты, папаня, тут без нас по ночам шаманишь?

— Нет. Только второй раз, — честно признался Николай Петрович.

Свечка вдруг заискрилась, затрещала, будто не вытерпела и решилась напомнить мастеру, что никак нельзя прерывать работу до тех пор, пока не истает весь стеариновый столбик и не утонет черный огарок в застывающей маслянистой лужице на дне блюдца.

Старик виновато вздохнул.

— Нет, я, конечно, ничего против не имею, — вдруг стал оправдываться Алексей. — Бывает... хобби... Но целыми днями сидеть, да еще по ночам глаза себе портить. — Он обращался к жене, невольно призывая ее к поддержке, но Лена только молча улыбалась и устало наблюдала за тихим мерцанием свечи. — Ну, соседи-то — черт с ними... Но ведь и так ты уже почти весь город разукрасил.

Что правда — то правда. Добрых три четверти всех

праздничных скатертей в городке, больше половины полотенец, покрывал, занавесок, чуть ли не все головные платки старушек были расшиты замысловатыми и никогда не повторявшимися узорами — творениями рук старика. Сам-то Николай Петрович удивлялся порой своему таланту, который объявился вдруг после сорока пяти лет тусклой и ничем не приметной работы на бухгалтерском поприще, выгляделвшей теперь, с высоты прожитых десятилетий, вынужденным зарплатным балластом жизни. Нелюбимое дело — вовсе не подходящее определение. Тогда, раньше, в течение ежедневного общения с письменным столом, с набором ручек и карандашей-инвалидов, с пыльными папками и охрипшим «Феликсом», совсем не возникало чувство неприязни к работе, как, впрочем, и чувство счастливой удовлетворенности. Будто была пережита сознательная трудовая жизнь в неком равнодушном полусне, будто проплавал он сорок пять лет в небольшом аквариуме, убранным в самый дальний угол тихой комнаты. У того аквариума были мутные стекла и вечная тусклая лампочка.

...Оставалось только одно, почему-то очень яркое впечатление: письменный стол. Его словно выудили из грязной лужи — это уборщица, по вечерам неряшливо орудуя шваброй, всегда забрызгивала его бока паркетной слякотью.

Талант... Старик боялся этого диковинного, музейного слова. Ему сразу представлялся робкий, худенький мальчик с большими растерянными глазами, золотистыми кудряшками, в белых гольфиках, в галстучке — и со скрипкой... А какой тут еще талант под семьдесят лет...

И не покидала Николая Петровича тревожная догадка; он отгонял ее от себя как здравомыслящий человек, подозревая в ней что-то оккультное, невероятное, но все же не в силах был от нее избавиться. Чудилось ему, что этот самый талант — не что иное, как некая награда за весь его многолетний, бездушный, но необходимый людям труд, что занимайся он раньше более творческой

работой, никогда не испытать бы ему бурную стихию вдохновения, и не стать бы ему счастливым человеком, не осознай он, что и впрямь обладает мастерством, заслуживающим всеобщего почтения....

Старик теребил иголку, она совсем засалилась и стала скользить в пальцах, тогда он носовым платком аккуратно потер ее, а потом опасливо взглянул на свечу: сколько в ней еще осталось сил поддерживать огонек.

Лена, чуткая душа, поняла, что старик уже извелся, дожидаясь, пока его оставят в покое. Все равно ведь теперь не убедишь его отложить ремесло до утра. Она тихонько отстранилась назад, повлекла за собой мужа.

— Спокойной ночи, — пожелала она старику. — Пойдем, Леш, перекусим и спать. Поздно уже.

Дверь закрылась — язычок пламени метнулся в сторону, едва не соскочив с кривой черной ножки.

Николай Петрович, не принимаясь за работу, еще с полминуты сидел и улыбался — в какой уж раз он робко признавался себе, что любит невестку больше, чем собственного сына.

Утро наступило замечательное — в воздухе стояла сырья весенняя свежесть, солнце грело уже почти в полную силу, хлеб в булочной оказался еще теплым. И все было бы совсем прекрасно, если бы на обратном пути не повстречался бывший заведующий горпрокатом — с полированной дубовой тростью, лысоватый и очень довольный жизнью.

Завидев его, Николай Петрович сразу сник. «Ну, сейчас опять начнет», — огорченно подумал он, но отступать не стал.

— Физкультпривет Даниле-мастериу, — поздоровался бывший зав, и сразу губы его вытянулись змейкой, а над бровями собирались ехидные морщинки. — Все на своих двоих ковыляешь? Я на твоем месте хоть бы по пятерке товар продавал — и то б уже на «Волге» по магазинам

разъезжал... Ну как там твоя мануфактура поживает? — Тут глаза бывшего зава превратились в две щелки, будто стал он целиться сразу из двух ружей. — Говорят, вроде горячего цеха, на круглосуточную перешел...

— Это кто говорит? — спросил Николай Петрович, не особенно испугавшись мигом родившегося слуха.

— Да ваши соседи из двадцать второй, — запросто выдал его источник бывший зав. — Отсвечивало им как-то там в окно...

— Наверно, всех теперь станут убеждать, что я совсем рехнулся.

Бывший зав сначала растерянно поморгал, а потом осторожно так засмеялся и пару раз переложил трость из руки в руку.

— Да чепуха все это, — успокаивающе заверил он. — Мало ли болтают... А тебе что? Трудись знай, чтоб не скучно было. Народные умельцы, они сейчас в ходу... Вроде старых иконок.

«Вот черт лысый... Твое счастье, что старше меня... А то заработал бы пару ласковых», — подумал Николай Петрович и двинулся к дому.

Приготовленные Леной на завтрак вареники, любимое блюдо Николая Петровича, немного взбодрили его. Но сидел он за столом молчалив и задумчив, и Лена решила, что это от недосыпания.

— Зря по ночам не спите, — сказала она. — Осунулись вон, круги под глазами.

— Ничего. Скоро кончу эту штуку, отосплюсь, — ответил старик.

— А почему обязательно ночью, со свечой? Что вы такое чудное вышиваете?

Не хотел Николай Петрович открывать до срока свою тайну, но только злость на бывшего зава и мастерски сделанные вареники так повлияли на его расположение духа, что он, не колеблясь, честно ответил:

— Скатерть-самобранку.

Лена отложила мытье посуды, медленно вытерла руки и подсела к старику.

— Какую скатерть-самобранку? — Во взгляде почти детская опасливая недоверчивость.

— Самую настоящую. — Николай Петрович принял ся за чай, отхлебнул пару глотков. — Старуха одна неделю назад принесла древнюю... инструкцию..., или рецепт... В общем, как вышивать. Главное дело — особый узор и чтобы работать при свете лучины или свечки... Потом сложишь, развернешь — и можно пiroвать.

С минуту сидели молча. Николай Петрович потихоньку прихлебывал горячий чай, а Лена невольно наблюдала за стариком и растерянно, недоверчиво улыбалась. Ей, видно, самой было неловко за свою улыбку, но справиться с ней она не могла.

— Не веришь? — Старик добродушно усмехнулся: он ничуть не обиделся на свою невестку — слишком любил ее. — С наукой не вяжется?

— Хотя бы и с наукой.

— Наука должна объяснять сказки, а не обвинять их во лжи. — Николай Петрович замолчал и сам удивился неожиданному афоризму.

У Лены от изумления приподнялись брови. Потом она будто спохватилась, поправила фартук и снова занялась мытьем посуды.

Старик кончил завтракать, но не хотел вставать из-за стола. Почудилось ему, будто Лена вдруг поверила, может, невольно, незаметно для себя, но все же поверила в силу своего дара детской доверчивости. И Николай Петрович упрекнул себя в том, что сам-то никак этого не ожидал... Чего-то важного не хватало в их кратком разговоре...

— Ну ничего. Вот вышью — глянешь, что получится, — довольно натянуто сказал Николай Петрович.

— А зачем она нужна, самобранка? — вдруг спросила Лена.

— Как зачем? — в свою очередь, удивился старик. — Сколько пропадет забот: готовить, покупать продукты, посуду вон мыть.

— А вот мне кажется, что, когда человек теряет какое-то свое домашнее умение, он потихоньку черствеет... А попади такая самобранка кому-то вроде наших соседей, ведь они всю жизнь только и будут жрать. Так вон еще кое-как работают... Пока самобранки нет. А можно сделать так, чтобы она только для тех... кто заслужил, раскрывалась?

— Не знаю... Нет, кажется. — Николай Петрович приуныл: не смог найти ни одного довода, подходящего для спора. — Бросить, что ли... Хотя не стоит. Плохая примета.

— Что вы, папа! Зачем бросать? — Лена поняла, что нечаянно обидела старика. — Красивая вещь получится.

Этот утренний разговор с невесткой сильно задел Николая Петровича: завершал он свою самую искусную работу, словно не красоту творил, а вколачивал заклепки на конвейере.

Однако, когда легли на полотно последние стежки, старик не на шутку разболновался. Он долго не мог сложить скатерть вчетверо — сложить нужно было очень аккуратно, но руки вдруг задрожали. Потом он вышел во двор и, дожидаясь, по древней инструкции, пока солнце окажется в зените, больше часа нервно ходил из угла в угол.

Наконец урочный миг настал. Николай Петрович повернулся спиной к окнам, чтобы соседи из двадцать второй не разглядели его странных манипуляций, чтобы не нашелся лишний повод для их злых языков, — и, затаив дыхание, развернул скатерть на скамейке... В ясных лучах апрельского солнца полотно ослепительно переливалось, как золоченый щит русского воеводы.

...Старику показалось, что скатерть начала собираться складочками, но тут он судорожно моргнул — и видение сразу пропало.

Николай Петрович — в душевном оцепенении — снова сложил и развернул самобранку.

Она-таки не действовала.

Будто холодом обдало сердце старику. Он не то чтобы совсем расстроился, — скорее тихо погрузился в сумрачную досаду.

«Так я и знал, — подумал он. — Как же, получится — черта с два... Шил точно половик какой-нибудь или мешок для картошки».

— Дедуль, а что это у вас?

— А? — Николай Петрович поднял голову.

Оказывается, за ним наблюдала ватага девяти-десятилетних мальчишек. Они, наверно, давно уж уловили в его поведении что-то таинственное, колдовское, потому как все прямо сгорали от любопытства.

— Хотел вам фокус показать... Да только ничего не получится.

— Почему не получится? — искренне огорчились вместе со стариком мальчишки.

— Потому что... неправильно я эту штуку делал.

Николаю Петровичу захотелось поскорее уйти со двора.

— Возьмите ее себе... Пригодится. Будете в войну играть... можно на флаг какой-нибудь пустить... или еще на что.

Ребята глядели на него во все глаза — с недоверчивым восхищением.

Старик тяжело поднялся со скамейки и двинулся к подъезду.

— Спасибо, — услышал он, но не обернулся.

Когда он проходил мимо двери двадцать второй, то услышал громкий голос соседки: она, видать, нарочно рассчитывала на нечаянное всеуслышание.



— Старый-то! Шпане отдал... Господи, любая стоячая дубленка выложила бы сотни полторы... Совсем одурел.

Николай Петрович после такого приговора вдруг развеселился.

— Ты была права, — радостно сообщил он Лене, едва зайдя в квартиру. — Какая там самобранка!

Лена посмотрела на него вопросительно; то ли радоваться, то ли сначала огорчаться. Николай Петрович в ответ лишь махнул рукой, пошел в гостиную и решительно принял за утренние газеты.

Но не успел он устроиться в кресле, как около него произошло какое-то замешательство.

Николай Петрович опустил газету на колени: Лена завороженно глядела в открытое окно, вазочку она успела удержать, а цветы рассыпались по полу. Странный вид имел и Алексей: он, тоже в глубоком изумлении, смотрел в окно и моргал так, словно ему в глаза попал песок. Николай Петрович поднялся и осталбенел.

Его скатерть, как воздушный змей, висела на уровне четвертого этажа, а на ней, по краям, сидели те самые мальчишки. Они смеялись и болтали ногами... Зрелище невероятное...

— Это ж у меня вместо самобранки... ковер-самолет... Как же я сразу-то... — пролепетал Николай Петрович, не слыша самого себя.

— Они сейчас упадут, — прошептала Лена, не двигаясь с места.

— Эй! Живо спускайтесь! — тут же закричал Николай Петрович.

— А нельзя упасть! — услышал он в ответ.

Один из мальчишек в доказательство нарочно попытался соскочить вниз, но неведомая сила затянула его обратно.

— Все равно спускайтесь! — не унимался Николай Петрович, его трясло от волнения. — Родителей перепугаете! Отниму сейчас!

Мальчишки перестали болтать ногами и немного обиделись.

Ковер-самолет чинно поплыл вниз, во двор.

— Ну, Лена, спасибо тебе... Ты просто чудо какое-то... Ты ведь первая поверила,

Лена все никак не могла прийти в себя и точно не слышала старика.

И тогда он просто счастливо поцеловал ее в щеку.

РУКОПИСИ ВОЗВРАЩАЮТСЯ

«Время — вовсе не роковая мера жизни. Оно лишь мера наших душевных сил. Каждому из нас в день рождения даруется вечность, и только тот, кто скуп душой, никогда не сможет воспользоваться ею...»

Ловлю себя на чувстве, что не читаю, а слышу живой голос человека. Вот он — сидит напротив и снова рассказывает мне о своей жизни. Сейчас я узнаю, о чем он думал, о чем писал сегодня... Так трудно осознать, что он умер неделю назад.

Однажды он сказал: самая короткая дорога к душе друга — память. Так оно и есть... Одно мгновение — и я встречаю его взгляд. Вокруг нас сумрак больничного коридора.

...Я дежурил в ту ночь.

Помню, как задремал в ординаторской и услышал робкий стук в дверь.

Я приоткрываю глаза и, толком не проснувшись, смутно отмечаю, что стучал кто-то из больных: он стоит в дверях в серой больничной пижаме и едва различим в полутьме.

— Доктор, извините, пожалуйста. Разрешите мне у вас тут посидеть... немного. Вдохновение, знаете ли... как это ни покажется диким...

Мне ничего не кажется «диким», я устал за день — и лишь невольно подношу к глазам часы:

— Полпервого ночи.

— Извините...

Видно, мой хмурый, сонный голос не оставляет никакой надежды. Дверь закрывается, и я остаюсь один.

Не мог я видеть его глаза — смотрел только в проем двери, в середину смутного силуэта. Но теперь я отчетливо помню его глаза — вот загадка... Наверно, в меня проникла его боль, боль человека, не успевающего сделать в жизни главное...

Я помню, что уже сам стою в дверях и гляжу ему вслед. Он уходит по коридору, чуть пошатываясь, словно вздрагивая на ходу. Он безнадежно болен.

Почувствовав мой взгляд, он оборачивается и несколько мгновений стоит в сомнении.

— Спасибо, доктор, — говорит он, вернувшись. — Мне надо успеть кончить эту рукопись... Ведь мне немного осталось, так? Вы ведь не станете хлопать меня по плечу и бодро уверять, что еще правнуков нянчить придется?

Я смотрю ему в глаза и догадываюсь только нахмуриТЬ брови.

— Да, да, я понимаю, вы правы. — Он виновато улыбается и, спохватившись, что я передумаю, переступает порог ординаторской.

— Садитесь за стол, — говорю я ему.

— А свет вам не помешает? — спрашивает он, указывая на лампу...

Он отрывается от работы в шестом часу утра. Сосредоточенно складывает исписанные листы.

— А кто будет дежурить после вас? — спрашивает он вдруг, и я замечаю в его глазах какую-то детскую робость.

Услышав фамилию врача, он впадает в уныние:

— Она не разрешит мне работать ночью. Ни за что не разрешит.

Киваю ему в ответ: свою «сменщицу» я знаю хорошо, не хуже, чем больные отделения.

— Доктор, вы бы... — Он умоляюще смотрит на меня. — Вы не могли бы подожурить еще раз? Я понимаю... Но мне необходимо. Я должен закончить эту работу сегодня.

В таких случаях говорят: тогда мной руководил не здравый смысл, а провидение. Я и сейчас удивляюсь: меня ничуть не раздражила его просьба, хотя еще минуту назад я пожалел, что разрешил больному полуночничать в «служебном помещении». Я позвонил «сменщице», а потом домой: предупредил, что останусь еще на сутки.

...У меня давняя привычка — машинально отмечать время всех мало-мальски заметных на дню событий. В половине четвертого утра он поставил точку и облегченно вздохнул. Тот вздох облегчения я запомню на всегда: казалось, человек, затаив дыхание, проводил взглядом смерть, которая шла навстречу, да в последний миг, гремя косой, свернула мимо.

В следующую минуту он вновь удивил меня до глубины души.

— Извините, вы не позволите мне считать вас своим другом? — серьезно спросил он.

Я только пожал плечами.

— Видите ли, мне очень хочется, чтобы вы высушали меня, как просто человека, а не как врача — больного. Вы могли бы ненадолго выйти из своей привычной роли?

— Попытаюсь, — усмехнулся я в некоторой растерянности.

— Я хочу рассказать вам кое-что о себе, — начал он и замолк, намекая паузой, что предстоит долгий рассказ.

Я сел за стол напротив него. Лампа освещала его руки, сухие и совершенно неподвижные. Невольно я покосился на его рукопись, и ровный мягкий почерк изумил

меня — этот почерк не вязался с иссохшими, некрасивыми пальцами.

— В своем отечестве пророка нет, — сказал он. — От родных и близких я так долго скрывал свои тайны, что теперь вряд ли решусь открыться им...

Его лицо оставалось в тени. «Сколько ему лет?» — вдруг подумал я. Лицо истощенного юноши... Что-то между двадцатью и пятьдесятью. Улыбка человека робкого и беззащитного, но во взгляде — усталая проницательность прожившего бурную, богатую событиями жизнь.

— Я сейчас расскажу фантастическую историю. Я — историк... Но ученый из меня вышел никудышный. Мой дед был рассказчиком, каких мало. С его баек все и началось. Случалось, так распишет какую-нибудь бывальщину — всей семьей сидим не шелохнемся. Хотя сами ее давно уже знаем чуть не наизусть. Дружкам во дворе с дедовых слов рассказываешь — и если не верят, злишься: вроде как сам все видел, знаешь, как было... Подрос — стал исторические романы читать. Запоем. Воображения у меня хватало, даже чересчур.

Выучился в университете. Самой страшной мукой было для меня написать диплом. Я научился переживать прошлое... прислушиваться к далекому угасающему звуку. Но исследовать прошлое холодным рассудком, препарировать его по жилам... описывать тоном бодрого экскурсовода — это уж увольте... Я в конце концов стал школьным учителем. Это дело оказалось как раз по мне. Я устроил кружок любителей истории, и там нам с ребятами можно было забыть об учебниках.

И все же этого мне было мало. Я долго не решался испортить белый лист бумаги и наконец не утерпел. В тот день я рассказывал ученикам о жизни декабристов в Сибири. И так вдруг явно вообразил себе зимние сумерки и дом кого-то из ссыльных, где хозяина не было уже лет десять... и его сибирский дом, залитую свечным воском contadorку, недописанное письмо отцу... дом с вы-

цветшим мхом между оконными рамами и рассыпанными по мху высохшими ягодами клюквы. Рассказ я так и назвал: «Два дома»... Мы ведь привыкли, что бывают исторические романы, реже — повести. Но «исторический рассказ» — какой-то сомнительный жанр. Роман для меня чем-то сродни диссертации: что-то недоступное и непосильное. Рассказ — другой дело... Словно щтрих падающей звезды — светлое воспоминание из чужой далекой жизни. Есть какая-то тайная сила, она превращает его в миг твоей собственной памяти...

Я послал «Два дома» в один литературный журнал. Спустя месяц или полтора в ящике для газет появился ответ из редакции: на красивом бланке журнала, с номером и подписью литконсультанта.

«Ваш исторический рассказ...» — отвечали мне. Помню, мелькнула мысль: раз это назвали «историческим рассказом», — значит, отказали. И угадал же! Литконсультант досадовал, что «нет ощущения исторической достоверности» и что «автор не прочувствовал духа эпохи». Сожалел также, что «рассказу недостает философской связи с днем сегодняшним». Посоветовал походить в библиотеку, «глубже изучить мемуарную литературу и беллетристику того времени». В заключение он пожелал мне творческих успехов и выразил надежду, что мои литературные опыты в дальнейшем будут более удачными.

Рукопись мне не вернули. Она была по объему меньше авторского листа, всего страниц десять. Такого объема рукописи не возвращаются. Это предупреждение печатают мелким шрифтом на последней журнальной странице.

Нельзя сказать, что я уныл. Нет. Писателем я себя не считал и не считаю. Писал редко — вроде как для своего удовольствия. Это нельзя считать трудом, а значит и — писательством. С тем литконсультантом я не стал спорить даже мысленно: профессиональному виднее.

Прошло полгода. Я написал еще один рассказ, потом

еще. Читал ученикам. Им нравилось, и они уговорили меня рискнуть снова. Посыпал рукописи в разные журналы, а ответы приходили одинаковые, точно писанные одной рукой. Благодарили за внимание, снисходительно хвалили стиль и вздыхали по поводу «духа эпохи»: то он был «искажен», то «не ощущался».

И вдруг я получил ответ, от которого в глазах потемнело...

Ответ был написан длинно и витиевато, но смысл его сводился к тому, что плагиат — это плохо, но еще хуже — принимать за невежд работников редакции: знать несколько больше объема школьной программы, знать что, когда и кем было написано и опубликовано, входит в круг их профессиональных обязанностей.

Я не спал всю ночь, а наутро помчался в редакцию. Разговор с редактором вышел странный... мучительный. Он смотрел на меня из-под очков беззлобно, но насмешливо. Говорил так же витиевато и вежливо намекал, чтобы я не принимал его за дурака. Я пытался дознаться, где «первоисточник», с которого я «списал», а он все уходил от ответа, теперь намекая, что мне это должно быть известно не хуже, чем ему. Наконец он как бы невзначай назвал журнал и год — и пожелал мне выбрать псевдоним с большей фантазией. Смысл его пожелания дошел до меня позднее...

Из редакции я полетел в библиотеку. Поверьте, пока я листал подшивку, сердце сбивалось... Пальцы не слушались.

Рассказ был очень коротким. Крохотный эпизод из времен гражданской войны. Вначале я не поверил своим глазам. Пожелтевшие страницы журнала шестидесятилетней давности. И на них, на этих страницах — мой рассказ. И фамилия автора — моя, с моими инициалами. Такой красивый старый шрифт...

Я забыл о времени. Просидел с четверть часа, глядя в одну точку. Потом невольно пролистал еще несколько номеров. В одном из них наткнулся на критическую за-

метку о моем рассказе... Моем ли? Что-то странное испытал я тогда — похожее на раздвоение личности.

Это была не критическая заметка, а настоящий панегирик. «Один из первых литераторов, прочувствовавших сердцем и выразивших в печатном слове дух нашей кипящей эпохи!» — так обозвал меня критик.

Я ощутил страх: казалось, я втянут в какой-то невероятный фарс...

Заметка кончалась пожеланием «молодому автору» новых удач и надеждой, что эти удачи «порадуют наших читателей в самом ближайшем будущем».

Прочел я эту заметку, и сердце защемило. Не поверите, стыдно стало — и перед критиком, и перед читателями. Выходило, что я не оправдал их надежд... Такой вот парадокс: «литератор» родился через четверть века после своей первой публикации.

Да, в ту минуту я невольно решил, что передо мной — моя первая публикация. А потом меня вдруг осенило: почему же первая! Ведь я еще про декабриста писал!

Появилась догадка, от которой не трудно было сойти с ума. «Рукописи не возвращаются», — вспомнил я. И долго шептал эти слова, как заговор, как заклинание.

Я перерыл все журналы полуторавековой давности. Рассказ «Два дома» был опубликован. Давно. Очень давно... в «Современнике». В первое мгновение меня поразил «перевод» рассказа в облик старой орфографии.

В том же номере был отзыв на рассказ. Те же похвалы: «музыка времени», «тонкое чувствование натуры человеческой»... и прочее. Отзыв завершался догадкой-намеком, что под вымышленной фамилией скрывается человек, сыгравший не последнюю роль на Сенатской. «Литературный инкогнито подал нам большую надежду. Что ж, инкогнито начинали многие большие таланты, которые, однажды сорвав маску, представляли перед современниками во всем своем величии. Станем надеяться,

что новая «маска» не будет исключением из правила». Так кончается отзыв.

Неплохой зачин для мании величия, не так ли?

В прошлом веке мои рассказы публиковались еще дважды. С промежутком в двадцать лет, то есть в полном соответствии с их временем действия...

В одном из номеров «Колокола» я сначала наткнулся на критический отзыв, который появился спустя месяц после публикации в нем моего рассказа. Казалось, меня преследует один и тот же критик. Из века в век... Новые похвалы меня уже не воодушевили. Напротив: вогнали в тоску... Но вдруг выяснилось, что критик читал «Два дома». «Неужели за двадцать лет «инкогнито», которому во всеуслышание пророчили блестательную сочинительскую будущность, не написал более ни строки? С трудом верится... Будет ли загадка псевдонима раскрыта ранее, чем через очередные четверть века?»

Увы, надежду критика я не оправдал. Если б он знал, какая тайна будет мучить самого «инкогнито»...

Два года я ничего не писал. Я не был готов к такой огромной ответственности... Знаете, я ведь открыл великий закон природы...

Помните у Тютчева? «Нам не дано предугадать, как слово наше отзовется...»

Я открыл, что прошлое так же реально, как настоящее. Оно никуда не исчезает. Оно — рядом. Нет, это не было открытием рассудка... Сам я... душа моя вошла в эту истину. Я ощущал ее так же, как ощущаю дыхание. Прошлое так же реально, как соседняя палата, где нас сейчас нет, как фонари за окном, как деревья и как звезды... там они, смотрите, ведь они светят нам из прошлого, словно напоминают об этой истине.

Вот круг света от лампы — это настоящее. А за его пределами — прошлое и будущее. И это означает, что мы ответственны за свои слова и поступки в равной степени, как перед будущим, так и перед прошлым, от-

ветственность простирается в обе стороны. В бесконечность.

Однажды я увидел ясный осенний вечер в конце двадцать первого века. Я не удержался и написал короткую новеллу...

Он замолчал.

— И послали ее в редакцию? — спросил я и почувствовал, что меня охватывает дрожь, стало трудно дышать и часто забилось сердце.

Задав этот вопрос, я и сам прикоснулся к тайне... а до того только слушал, словно в полусне.

— Отоспал, — кивнул он.

Я долго собирался с духом, чтобы задать новый вопрос:

— Ответ был отрицательным?

— Да, — легко улыбнулся он, — отрицательным. Литконсультант признал, что в моем «фантастическом рассказе» нет ни оригинальной научной идеи, ни зримых примет будущего века, а потому на серьезного читателя научной фантастики рассказ вряд ли произведет впечатление».

— Рукопись вам не вернули?

— Нет, — радостно ответил он.

— Значит, однажды... лет через сто... — У меня перехватило дыхание, и я запнулся.

Он пожал плечами:

— Может быть. Во всяком случае я надеюсь на это... Мне кажется, что теперь не так уж страшно будет умирать... Пора сказать о главном.

Я наконец сумел написать о настоящем. Я — историк. Я просто ощущил настоящее, как если бы оно было далеким прошлым... или будущим.

Вот — рукопись. Она — меньше авторского листа. Я хочу отдать ее вам. Если уж вы согласились дежурить вторые сутки, не потребовав от меня... никаких «веских оснований», значит, вы — человек, который меня понял и на которого можно положиться. Отшлите рукопись в

какую-нибудь редакцию после того... как я сам стану прошлым. У меня есть предчувствие: если это сделать раньше, рукопись будет возвращена автору... «в порядке исключения».

Мы успели провести вместе еще несколько вечеров. Он был прирожденным рассказчиком.

Завтра утром я запечатаю рукопись в конверт и отнесу на почту...

И вспоминая нашу короткую, странную дружбу, я подумал: какие неведомые силы такочно связывают судьбы людей, казалось бы, совершенно случайных, не имеющих друг к другу никакого отношения: историка и врача, а их обоих — с судьбой ссыльного декабриста; а его судьбы — с памятью еще сотен, а то и тысяч людей... и так память каждого из нас, растекаясь по незримым ветвям, становится одной общей кроной. А еще я вспомнил тютчевское «Нам не дано предугадать...» и подумал, что прикоснуться однажды к этой тайне все равно, что взглянуться в звездное небо или вслушаться в предутреннюю тишину у реки. Вдруг становится легче жить, а потом, быть может, — не так страшно будет умирать.

ЛЕСНИК

Нельзя идти в лес в плохом настроении.

Эту истину Троишин усвоил давно, лет пятнадцать назад, когда еще был «профессиональным горожанином».

Лес — сложнейшая система живых энергий — чутко следит за каждым шагом пришельца. Если тот в бодром расположении духа, все в порядке: пришел друг, с миром, добротой, сочувствием. И лес встретит его как своего. Конечно, он не сделает гостя счастливым на всю жизнь; но зато еще долго после прогулки тот не станет злиться и волноваться по всяkim досад-

ным пустякам, как случилось бы, не пойди он по грибы или просто подышать свежим воздухом. Но если гость в плохом настроении — лесу будет больно. Он отпрянет поначалу, но затем, чтобы защититься, начнет осторожно обхаживать человека, вытянет из него, как промокашка чернила, все недовольство и неприветливость, наверняка успокоит, но сам поплатится: где-то не прорастет желудь, не выведется птенец в гнезде, засохнет ветка...

Быстрые шаги пронеслись вверх по крыльцу. Кто-то решительно толкнул запертую дверь, на миг замер, скочил вниз... И вот, обежав террасу, взволнованно застучал по стеклу ладонью.

— Геннадий Андреевич! Проснитесь, пожалуйста!

Троишин отбросил одеяло, босиком подскочил к занавескам. Утренний избяной холод сразу разбудил его и взбудоражил сильнее, чем перепуганный голос за окном.

— Геннадий Андреевич! Скорее поедемте! — Варя дышала с надрывом — видно, бегом прибежала за лесником. — Такая беда! Они всех убили... Скорее, пожалуйста...

Холод от половиц вдруг разом поднялся по ногам и колко прокатился по спине, как порыв зимнего сквозняка.

Троишин кинулся одеваться.

За стеной слышались громкие всхлипывания — Варя, дожидаясь его, плакала.

...После трехдневного обложного дождя, притихшего за ночь, в воздухе клубилась сырья морось. Дорогу развезло, грязь блестела гладкими водянистыми комками, в колеях стояла мутная вода.

Машину мотало по сторонам, и удерживали ее на дороге только глубоко разбитые колеи — березовые стволы у обочин при каждом рывке колес обдавало жидкой слякотью.

Троишин вспомнил про время — глянул на часы: еще семь утра, а показалось, что дело к вечеру и уже целый день прожит в тягостном ожидании беды.

Варя от резкой качки немножко успокоилась, только держала пальцы у губ и покусывала краешек платка. Троишин ни о чем не говорил, не спрашивал ее, чтобы опять не расплакалась. Однако на подъезде к лосиной ферме Варя вновь стала всхлипывать.

Уже издали ферма напоминала опустошенное чумою селение — потемневшие от сырости деревянные строения и ограды стояли в зыбкой тяжелой дымке.

Выскочив с затопленной дороги, «газик» остановился у ворот, распахнутых, даже раскиданных настежь. Придерживаясь за дверцу, чтобы не поскользнуться при выходе, Троишин ступил на землю. Первое, что бросилось ему в глаза, — свежие, вызывающие угловатые следы покрышек тяжелого грузовика; они вели по прямой от ворот через смятый кустарник, по просеке, к болоту. А сразу за воротами, у бревенчатой ограды, на земле лежали два мертвых лося, оба с пробитыми шеями. Огромные туши казались странно плоскими, усохшими, словно частью погрузились во влажную мягкую землю.

— Двух старых бросили... А остальных увезли... Чуть меня не застрелили... Заперли в избе и сказали: если высунусь, убьют... А потом я через окно вылезла — и к вам... Еле добежала... Господи, они же к людям привыкли... Морды тянули, думали, угостят... А эти сволочи в упор били... Геннадий Андреевич, слышите?

— Варя, Варя... — Троишин обнял девушку за голову. — Я понимаю, Варя.

И вдруг сам себе стал противен — тряпка, муха сонная.

— Варя! — крикнул он так, что в горле резануло. — Ты вызвала милицию? Где рация?

Девушка сразу притихла, подняла опухшее, испуганное лицо:

— Они ее разбили...

— Идиот! — со стоном обругал себя Троишин. — Какая у них машина?

— Большая... Самосвал, кажется... Ой, Геннадий Андреевич! Их же трое. С ружьями. — Глаза Вари засветились новой тревогой, за него.

— Номер запомнила?

— Что вы, Геннадий Андреевич... Какой там номер...

«Газик» выскочил на край болота и замер.

Здесь они повернули направо, к развилке... Можно было бы сразу по просеке, но побоялись... Сделать крюк вокруг болота, чтобы выйти на шоссе, — часа три. Значит, можно догнать еще в лесу, если срезать и махнуть прямо по болоту. Пять километров топи, где и зайцу не пробраться, не то что машине.

Остается одна надежда — лес. Выручить может только он...

Троишин бросил руль, прикрыл глаза — в темноте стала разгораться многоцветная искра. Начало жечь в затылке.

Троишин рывком встряхнулся, отогнал машину метров на двадцать назад и с разгону бросил ее прямо в топь. «Газик» копнул бампером вязкое месиво болота — полетели в стороны брызги и травяное гнилье. Тут же под колесами забурлило, и глубже бамперов машина не увязла — ее приподняло и вытолкнуло на поверхность, как бревно, упавшее в воду.

Троишин смахнул с бровей пот и прибавил газу. Машину понесло вперед, точно самолёт на поплавках, только с хрустом подламывались стебли жесткой и высокой болотной травы.

...Через полчаса «газик» пристроился в хвост тяжелому КрАЗу — тот грузно катил по дороге, разделявшей участки двух лесничеств, и поднимал в воздух фонтаны грязи, так что следом за ним путь оставался укатанным и незатопленным.

Троишина быстро заметили — КрАЗ прибавил ходу, даже стал задевать краями бортов стволы деревьев, срывая кору и ветви. Перед Троишиным сыпались на дорогу листья и древесные обломки. Троишин держался позади метрах в сорока, чтобы не забрызгали грязью ветровое стекло и чтобы не оказаться застигнутым врасплох, если КрАЗ неожиданно тормознет.

Минут двадцать колесили по лесу, потом выехали на шоссе. Троишин вновь разозлился на себя: по сути, он ничего не сможет с браконьерами сделать. У них и КрАЗ, и ружья. Варя была права... Что придумать? Скоро лес кончится, и сил не будет даже затормозить.

За этими мыслями Троишин едва не прозевал опасность: КрАЗ слегка сбавил ход, на правую подножку осторожно вылез один из браконьеров, с густыми пшеничными усами, и, ухватившись за угол борта, с левой руки прицелился в Троишина из карабина.

— А, скотина! — Троишин вильнул влево и, тут же увеличив скорость, попытался обогнать КрАЗ. Но шофер разгадал уловку и сам перекрыл путь: грузовик понесся зигзагами. Шоссе поднималось на холм, перевалить его — и лес скроется позади, за пригорком... Глупо... Ничего не смог...

Троишин стиснул руль так, что пальцы побелели. Страшная злость закипела в душе. Он принаорился к вилянию КрАЗа, подстроился к нему — и вдруг резко сорвался с ритма, выскочил сбоку от грузовика и нырнул передом «газика» прямо под кузов.

Грузная туша КрАЗа начала сминать крыло и бампер, по ветровому стеклу рассыпалась паутина трещин. Грузовик стало разворачивать боком, потянуло в кювет, он натужно застонал, затрясся кузовом... Загремела по земле решетка радиатора... КрАЗ все наезжал на «газик» — и никак не мог наехать, заламывал ему капот, тащил за собой под откос.

Последнее, что видел Троишин, как странно медленно переворачивался КрАЗ кверху брюхом, отчаянно вертя толстыми грязными колесами, а из кузова вываливались, судорожно дергая ногами, большие лосиные туши.

Хирург глубоко затянулся и тут же брезгливо отбросил в сторону окурок папиросы, сгоревшей до гильзы.

— Плохо... Плохи у него дела... Сильные повреждения позвоночника... Это паралич, Василий Николаевич... Полный паралич... Он вряд ли даже сможет говорить.

Участковый снял фуражку, достал платок, вытер лоб. Постоял, помолчал, глядя перед собой в пол.

— Гады... Такого человека покалечили...

Хирург тяжело вздохнул.

— Да, не каждый на такое решится... Даже на войне. Этим тоже досталось. До черта переломов... А усатый умер. Ночью. Весь череп был разбит.

Участковый крякнул.

— Веселая получилась охота.

— И вот еще что. Я ведь вам главного не сказал, Василий Николаевич. Самое странное, что выходит, будто лесник сломал себе позвоночник давно, не менее десяти лет назад... Рентген показывает. И паралич — от этого... Тоже вроде как десять лет должен он параличом страдать... А ведь он за рулем сидел... Кроме этого, всего-то несколько ссадин, ушибов... И у него на руке, на правой, этот вот браслет был надет... С надписью.

Хирург достал из кармана халата браслет с пластинкой, какие носят гонщики.

Участковый надел очки.

— «А. С. Кузнецов. Москва. Кутузовский проспект...» Адрес... и телефон... Подожди, Миша... Мне Троишин когда-то говорил: если с ним что-то случится, сразу вызывать... кажется, вот этого самого Кузнецова.

Кузнецов прибыл наутро.

— Все-таки попал ты в историю. Эх, Генка, Генка. — Он улыбался, но чувствовалось, что улыбка эта дорого ему стоит. — Ну ничего. Сейчас мы тебя поднимем. Кроме позвоночника, ничего не повреждено? Вы уверены? — обратился Кузнецов к хирургу.

— Уверен, — немного растерянно ответил тот, пытаясь сообразить, что же дальше произойдет.

— Прекрасно, — обрадовался Кузнецов. — Тогда доставайте носилки — грузим его в «скорую» и везем в лес... Тут у вас до леса километров шесть будет?

— Семь... Но ведь... Я не понимаю...

— Это трудно объяснить. Нужно увидеть... Делайте, пожалуйста, что я прошу. Раз уж вызвали.

Хирург пожал плечами.

«Скорая» остановилась на опушке, Троишина вынесли из машины. Прикрыли плащом — снова моросил дождь.

— Сейчас попрошу вас в сторонку... Сядьте в машину, что ли... Не нужно, чтобы рядом было много народа... Так ему труднее.

Кузнецов умоляюще посмотрел на хирурга, медбратьев и участкового, понимая их подозрительное недоумение.

Они подчинились. Кузнецов присел перед носилками на корточках и стал ждать.

Минуты через три лицо Троишина покраснело, на лбу выступили крупные капли пота. Потом он тяжело приподнял одну руку, другую... Наконец сел — словно медленно, с трудом просыпался от тяжелого сна.

— Ну и отлично! — облегченно выдохнул Кузнецов и осторожно тронул плечо друга.

— Спасибо, Саша, — Троишин дотянулся до его руки, слабо пожал ее. — Я пока тут посижу, а ты пойди объясни.

Зрители смотрели на Троишина во все глаза и, казалось, потеряли дар речи.

— Ну как? — сказал Кузнецов громко, чтобы они немного опомнились. — Вы молодцы. Когда я впервые это увидел, чуть в обморок не упал.

Хирург, участковый и медбратья ошеломленно глядели на Троишина.

— Он ведь физик, у нас в институте работал, — продолжал Кузнецов. — Его группа занималась биоэнергетикой растительных сообществ. Ведь лес — это самая сложная система биополей. В нем все взаимосвязано. А Гена сумел настроить свое... биополе в резонанс с энергоритмом леса. Лес как бы принял его за... часть самого себя. Гена никогда не был атлетом, но в лесу он смог бы побить любой мировой рекорд. Я видел кое-что такое... Помню, были вместе на охоте. У лесозаготовителей трактор застрял. Так Гена взял и вытащил его вместе с грузом. Шесть толстенных бревен! Просто руками... А потом случилось несчастье. В бане поскользнулся — перелом позвоночника. А я вспомнил про его способности или свойства... Ну что значит вспомнил: дошло до меня... Дай, думаю, попробую. Получил разрешение. Отвез его из больницы в лес. После недели в себя прийти не мог... Такие вот дела. Без леса ему нельзя. Без леса он — конченый инвалид.

Троишин встал, потянулся. Сложил носилки и понес к машине.

— Все в порядке. — Теперь лицо его порозовело, выглядел он совсем здоровым. — Можете забирать... инструмент.

Участковый вдруг обнял Троишина, даже фуражку уронил на землю.

— Ну черт! С ума старика свел.

Сквозь лица людей Троишин вдруг снова увидел отчаянно вертящиеся толстые колеса перевернутого КрАЗа и туши, вываливающиеся в грязь.

— Ты что, Гена? — насторожился Кузнецов, заметив перемену в Троишине.

- Лоси... Они ведь в лесу не оживают... Странно. Ведь это их лес. Почему так, Саша?
- Не знаю, Гена... Откуда нам это знать?
- Странно, — угрюмо повторил Трошин.

НА ДВОРЕ — ДРОВА...

Дед Сергеич был стариком непростым — у него ноги болели к появлению летающих тарелок.

Заломили, занедужили суставы — жди: к вечеру закружат над селом неопознанные летающие объекты.

Школьный кружок юных астрономов обхаживал старика уже несколько лет: рисовали графики, схемы разные — никогда ошибки в прогнозах не случалось.

Как-то сознательные кружковцы собрались с духом и послали сообщение ученым. Полгода дожидались ответа, а потом вдруг в одном из центральных научно-популярных журналов в разделе «Юмор» появилась небольшая заметка о житии удивительного деда.

На Земле-то посмеялись, зато там, откуда запускали летающие тарелки, видать, как следует задумались. Небось начальство осталось недовольно: где-то в захолустье какой-то абориген без прав и образования предсказывает то, что ему и знать не полагается. Непорядок.

Сначала понаделили выговоров пилотам НЛО, потом выговоры сняли — стало ясно, что пилоты не виновны, а просто у деда талант такой.

Тогда послали карательную экспедицию.

В один из вечеров кости старика разболелись так, что он не на шутку перепугался — долго сидел в саду и, не замечая комаров, с тревогой вглядывался в медленно темнеющее летнее небо.

Он даже облегченно вздохнул, когда над его домом закружилась одна-единственная, невеликая размером тарелка.

Опустилась она около забора, выбрались из нее два

уполномоченных, сухопарые и стриженные бобриком, и объяснили старику Сергеичу, что его самодеятельные прогнозы другой галактике не нравятся и с целью их пресечь присланы ему самые действенные таблетки от боли в ногах, от ревматизма.

Старик очень обрадовался — обрадовались и уполномоченные.

— По две штуки, — говорят. — Можно не запивать, глотаются легко.

Дед осторожно положил лекарство на язык, и таблетки мигом растаяли — вкуса никакого.

Уполномоченные стояли, переминаясь с ноги на ногу.

— Подождем для уверенности, пока подействуют.

— Как знаете... Вот на скамеечку присаживайтесь, в ногах-то правды нет.

— Ничего. Мы постоим, — вежливо ответили пришельцы.

— А может, чайком побалуемся?

— Не пьем, — вздохнули.

— А как, ребятки, дрова мне поколоть не желаете? — осенило деда. — Тут на двоих-то раз плонуть. Вспотеть не успеете. — Старик с хитрецой глянул на пришельцев. — У меня-то силенок уже не хватает.

Уполномоченные растерянно посмотрели на горку осиновых чурбаков.

— Да-да, хорошо, — сказали. — Только дождемся, пока у вас ноги пройдут. Мы за это головой отвечаем.

Минут через пять Сергеич почувствовал в ногах такую легкость молодую, что хоть пляши.

Старик на радостях вскочил, весело крякнул, а уполномоченные что-то повертели друг другу на своем языке и кинулись со двора. Про дрова тоже, видать, на радостях, забыли.

— Ишь ты, шустрые... Ну да ладно, — махнул рукой Сергеич. — И так доброе дело сделали.

Только к дому повернулся, а пришельцы опять тут как тут. Трясутся. Говорят, тарелка ихняя пропала. На-

бросились на деда — как да почему? А что дед? Ему тоже невдомек.

Побежали пришельцы к месту посадки и вскоре снова вернулись. Дошло до них: раз не болят ноги у деда — значит, не должно быть никаких НЛО в округе. Есть, выходит, такой закон в природе — и никак против него не попрешь.

— Дед, — взмолились уполномоченные, — сделай так, чтобы опять ноги заболели. А то плохи наши дела.

Сергеич в раздумье потер щеку.

— А лекарство ваше сильное? — спросил.

— Сильное, — ответили пришельцы и приуныли.

Тогда старик молча снял с ног валенки, потом — шерстяные портянки, поставил ступни на холодную влажную землю, поморщился.

— Покололи бы пока дровишки, что ли...

— Сейчас, сейчас, — пообещали пришельцы, а сами глядят на дедовы ступни.

Вскоре у Сергеича заломило поясницу — тут-то и возник за калиткой новый неопознанный объект. Уполномоченные встрепенулись, а из тарелки выскоцил испуганный экипаж. Целый час стояли ругались: уполномоченных брать с собой не хотели — научная экспедиция срывается, летели совсем в другую сторону — и вдруг провал в пустоту и полный срыв всех графиков.

— Не до графиков! — шумели уполномоченные. — Улепетывать надо живо! А то у деда еще что-нибудь заболит... Или, того хуже, пройдет.

Наконец кое-как договорились. Уполномоченные опять прибежали к старику.

— Не пейте таблеток, пока совсем не улетим... Минут пятнадцать-двадцать. — И стартовали.

— Эх, а дрова-то! — спохватился дед. — Полетели... Работнички... Тыфу, японский бог!

Прошло несколько минут, и вот снова скрипнула калитка.

— А, астрономы... Опять пришли, — усмехнулся дед. — Говорил, дрова бы лучше покололи.

СОДЕРЖАНИЕ

ПОВЕСТИ

Без симптомов	5
Гнилой Хутор	93
Охотник на зеркала	151

РАССКАЗЫ

Колыбельная на рассвете	169
Перекресток на пути к Солнцу	176
Цветок в дорожной сумке	189
Проект «Эволюция-2»	195
День Слепого Вожака	213
...Дело рук утопающего	221
Кривое зеркало	227
Большая охота	232
«Натюрморт с византийской чашей»	251
Самобранка (Почти сказка)	257
Рукописи возвращаются	267
Лесник	276
На дворе — дрова...	284

Смирнов С. А.

С 50 Без симптомов : Фантаст. повести и рассказы. — М. : Мол. гвардия, 1990. — 286[2] с., ил. — (Б-ка сов. фантастики).

ISBN 5-235-00506-6 (2-й з-д)

Повести и рассказы молодого московского писателя выдержаны в жанре философской фантастики. В произведениях, разнообразных по темам, раскрывается мир тонких, порой едва уловимых, но «властительных» связей между судьбами людей, между человеком и природой, между реальностью и фантазией.

С 4702010201—122
078(02)—90 148—89

ББК 84Р7

ИБ № 6730

Сергей Анатольевич Смирнов

БЕЗ СИМПТОМОВ

Заведующий редакцией **В. Щербанов**

Редактор **Т. Журавлева**

Художник **М. Лисогорский**

Художественный редактор **Б. Федотов**

Технический редактор **Н. Носова**

Корректоры **В. Назарова, Н. Понкратова**

Сдано в набор 03.07.89. Подписано в печать 28.02.90.
Формат 70×108^{1/32}. Бумага типографская № 2. Гарнитура
«Литературная». Печать высокая. Усл. печ. л. 12,6.
Усл. кр.-отт. 12,95. Учетно-изд. л. 13,3. Тираж 200 000 экз.
(100 001—200 000 экз.). Цена 1 р. 50 к. Заказ 1782.

Типография ордена Трудового Красного Знамени издательско-
полиграфического объединения ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия».
Адрес ИПО: 103030, Москва, Сущевская, 21.

ISBN 5-235-00506-6 (2-й з-д)

1 р. 50 к.

молодая гвардия

